

Маркиз Астольф де Кюстин

НИКОЛАЕВСКАЯ РОССИЯ

La Russie en 1839





На границе Российской империи.
Из путевых впечатлений
маркиза Кюстина.
Рис. Гюстава Доре








За ломберным столом в России.
Русские помещики
заменяют ставки и играют
сперва на свои
земельные угодья,
а потом и на людской инвентарь.
Рис. Гюстава Доре




La Russie
en
1839





Придворный бал в Петербурге.
Обстоятельство,
наглядно подтверждающее
широко распространенное мнение,
что император Николай — самый красивый
и самый высокий человек в России.
Рис. Гюстава Доре

Маркиз
Астольф
де Кюстин

НИКОЛАЕВСКАЯ РОССИЯ

Вступительная статья, редакция и примечания
Сергея Гессена и Ан. Предтеченского

Перевод с французского
Я. Гессена и Л. Домгера

Предисловие С. Мироненко

Москва
Издательство
политической литературы
1990

ББК 63.3(2)47
К99

Кюстин А.

К99 Николаевская Россия: Пер. с фр.— М.: Политиздат, 1990.—352 с.
ISBN 5—250—01407—0

Французский путешественник и литератор Астольф де Кюстин, отправившись в Россию в 1839 году убежденным сторонником монархической формы правления, вернулся в Европу либералом.

Жизнь императорского двора и улиц, обеих столиц и провинции — Троице-Сергиевой лавры, Ярославля, Нижнего Новгорода — все это и многое другое читатель найдет в увлекательно написанных и во многом спорных мемуарах де Кюстина. «Без сомнения, это — самая занимательная и умная книга, написанная о России иностранцем»,— писал А. И. Герцен в 1843 году.

Рассчитана на широкий круг читателей.

К $\frac{0503020200-294}{079(02)-90}$ КБ — 21—4—90 **ББК 63.3(2)47**

ISBN 5—250—01407—0

Голос из прошлого

...Все говорит мне о природных способностях угнетенного русского народа. Мысль о том, чего бы он достиг, если бы был свободен, приводит меня в бешенство.

Маркиз Астольф де Кюстин. Николаевская Россия

Книга французского роялиста маркиза Астольфа де Кюстина, второе русское издание которой предлагается вниманию читателей, пережила свое время. Это явление незаурядное, весьма редкое и по одному этому заслуживающее особого внимания.

Уже в момент появления на свет в 1843 году она, по единодушной оценке современников, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Успех ее был ошеломляющим. По подсчетам самого Кюстина, общий тираж всех изданий его сочинения на французском, английском, немецком и шведском языках составил к 1854 году около 200 000 экземпляров. Цифра, впечатляющая даже сейчас. Что же говорить о середине прошлого века, когда в десять раз меньший тираж был для любого автора триумфом?

Бескрайняя и загадочная Московия с давних пор привлекала европейских путешественников и искателей приключений. Многие из них делились с соотечественниками увиденным. Герберштейн и Олеарий, Горсей и Манштейн — имена этих иностранцев, побывавших в России в XVI—XVIII веках, знакомы многим. Их записки не раз издавались и на их родине, и у нас и, конечно, не раз еще будут изданы. Немало иностранцев побывало в России в XIX веке и многие их воспоминания, дневники, путевые заметки были опубликованы. Но «Россия в 1839 году» А. Кюстина стоит среди всех особняком — и по содержанию, и по выпавшему на ее долю успеху. Пожалуй, это одна из немногих книг, сохраняющих для современного читателя не только исторический, но и актуальный политический интерес.

Не потому ли сегодня, как и сто пятьдесят лет назад, сочинение Кюстина находится в гуще общественной полемики, и некоторые современные публицисты, вслед за признанным «официозом» России времен Николая I Н. И. Гречем и платным сотрудником III отделения Я. Н. Толстым, обвиняют Кюстина в клевете на нашу страну и ее народ? Для них Кюстин чуть ли не один из родоначальников «русофобии».

Подобных взглядов придерживается В. Максимов (известный писатель и редактор журнала «Континент»), утверждающий, что будто бы десять лет спустя Кюстин коренным образом пересмотрел свое отношение к николаевской России. В своей беседе с Ф. Медведевым он, в частности, говорил: «Мало кто знает, что спустя десять лет Кюстин написал о России абсолютно «наоборотную» книгу» (Книжное обозрение. 1990. № 14. С. 9). Таким образом, появляется образ покаявшегося «русофоба», а его книга «Россия в 1839 году» оказывается тем более клеветнической, что сам автор якобы от нее отрекся. Однако подобное утверждение ложно. В действительности ничего подобного не было, и Кюстин ни десять лет спустя, ни позже не издавал и не писал никакой «наоборотной» книги. Однако само утверждение это весьма примечательно *.

Чем же так сильно задел А. Кюстин и русское правительство периода достаточно мрачного в русской истории николаевского царствования, и современных поборников тех же идеалов? Ответ на этот вопрос один — правдой. Конечно, в книге Кюстина много поверхностных, высокомерных, несправедливых обвинений России и русского народа, иной раз просто нелепостей **, но в главном он прав — рабская система сковывала и уродовала

---

* Чтобы убедиться в том, что А. Кюстин *не мог* написать никакой книги с противоположными оценками увиденного в России, достаточно внимательно прочитать публикуемую ниже книгу. Любой непредвзятый читатель поймет, что в ней отразился зрелый человек, обладающий весьма твердыми нравственными и политическими принципами. Написать *иную* книгу мог только *иной* человек, а нравственные оборотни в XIX веке были, в отличие от настоящего времени, не столь частым явлением, и Кюстин не принадлежал к их числу. Последнее издание «России в 1839 году» Кюстин осуществил за три года до своей смерти, в 1854 году, и тем самым вновь подтвердил свою приверженность к изложенным в ней взглядам.

** Достаточно сказать, что, отвергая вообще самобытность русской культуры, Кюстин отказывал в праве считаться великим национальным поэтом даже Пушкину, утверждая, что он — простой подражатель западным образцам.

великую страну. Правду, конечно, трудно и подчас донельзя обидно выслушивать, особенно если она высказана высокомерным иностранцем. Но правда остается правдой. А без точного и правдивого представления о реальном положении дел невозможно движение вперед.

Это отлично понимал и сам Кюстин, отвечавший своим оппонентам: «Если излагаемые мною факты ложны, пусть их отрицают; если сделанные мною выводы ошибочны, пусть их опровергают: нет ничего проще; но если правда преобладает в моем сочинении, позвольте мне считать, что я достиг своей цели, которая состояла в том, чтобы, показывая недуг, побудить здравые умы искать лекарство». Парижский издатель Кюстина Амийо писал о кампании опровержения, развернутой русским правительством *, гораздо более жестко: «Лишь истина может внушить такой гнев: если бы все путешественники мира объединились для того, чтобы написать, что Франция — страна, населенная дураками, то их книги вызвали бы в Париже только смех: удар должен быть точен, чтобы ранить».

А. И. Герцен, высоко ценивший книгу Кюстина, читавший ее с болью и горечью, имел мужество признать правоту французского аристократа. Он проницательно заметил как-то, что взгляд автора «оскорбительно много видит». Блестящая формула, удивительно точно определяющая и того, кто пишет, и чувства тех, о ком пишут. Только подлинный патриот своей страны мог так кратко и ясно выразить и боль за ее состояние, и оскорбление от того, что язвы николаевской России замечены не всегда корректным иностранцем, и согласие с сутью его оценок.

Кюстин, убежденный сторонник абсолютной монархии, отец и дед которого были казнены во время Великой французской революции, по собственному признанию, ехал в Россию, чтобы еще раз убедиться в преимуществах самодержавной формы правления. Однако, будучи монархистом, Кюстин тем не менее с детства впитал принципы того, что мы называем правовым государством. Высочайшим достижением современной Кюстину ев-

---

* Подробный и обстоятельный очерк борьбы, которую повело самодержавие с книгой Кюстина, анализ общественной реакции на ее появление, а также биографию самого автора см. в обстоятельной вступительной статье С. Я. Гессена и А. В. Предтеченского к первому изданию.

ропейской мысли была усвоенная им философия французского Просвещения. Под ее влиянием такие понятия, как достоинство человеческой личности, равенство всех перед законом, примат общечеловеческих ценностей над прагматическими задачами и целями, стали достоянием определенного, достаточно широкого круга людей вне зависимости от их политических симпатий и антипатий. Столкновение с российской действительностью навсегда разбило иллюзии Кюстина и придало его сочинению непреходящую ценность.

Отвращение, вызванное увиденным в николаевской России, абсолютное неприятие самодержавия во всех его проявлениях было столь велико, что, заканчивая книгу, Кюстин обращался с призывом к своим соотечественникам: «Когда ваши дети вздумают роптать на Францию, прошу вас, воспользуйтесь моим рецептом, скажите им: поезжайте в Россию... Каждый познакомившийся с царской Россией будет рад жить в какой угодно другой стране. Всегда полезно знать, что существует на свете государство, в котором немыслимо счастье, ибо по самой своей природе человек не может быть счастлив без свободы». Горькие, но очень справедливые слова.

Административно-командная система возникла не на пустом месте. Наивно полагать, что она — продукт одной Октябрьской революции или следствие извращений сталинской эпохи. Система эта имела глубокие корни в российском прошлом.

Таможня! У Кюстина отобраны книги — почти все, без разбора, без смысла. А в итоге: «Столько мельчайших предосторожностей, которые считались здесь, очевидно, необходимыми и которые нигде более не встречались, ясно свидетельствовали о том, что мы вступаем в империю, объятую лишь чувством страха, а страх ведь неразрывно связан с печалью. И я из учтивости, чтобы разделить общее настроение, испытывал одновременно и страх, и унылую тоску».

А что стоит описание разговора Кюстина с чиновником, который, вновь и вновь повторяя вопросы, на которые Кюстин уже однажды давал письменные ответы, никак не мог поверить, что можно ехать в Россию, не имея никакой корыстной цели:

— Значит, вы путешествуете исключительно из одной любознательности?

— Да.

— Но почему вы направились для этого именно в Россию?

— Не знаю...

Кажется, мелочь, но эта мелочь превращается в символ огромной и бессмысленной бюрократической машины, во власти которой, как довольно скоро заметил Кюстин, находится вся страна. «Россией управляет класс чиновников»,— уверенно заявлял он, немного оглядевшись и вкусив первые плоды петербургской жизни. «Из недр своих канцелярий эти невидимые деспоты, эти пигмеи-тираны безнаказанно угнетают страну» *. Сложившаяся система настолько могущественна, проницательно замечает Кюстин, что даже сам император в значительной степени находится в руках бюрократов: «И, как это ни звучит парадоксально, самодержец всероссийский часто замечает, что он вовсе не так всесилен, как говорят, и с удивлением, в котором он боится сам себе признаться, видит, что власть его имеет предел. Этот предел положен ему бюрократией, силой, страшной повсюду, потому что злоупотребление ею именуется любовью к порядку, но особенно страшной в России». И уж совсем как сбывшееся пророчество звучат слова Кюстина, заключающие эту мысль: «Когда видишь, как императорский абсолютизм подменяется бюрократической тиранией, содрогаешься за участь страны, где расцвела пышным цветом административная система, насажденная империей Наполеона в Европе». Если сделать поправку на естественную неприязнь Кюстина к Наполеону и установленным им во Франции буржуазным порядкам, то нельзя не поразиться его удивительной политической прозорливости в отношении дальнейшей судьбы нашего отечества.

Необыкновенно близок к истине был Кюстин и тогда, когда говорил об ограниченности всевластия императора

---

* На протяжении своей книги Кюстин несколько раз упоминает петровскую «Табель о рангах», позволявшую, по его словам, в принципе сыну крепостного занять в бюрократической иерархии более высокое место, чем сыну вельможи. Действительно, такая возможность существовала — офицерский чин (подпоручик) и чин в гражданской службе (коллежский асессор) давали их обладателям право на получение потомственного дворянства, а вместе с ним и возможность занимать сколь угодно высокие посты в империи и приобретать какое угодно число крепостных. Право на дворянство давало и награждение орденом. К 1825 году, по нашим подсчетам, выходцы из непривилегированных сословий составляли в среде высшей бюрократии около 15 процентов.

бюрократией. Автор «России в 1839 году», видимо, не догадывался, какое блестящее подтверждение его словам начала готовить история именно в это время.

Дело в том, что именно в 1839 году приступил к работе специальный Секретный комитет, составленный из высших чиновников империи, которому было поручено императором разработать план постепенного освобождения крепостных крестьян в России. После восстания декабристов идеи политической реформы были решительно отвергнуты правительством, крестьянский же вопрос, напротив, постоянно был предметом обсуждения. Отдельные наиболее дальновидные бюрократы николаевского царствования прекрасно осознавали, какая опасность заложена в сохраняющемся крепостном строе. Недаром А. Х. Бенкендорф, создатель и глава III отделения, в том же 1839 году в «нравственно-политическом» отчете, представленном Николаю I, писал о крепостном праве как о «пороховом погребе под государством». Он же, а вслед за ним и император в 30-х — 40-х годах не раз говорили, что лучше решить крестьянский вопрос сверху, чем дать ему возможность разрешиться снизу (слова, ставшие позднее, благодаря Александру II, публично произнесшему их в 1856 году, сигналом к началу подготовки крестьянской реформы 1861 года). Николай I был убежден в необходимости реформировать крепостные отношения. Его умным и талантливым единомышленником был министр государственных имуществ П. Д. Киселев, которого император шутливо называл «мой начальник штаба по крестьянской части». В 30-х годах Киселев успешно провел реформу государственных крестьян, составлявших добрую половину сельского населения России и относившихся по закону к числу «свободных сельских обывателей». Казалось, чего проще достичь желаемого. Власть Николая I в это время была сильна, как никогда. Киселев имел продуманный план постепенной реформы помещичьей деревни, на котором собственной рукой императора было начертано: «Я не нашел сделать ни одного замечания и разрешаю внесть в Комитет». Одно мановение руки ничем не ограниченного самодержца, и дело двинулось бы вперед. Но не тут-то было. Реакционная бюрократия, составлявшая большинство в Секретном комитете, воспрепятствовала этому (впрочем, царь нисколько не боролся и быстро отступил при первых признаках сопротивления). Идея крестьянской реформы была успешно похоронена, а на

свет в 1842 году появился указ об обязанных крестьянах, не давший практически никаких мало-мальски серьезных результатов. В 40-х годах еще несколько секретных комитетов пыталось подступиться к крестьянскому вопросу, но снова безрезультатно. В конце концов умирающий, подавленный полным крахом в ходе Крымской войны выпестованной им системы Николай I вынужден был взять слово с наследника, будущего Александра II, что тот разрешит этот коренной вопрос всей русской жизни (свидетельство его младшего сына, великого князя Константина Николаевича).

От внимательного взора Кюстина не укрылась и еще одна существенная черта, неотъемлемо присущая самодержавной системе. Еще в самом начале путешествия он обнаружил, что в русской истории существуют, как мы бы теперь сказали, белые пятна. В школах, да и вообще повсюду было, например, запрещено рассказывать об обстоятельствах смерти Павла I, убитого заговорщиками в 1801 году. Как писал Кюстин, «самое событие это никогда никем не упоминается». «Хороший тон повелевает здесь,— продолжал Кюстин свои наблюдения,— превозносить предков императора и поносить его непосредственных предшественников». Общая политика состоит в том, проницательно замечал он, чтобы «забывать о предшествующем царствовании». Знакомо нашим современникам, не правда ли? В другом месте Кюстин замечал: «При виде усилий, с какими здесь стараются уничтожить память о прошлом, я удивляюсь, что еще сохраняют кое-что».

Основа этого — ложь, а вместе с ней — и боязнь правды. Отправляясь в Россию, Кюстин отказывался в это верить. На корабле, доставившем его в Кронштадт, он познакомился с князем П. Б. Козловским — колоритнейшей фигурой русского общества первой половины XIX века, известным дипломатом, острословом, другом Пушкина, участником многих европейских литературных и общественно-политических салонов, одним из самых образованных и блестящих людей своего времени. Узнав о цели путешествия Кюстина, Козловский был с ним очень откровенен и не скрывал многих горьких истин. Говорил он и о том, что «правительство в России живет только ложью, ибо и тиран и раб страшатся правды». Но Кюстин не готов еще был верить своему собеседнику.

«— Князь,— возразил я, выслушав внимательно этот длинный ряд выводов и заключений,— я не верю вам.

Ваш блестящий ум ставит вас выше национальных предрассудков и заставляет в такой форме оказывать внимание иностранцу у себя на родине. Но я так же мало доверяю вашему самоуничижению, как и чрезмерной хвастливости других». Однако некоторое время спустя Кюстин писал уже совсем иное: «До сих пор я думал, что истина необходима человеку как воздух, как солнце. Путешествие по России меня в этом разубеждает. Лгать здесь — значит охранять престол, говорить правду — значит потрясать основы».

Другой основополагающий элемент системы, точно и беспощадно подмеченный Кюстином, — отсутствие в России Николая I свободы. «Все здесь есть,— саркастически восклицал он,— не хватает только свободы, т. е. жизни». Да можно ли говорить о свободе в стране, больше похожей на казарму, чем на что-либо иное. «Русский государственный строй,— утверждал Кюстин,— это строгая военная дисциплина вместо гражданского управления, это перманентное военное положение, ставшее нормальным состоянием государства».

Кюстина уже не могли обмануть рассказы крепостников о благодетельности крепостного права для русских крестьян. «Не верьте медоточивым господам, уверяющим вас,— писал он,— что русские крепостные — счастливейшие крестьяне на свете, не верьте им, они вас обманывают. Много крестьянских семейств в отдаленных губерниях голодают, многие погибают от нищеты и жестокого обращения. Все страдают в России, но люди, которыми торгуют, как вещами, страдают больше всех».

О несчастии родиться в России «с умом и талантом», как мы помним, писал Пушкин. У Кюстина же мысль иная. В ней самым недвусмысленным образом выразился, как кажется, основной изъян критического анализа России и русской жизни, предпринятого Кюстином, — механическое отождествление человека с государством, интересов отдельной личности с государственными. И об этом нельзя не сказать. Кюстин просто не видит возможности для тех, кто родился в стране с деспотическим режимом, идти не вместе с государством.

А между тем освободительное движение в России первой четверти XIX века было заметным явлением. Тайное общество, к которому принадлежали многие блестящие и талантливейшие люди того времени, видоизменяясь, просуществовало десять лет и попыталось отстоять идеалы политической и социальной свободы в открытом

столкновении с властью. Попытка эта, пусть не увенчавшаяся успехом, — яркое свидетельство, опровергающее умозрительные построения Кюстина. Да и само правительство в начале XIX века уже понимало необходимость реформ. К 1820 году был создан и одобрен Александром I проект русской конституции, по которой Россия превращалась в конституционную монархию, были даже заготовлены манифесты о введении ее в действие, вырабатывались планы освобождения крепостных крестьян. Ничего из задуманного осуществить не удалось, «эпоха великих реформ» оказалась отложенной до 60-х годов, но разложение системы и борьба с ней начались уже тогда. Николай I, ужесточив и законсервировав реакцию, лишь на время сумел поддержать рушащийся строй. Но тем глубже и неизмеримо позорней стало падение страны к концу его царствования.

В книге Кюстина есть страницы, посвященные судьбам томящихся в Сибири декабристов. Они исполнены глубокого сочувствия к жертвам тирании. Но все же сам феномен декабризма не был осознан автором и остался вне поля его зрения. Это вовсе не случайно, ибо декабристы с их стремлением к свободе не укладывались в представления Кюстина о русском народе. Впрочем, он о них и знал немногое. Тайна и ложь, о которых сам Кюстин справедливо писал как об основах русского деспотизма, сделали свое дело.

И уж совсем ускользнуло от внимания Кюстина стремление к свободе простого народа. Чаяния русского крестьянства, выразившиеся в исполненном глубокого значения требовании «земли и воли», оказались для него, что называется, тайной за семью печатями. Да и мудрено, если бы это было не так. Кюстина не раз и вполне справедливо упрекали, что петербургское и московское общество он принял за весь русский народ. Представления о простых русских людях, которых он видел лишь из окна своей кареты, он черпал из разговоров в светских гостиных. Впрочем, и тут смог многое почувствовать и понять. Так, он сразу догадался, что благообразные крестьяне, собиравшиеся в Петергофе на дворцовый праздник, в действительности имели мало общего с настоящими крепостными. К концу путешествия он уже писал, что грустные русские песни, «печальные тона» которых «поражают всех иностранцев», сами собой «превращаются в орудие протеста». Но все-таки действительного протеста, вполне осознанного стремления рус-

ского крестьянина к свободе Кюстин не понял, хотя все же вскользь упоминал о крестьянских волнениях. Потому и общее его впечатление, что в России не раздается «ни одного голоса, протестующего против бесчеловечности самовластия» монарха, или что «весь русский народ от мала до велика опьянен своим рабством», столь далеко от истины и вызывает вполне закономерный протест.

Неумение отделить систему от народа наложило неизгладимый отпечаток на книгу Кюстина. Проявление всех пороков, свойственных господствовавшему в стране самодержавному строю, Кюстин искал в национальном характере и потому очень часто попадал впросак. Удивительно, как человеку аналитического ума и редкой наблюдательности не приходило в голову, что изменившиеся условия могли бы резко изменить состояние народа, пробудив его к жизни после долговременной дремоты. А ведь так и произошло. После удушающей атмосферы николаевского царствования наступило сперва время «оттепели», а затем и «великих реформ». И откуда что взялось — и блестящая свободная публицистика, и общественное мнение, и смелые реформаторы — и все это решительно противоречило рабству, будто бы заложенному в крови русского народа. Впрочем, и самого Кюстина иногда посещало сомнение. В одном месте своей книги он пишет о сложном переплетении причин, приведших к возникновению самодержавной системы: «Я не знаю, характер ли русского народа создал таких властителей, или же такие властители выработали характер русского народа... Но мне все кажется, что здесь налицо обоюдное влияние. Нигде, кроме России, не мог бы возникнуть подобный государственный строй, но и русский народ не стал бы таким, каков он есть, если бы он жил при ином государственном строе».

Правда, чем дальше путешествовал Кюстин по России, тем объективнее оценивал он свойства народа. «Славянин по природе сметлив, музыкален, почти сострадателен, а вымуштрованный подданный Николая — фальшив, тщеславен, деспотичен и переменчив, как обезьяна»,— это тоже слова Кюстина. «Лет полтораста понадобится для того,— продолжал он,— чтобы привести в соответствие нравы с современными европейскими идеями, и то лишь в том случае, если в течение этого длинного ряда лет русскими будут управлять только просвещенные монархи и друзья прогресса...» Кюстин писал, что мысль

о том, чего мог бы достигнуть русский народ, если бы был свободен, «приводит его в бешенство». «Цвет человеческой расы» — так отзывается Кюстин о наших соотечественниках. Понимая противоречивость многих своих утверждений, Кюстин чистосердечно предупреждал об этом своих читателей: «Я завел вас в лабиринт противоречий. Происходит это потому, что я показываю вам вещи такими, какими они мне представляются на первый и второй взгляд, предоставляя вам возможность согласовать мои заметки и сделать самостоятельные выводы. Я убежден,— заканчивал он,— что путь собственных противоречий есть путь познания истины».

Все это наглядно показывает, что не все наблюдения Кюстина о национальном характере русского народа должны быть отвергнуты с порога. Многие из его замечаний наводят на серьезные размышления. Во всяком случае, читая эту книгу, можно ли забывать, что именно такими предстали наши предки перед глазами французского путешественника полтора столетия назад, и подозревать его в неискренности и злонамеренности? Вот случайно выхваченная из текста зарисовка: «У русских больше тонкости, чем деликатности, больше добродушия, чем доброты, больше снисходительности, чем нежности, больше прозорливости, чем изобретательности, больше остроумия, чем воображения, больше наблюдательности, чем ума, но больше всего в них расчетливости». Узнаем ли мы самих себя в этом описании? Скорее всего нет. Здесь много такого, с чем можно спорить. Но, согласимся, взгляд со стороны всегда важен.

Вряд ли правильно было бы, однако, сводить рассмотрение книги Кюстина только к оценкам справедливости или несправедливости его общих суждений. Нельзя забывать, что перед нами блистательное описание некоторых сторон русской жизни минувшего столетия, ценное историческое свидетельство. Под пером Кюстина оживает множество деталей, не всегда различимых уже для нас в дымке прошлого. Жадный интерес иностранца-путешественника к незнакомой стране позволил ему подробно воспроизвести внутреннюю жизнь одного из самых пышных и блистательных дворов современной Европы. Здесь и красочное описание церемонии бракосочетания дочери Николая I Марии с герцогом Лейхтенбергским, и праздник, ежегодно проводившийся в Петергофе по случаю именин императрицы Александры Федоровны, который должен был демонстрировать всему миру «единение» царя

с народом. Но не только придворная жизнь привлекла его внимание. Он рассказывает о русских дорогах и фельдъегерях, о купцах и Нижегородской ярмарке, о губернаторах и действиях тайной полиции и о многом другом. Любознательность и наблюдательность Кюстина делает его сочинение помимо всего прочего замечательным историческим источником. А как блистательны его описания Петербурга или Москвы! Как много в них необычных и новых деталей! Ну, скажем, кто знает сегодня, что после пожара 1837 года Зимний дворец был выкрашен в терракотовый цвет?

Книга Кюстина была, конечно, запрещена в России. Николай не мог допустить, чтобы его подданные узнали, что думают о его империи не льстивые борзописцы, а искренние и честные европейцы.

* *
*

Настоящее издание воспроизводит наиболее полное русское издание книги «Россия в 1839 году», осуществленное в 1930 году С. Я. Гессеном и А. В. Предтеченским. Здесь публикуется не только текст Кюстина, но и научный аппарат к нему, подготовленный тогда же составителями. Пользуясь им, современный читатель заметит, без сомнения, известный налет социологизма, свойственный тому времени и давно оставленный позади нашей наукой. Это не помешает, однако, с доверием отнестись к комментариям и вступительной статье составителей, отличающимся полнотой и исключительно высоким научным уровнем.

Внесенные в настоящее издание изменения сводятся к следующему: проверены и исправлены все цитаты в статье и комментариях, библиографические ссылки уточнены и приведены в соответствие с современными правилами публикации, в современной транскрипции даны и собственные имена.

С. В. Мироненко

Маркиз де Кюстин и его мемуары

I

В июне 1839 года А. И. Тургенев из Киссенгена сообщал князю П. А. Вяземскому, что в Россию отправляется их общий знакомый маркиз де Кюстин, известный французский путешественник и литератор. Поручая знатного туриста попечительству друга, Тургенев просил его рекомендовать Кюстина также князю В. Ф. Одоевскому, Чаадаеву и другим выдающимся представителям мыслящей России [1].

Кажется, Кюстин на первых порах не нуждался в покровительстве и рекомендациях. Его имя должно было быть хорошо известно в России. Зловещий призрак революции, постоянно мерещившийся николаевскому двору, возрождал имена деда и отца Кюстина, сложивших головы на гильотине Робеспьера. Астольф де Кюстин родился в Нидервиллере 18 марта 1790 года под грохот раскатов Великой французской революции. При первых ее ударах семья рассеялась. Мать Кюстина, Дельфина де Сабран, женщина редкой красоты и большого ума, укрылась с сыном в уединенной нормандской деревне, где вела скромную и замкнутую жизнь. Госпожа де Сабран, мать ее, эмигрировала ко двору прусского короля. Дед, знаменитый генерал Адам-Филипп де Кюстин, во главе Рейнской армии теснил пруссаков. И наконец, отец, молодой, двадцатидвухлетний дипломат, тогда же назначен был правительством Людовика XVI послом к герцогу Брауншвейгскому. Он имел поручение отклонить герцога от участия в создании коалиционной армии, предназначенной к подавлению революции. Тогда еще роялисты надеялись, что без иностранного вмешательства революция скорее и легче сама себя изживет. Юный Кюстин явился слиш-

---

[1] См.: Остафьевский архив князей Вяземских (далее — Остафьевский архив). Спб., 1899. Т. 4. С. 79.

ком поздно, тогда уже, когда герцог дал свое согласие. С тою же целью Кюстин отправлен был в Пруссию, где встретил свою тещу. Она тщетно пыталась удержать зятя от возвращения во Францию, куда он собирался, дабы дать отчет в выполнении возложенных на него поручений. Опасность была сама собой очевидна. Новоявленные эмигрантские кликуши предвещали Кюстину насильственную смерть в случае возвращения в революционную Францию. Кюстин не послушал их. Но, вернувшись на родину, он скоро убедился, что в развертывающихся политических событиях для него уже нет места, нет роли. Он присоединился к армии отца, которая штурмовала Шпейер и Вормс, Майнц и Франкфурт.

Однако блестящие победы перемежались с поражениями. Пруссаки заставили генерала Кюстина очистить Майнцкую крепость. Тогда Конвентом он был отозван в Париж и заключен в тюрьму по обвинению в государственной измене. Сын, не желая оставлять опального полководца, вместе с ним покинул армию. Поспешила в Париж и Дельфина Кюстин, поручив ребенка попечениям старой няни. Вопреки вражде, существовавшей между свекром и ее семьей, не хотевшей простить генералу его службу революции, маркиза де Кюстин проявила колоссальную, не женскую энергию, стараясь спасти осужденного. Но все было тщетно. 28 августа 1793 года нож гильотины опустился над склоненной головой генерала Кюстина.

Незадолго перед его казнью сын, исполняя последний завет отца, составил и отпечатал оправдание генерала, которое расклеил на стенах Парижа. Этим он навлек на себя гнев правительства, вскоре был заключен в тюрьму и в январе 1794 года взошел на эшафот. Маркиза Дельфина де Кюстин также перенесла тюремное заключение. Но судьба пощадила ее, и она удалилась в Лотарингию, посвятив себя воспитанию сына.

Гильотина, лишившая Кюстина деда и отца, была для него лучшей рекомендацией ко двору императора Николая. Но и в кругах тогдашней русской интеллигенции он должен был встретить то же радушие, благодаря уже личным своим заслугам. В 1811 году, двадцати одного года, Кюстин покинул родину и отправился за границу. Он путешествовал вплоть до 1822 года, изъездив Англию, Шотландию, Швейцарию и Калабрию. Наблюдения и впечатления, вынесенные Кюсти-

ном из этих долголетних странствований, послужили материалом для первого крупного литературного произведения его «Memoires et Voyages ou lettres écrites à diverses époque pendent des courses en Suisse, en Calabre, en Angleterre et en Ecosse», напечатанного в Париже в 1830 году. Через пять лет, в 1835 году, он выпустил новую книгу, «Le monde comme il est».

Вслед за тем Кюстин отправился в Испанию и в 1838 году издал книгу «L'Espagne sous Ferdinand VII». Книга была замечена не только во Франции, но даже и в России. Т. Н. Грановский писал, что это лучшая работа об Испании периода до последней гражданской войны [1]. Этими своими работами, свидетельствовавшими об остром, наблюдательном уме и незаурядном литературном даровании, Кюстин уже завоевал признание современников. Его книги пользовались большим успехом. Популярность Кюстина усугублялась еще тем, что он выступал и на драматическом и на беллетристическом поприще. Он сотрудничал в журналах, принимал участие в качестве переводчика в собрании английских поэтов, изданном под названием «Англо-французская библиотека». В 1833 году он представил во «Французскую Комедию» свою пятиактную трагедию, тогда же изданную, «Beatrice Cence». Впоследствии она ставилась в Порт-Сен-Мартене. Затем явилось новое его произведение, «Швейцарский пустынник», в котором, по свидетельству Ал. Тургенева, «он отчасти описал свою любовь к герцогине Дюрас тогда, когда его хотели женить на ее дочери» [2]. Наконец, перед самым отъездом в Россию Кюстин напечатал «Этеля» («Ethel». Paris. 1839). А уже много позднее написал большой теологический роман «Romuald ou la Vocation», напечатанный в 1848 году и направленный против атеизма.

В истории Кюстин запечатлелся едва ли не только как автор «La Russie en 1839». И это одна из глубоких исторических несправедливостей, ибо даже помимо этой книги всей предыдущей своей литературной деятельностью Кюстин уже завоевал место в истории. Недаром он был признан задолго до появления его воспоминаний о России. Шатобриан дарил Кюстина своей друж-

---

[1] См.: Г. Н. Грановский и его переписка. М., 1987. Т. 2. С. 195 (на франц. яз.).

[2] Остафьевский архив. Т. 4. С. 79.

бой. В салоне знаменитой Аделаиды Рекамье, любви которой в свое время тщетно домогались и романтичный Луциан Бонапарт, и мрачный религиозный фанатик Матье Монморанси, и суровый Бернадот, и сам Наполеон, где собирался цвет литературной Франции, где Ламартин впервые читал свои «Meditations», Кюстин был постоянным посетителем. Равным образом он был своим человеком в другом знаменитом салоне, возглавлявшемся женой его друга, известного немецкого писателя Варнгагена фон Энзе, Рахилью [1], вокруг которой группировались светила всех видов искусства.

В этих салонах Кюстин встречался и с приезжими из России: Ал. Тургеневым, Вяземским, Гречем и другими. Таким образом, в русском обществе имя его, известное по литературе, облекалось живой плотью знакомого человека, человека большого ума, яркого, остроумного и бесконечно милого и любезного.

Самая политическая физиономия Кюстина также не представляла ничего загадочного. Маркиз Астольф де Кюстин, обломок старинной аристократической фамилии, являлся страстным клерикалом и убежденным консерватором, что отлично было известно русскому двору. Впоследствии, издавая свою книгу о России, он предварял читателя, что отправлялся в Россию в надежде найти там аргументы против представительного правления. И эта цель, которая влекла талантливого туриста в далекую страну, если и не была известна русскому правительству, то во всяком случае легко могла быть угадана.

При таких предпосылках приезд Кюстина в Россию и, главное, возможные и, как казалось, вполне естественные последствия его посещения приобретали характер явления крупной политической значимости. Для того чтобы оценить это по достоинству, должно припомнить сложные взаимоотношения России и Франции в то время. Николай I остро и постоянно ненавидел Людовика-Филиппа, «короля баррикад». После июльской революции 1830 года он говорил французскому посланнику, что «глубоко ненавидит принципы, которые увлекли

[1] После ее смерти в 1833 году Кюстин напечатал статью о ней в «Revue des deux mondes», которая была переведена на немецкий язык и перепечатана Варнгагеном. Впоследствии, в 1870 году, в Брюсселе напечатаны были письма к ним Кюстина («Lettres à Varnhagen d'Ense et Rachel Varnhagen d'Ense»).

французов на ложный путь». Император носился даже с мыслью о возрождении Священного союза и вел переговоры с Пруссией и Австрией о сосредоточении русской армии на западной границе. Однако факт признания Людовика-Филиппа всеми другими европейскими державами заставил и Николая признать «короля баррикад» подлинным правителем Франции, с которой, так или иначе, а необходимо было считаться. Между тем французское общественное мнение, особенно после июльской революции, было резко восстановлено против николаевского самодержавия. К тому было много причин, и между ними, конечно, опасения военного вторжения России в Европу. Недаром Герцен в 1851 году писал, что в России «французы чают соперника и не стыдятся сознавать, что тут есть сила,— вспомните, это говорит Кюстин; французы ненавидят Россию, потому что они ее смешивают с правительством» [1].

Французское общественное мнение не могло помириться и со зверствами, которыми сопровождалось подавление польского восстания в 1831 году. Еще более негодовало оно по поводу жестоких гонений на униатов, единственное преступление которых заключалось в том, что они расходились с казенным православием. Если в первом случае была налицо хоть некоторая тень законности «преступления и наказания», то здесь сказывалось одно бесцельное зверство, особенно зловещее на фоне заверений Николая о своей веротерпимости и заботах о подданных католиках. Таковы были основные факторы, из которых складывались взаимоотношения двух великих держав. Репутация императора Николая, да и вообще русского самодержавия, казалась безнадежно подорванной. Для ее некоторого восстановления представлялось единственно возможным и насущно необходимым «пропеть себе самому хвалебный гимн, и притом непременно на французском языке, в назидание Европе» [2].

Такие попытки предпринимались русским правительством. Но они были совершенно неудачны. Написанные русскими и изданные на французском языке, книги эти характеризовались полной беспомощностью, грубой

---

[1] *Герцен А. И.* Полн. собр. соч. и писем. Пг., 1917. Т. 6. С. 431.

[2] Подробно см.: *Тарле Е. В.* Император Николай I и французское общественное мнение в его сборн. «Запад и Россия». Пг., 1918; *Балабанов М.* Россия и европейские революции в прошлом. Киев, 1924. Вып. II.

азиатской лестью и, что еще хуже, ложью, бившей в глаза [1].

Теперь, с приездом Кюстина, заведомо намеревавшегося впоследствии описать свое путешествие, открывался, как казалось, единственный и идеальнейший случай пропеть себе хвалебный гимн, да еще устами иностранца, талантливого писателя, пользующегося широкой известностью на родине. Конечно, этими, и только этими надеждами объясняется внимательный прием, который Кюстин встретил при императорском дворе, ласки и конфиденциальные беседы Николая I, угодливость и расшаркивание русских вельмож.

Эффект оказался совершенно обратным. Кюстин ехал в Россию искать доводов против представительного правления, а вернулся убежденным либералом. Это он сам засвидетельствовал в своей книге. Слухи о его отношении к русскому самодержавию, как и водится, обогнали книгу Кюстина. «Я думаю, что он est trés hostile (очень враждебен.— *Ред.*) к нам,— писал Ал. Тургенев князю Вяземскому,— так, по крайней мере, предварила меня Рекамье, коей он читал отрывки. Сначала не был таков, но многое переиначил еще в рукописи» [2].

Действительность превзошла все мрачные слухи. Книга явилась жесточайшим и безапелляционным приговором русскому самодержавию. Откровения и ласки императора и любезность русского двора имели весьма ограниченное влияние на пытливый и наблюдательный ум автора. Он только на первых порах готов был поддаться этому очарованию. Но факты слишком настойчиво лезли в глаза, действительность слишком властно требовала ответа. Кюстин и не остановился перед окончательными выводами: «Нужно жить в этой пустыне без покоя, в этой тюрьме без отдыха, которая именуется Россией, чтобы почувствовать всю свободу, предоставленную народам в других странах Европы, каков бы ни был принятый там образ правления... Это путешествие полезно для любого европейца. Каждый, близко познакомившийся с царской Россией, будет рад жить в какой угодно другой стране» [3].

---

[1] См., например: *Гуровский А.* «La civilisation et la Russie». St. Petersbourg, 1840. Несколько благопристойнее было произведение известного Я. Н. Толстого «Coup d'œil sur la legislation russe suivi d'un leger aperçu sur l'administration de ce pays». Paris, 1839.

[2] Остафьевский архив. Т. 4. С. 237.

[3] См. дальше с. 316.

Таково было резюме Кюстина. Неудивительно, что по ознакомлении с его книгой даже высшие официальные сферы утратили присущее им олимпийское спокойствие и равнодушие, а император Николай, прочитав ее, бросил на пол, воскликнув: «Моя вина: зачем я говорил с этим негодяем!» [1]

«Неблагодарный путешественник» мог торжествовать полную победу. Его книга, подобно тяжелому снаряду, пробила полицейскую броню официального благополучия. Она была истолкована как вызов, требовавший ответа.

Прежде всего приняты были все возможные оградительные меры. Немедленно последовало запрещение упоминать о книге Кюстина в печати. Книгопродавцы, выписавшие ее в Россию, получили приказание вернуть все экземпляры за границу. Но эти запреты вряд ли имели успех. Книга обильно протекала в Россию нелегальными путями.

Больно задетое Кюстином русское правительство приложило все усилия к тому, чтобы парализовать действие его книги на европейское общественное мнение и ослабить успех, который она встретила среди читателей всех стран, в частности России. С этой целью за границей на французском, немецком и английском языках стали появляться, при ближайшем участии правительства (конечно, тщательно замаскированном), произведения русских авторов [2], заключавшие в себе беззубую критику Кюстина и холопскую лесть императору Николаю. Недаром Ф. И. Тютчев отозвался об этих «так называемых заступниках России», что они представляются ему «людьми, которые, в избытке усердия, в состоянии поспешно поднять свой зонтик, чтобы предохранить от дневного зноя вершину Монблана» [3].

Конечно, недостаточно было выпустить несколько ничтожных брошюрок с дешевой руганью по адресу автора и жандармскими изъявлениями восторга по адресу существующего строя. Надо было во что бы то ни стало развенчать и автора, и его книгу в глазах общества, а главное, снизить, умалить ее значение, уподобить ее обыкновенному памфлету. Для сего одновре-

---

[1] Записки Ивана Головина. Лейпциг, 1859. С. 93.

[2] Подробно о них см. дальше.

[3] *Тютчев Ф. И.* Россия и Германия//Русский архив. 1873. № 10. С. 1195.

менно с «литературной борьбой» правительство прибегло к старому, испытанному средству, приобретшему уже характер прочно выработанной системы. Первый опыт ее применения был осуществлен при самом воцарении Николая, когда пришлось так или иначе отчитываться перед обществом в событиях 14 декабря. Тогда официальная версия взяла твердый курс на уподобление восстания декабристов случайной и ничтожной бунтовщической вспышке. Он оказался неудачным, этот опыт. Ввиду плохо скрываемой тревоги едва ли кого-нибудь по-настоящему обманули декларативные заверения правительства в ничтожности замыслов заговорщиков.

Так было и в данном случае. Показное презрение к книге Кюстина как к явлению, не стоящему внимания, неспособно было скрыть истинного впечатления, произведенного ею на русское правительство. Но, так или иначе, удобная версия была создана. Поскольку говорить о Кюстине в официальной печати не представлялось возможным, эта версия неизбежно должна была принять формы устной новеллы, запечатлевшейся в дневниках и записках современников. Одна из таких записей повествует, например, о том, как однажды на вечере у императрицы Александры Федоровны государь сказал: «Я прочел только что статью Кюстина, которая чрезвычайно насмешила меня: он говорит, будто я ношу корсет; он ошибается, я корсета не ношу и никогда не носил, но я посмеялся от души над его рассуждением, что императору напрасно носить корсет, так как живот можно уменьшить, но совершенно уничтожить его невозможно» [1].

Если это и анекдот, то уж никак не случайный. Подобные рассказы распространялись, несомненно, нарочито и вполне сознательно, с тем чтобы засвидетельствовать перед обществом отношение самодержца к книге Кюстина. Вот, мол, император в этой книге не нашел ничего заслуживающего внимания, исключая замечания автора о царском корсете. Отсюда почтенным читателям уже самим предоставлялось судить о достоинствах этой книги.

Официальная версия нашла, кажется, наиболее яркое и полное выражение в записках графа М. Д. Бутурлина. Верноподданный граф писал, что Кюстин встретил

---

[1] Русская старина. 1880. № 11. С. 795.

весьма ласковый прием вследствие трагической судьбы его отца и деда и собственной своей «некоторой» литературной известности. В пути государь повелел окружить его всевозможными почестями. Но тем временем будто бы стало известно, что во Франции Кюстин пользуется дурной репутацией из-за своих «нечистых вкусов». И, оскорбленный в лучших чувствах, император распорядился отменить все почести и более уже не принял Кюстина. «Inde ira, и книга явилась как мщение»,— заключал Бутурлин [1].

При этом обязательный граф спешил засвидетельствовать, что книга Кюстина не более «как собрание пасквилей и клевет».

Такова была эта официальная версия, сводившая весь смысл произведения Кюстина к личным счетам. Неизвестно, да и не столь важно знать, действительно ли обладал Кюстин «нечистыми вкусами». Важнее и существеннее то, что правительство в борьбе с ним пользовалось сугубо нечистыми средствами, прибегая к инсинуациям насчет личных свойств автора тогда, когда ничтожен был арсенал возражений против его книги.

При этом правительство, видимо, заботилось и о распространении подобных слухов. «Хорош ваш Кюстин,— восклицал князь Вяземский в письме к А. И. Тургеневу.— Эта история похожа на историю Гекерена с Дантесом» [2].

Так встретило книгу Кюстина николаевское правительство. И тревога его была далеко не напрасной, ибо мемуары французского путешественника не могли не произвести сильного впечатления на русского читателя. «Книга эта действует на меня, как пытка, как камень, приваленный к груди; я не смотрю на его промахи, основа воззрения верна. И это страшное общество, и эта страна — Россия...» [3]— так молодой Герцен отозвался на книгу Кюстина, перелистывая последние ее страницы.

В условиях николаевского режима, в условиях задушенного слова, притупленной мысли и раболепного обскурантизма проникновение подобной книги было явлением настолько необычайным, настолько крупным, что не могло быть обойдено молчанием. На мгновение те, против кого были направлены откровения Кюстина, почувствовали себя в положении людей, в доме которых

---

[1] Русский архив. 1901. № 12. С. 434.
[2] Остафьевский архив. Т. 4. С. 136.
[3] *Герцен А. И.* Полн. собр. соч. и писем. Пг., 1915. Т. 3. С. 142.

подземным толчком сломало наружную стену. И вот внезапно их интимная жизнь, семейные дрязги и ссоры, обыкновенно столь ревниво оберегаемые от постороннего взора, стали достоянием улицы.

Между тем время брало свое. Никакие полицейские оградительные меры неспособны были остановить перерождения русского дворянства, в особенности среднего и мелкого, блеск фамильных гербов которого тускнел в провинциальной глуши. Оно уже успело прикоснуться к европейской культуре. Оно уже начинало смутно сознавать, что для поддержания своего престижа и превосходства недостаточно иметь многоголовые конюшни и псарни да в лакейской толпу заспанных холопов. Провинциальное дворянство уже пыталось перестраивать жизнь как-то на европейский лад. Наряду с тучными йоркширами и тонкорунными овцами оно выписывало из-за границы также новые французские романы, «Journal des Débats», «Аугсбургскую газету». Степные помещики, отправляясь по своим нуждам в город, привозили в деревню запасы свежих книг. В биллиардных вдоль стен начинали вырастать книжные шкафы. Изрядная библиотека становилась предметом хвастовства, чтение — модой. И не только модой, но сплошь и рядом насущной потребностью. Это было вполне естественно опять-таки в силу условий полицейского режима, жестокими рогатками стеснявшего человеческую мысль, единственный выход которой оставался в чтении. Отсюда — особенная тяга к запрещенной книге, интерес к которой зиждился не только на обыкновенном любопытстве, но и на стремлении чужими устами высказать свои сокровенные тревожные мысли, свои сомнения.

Неудивительно, что книгу Кюстина прочли все, вплоть до сыновей Фамусовых и Маниловых. «Я не знаю ни одного дома, порядочно содержимого, где бы не было сочинения Кюстина о России», — вспоминал в 1851 году тот же Герцен [1].

Если придворные круги встретили книгу Кюстина с искренним негодованием, вполне естественным и свидетельствовавшим о том, что стрела попала в цель, то иначе и сложнее складывалось отношение к произведению Кюстина тогдашней русской интеллигенции. Напомним, что и она отнюдь не была внеклассовой и сохраняла основные кастовые черты. Поэт и камергер

---

[1] *Герцен А. И.* Полн. собр. соч. и писем. Т. 6. С. 364.

Ф. И. Тютчев в 1844 году в статье «Россия и Германия» писал: «Книга г. Кюстина служит новым доказательством того умственного бесстыдства и духовного растления (отличительной черты нашего времени, особенно во Франции), благодаря которым позволяют себе относиться к самым важным и возвышенным вопросам более нервами, чем рассудком; дерзают судить весь мир менее серьезно, чем, бывало, относились к критическому разбору водевиля» [1].

Так же, по-видимому, по крайней мере внешне, встретило книгу Кюстина и старшее поколение нарождавшейся русской интеллигенции. Жуковский в письме к А. Я. Булгакову обозвал даже Кюстина «собакой» [2]. Вяземский взялся за перо, чтобы отвечать Кюстину, но бросил статью на полуслове, о чем крайне сожалел тот же Жуковский. «Жаль, что не докончил он статьи против Кюстина,— сетовал Жуковский в письме к Ал. Тургеневу.— Если этот лицемерный болтун выдаст новое издание своего четырехтомного пасквиля, то еще можно будет Вяземскому придраться и отвечать, но ответ должен быть короток, *нападать надобно не на книгу, ибо в ней много и правды, но на Кюстина,* одним словом, ответ ему должен быть просто печатная пощечина в ожидании пощечины материальной» [3].

Замечания чрезвычайно любопытные и характерные. Оказывается, что в книге много правды, и все-таки автора надо наградить пощечиной. «Не за правду ли, добрый Жуковский?»— иронизировал А. И. Тургенев, сообщая отзыв Жуковского Вяземскому. Он спешил заявить, что вовсе не жалеет об отказе его друга от намерения возражать Кюстину, «ибо люблю Вяземского более, нежели его минутный пыл, который принимает он за мнения... Не смею делать замечаний на Жуковского, но, пожалуйста, не следуй его совету»,— заключал Тургенев [4]. В другом письме к Вяземскому Тургенев сам просил друга откликнуться на книгу Кюстина и написать «о принципах, о впечатлениях, переданных откровенно» [5].

Характерно и то, что Вяземский не воспользовался советом Жуковского «придраться к новому изданию» и

---

[1] Русский архив. 1873. № 10. С. 1994.

[2] См.: *Жуковский В. А.* Соч. Спб., 1878. Т. 6. С. 556.

[3] Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу. М., 1895. С. 297. Курсив наш.

[4] Остафьевский архив. Т. 4. С. 277—278.

[5] Там же. С. 256.

уже не вернулся к статье, начатой под горячую руку, хотя Кюстин в ближайшее время выпустил еще ряд изданий своего «пасквиля», не считая переводов на иностранные языки.

Впрочем, есть основания предполагать, что и мнение Тютчева о книге Кюстина не вполне исчерпывалось вышеприведенным отзывом. В дневнике Варнгагена фон Энзе под 29 сентября 1843 года имеется запись о посещении его камергером Т. Коль скоро доподлинно известно, что около этого времени Тютчев посещал Варнгагена, совершенно очевидно, что о встрече с ним и идет речь. И вот оказывается, что «о Кюстине отзывается он довольно спокойно, поправляет, где требуется, и не отрицает достоинство книги». По его словам, читаем далее, «она произвела в России огромное впечатление; вся образованная и дельная часть публики согласна с мнением автора; книгу почти вовсе не бранят, напротив, еще хвалят ее тон».

Подобное разноречие в отзывах одних и тех же лиц, конечно, не должно нас удивлять. Прежде всего совершенно очевидно, что гласное изъявление похвалы Кюстину было немыслимо в условиях николаевского режима. Но и помимо того у этих людей, смотревших на книгу Кюстина под определенным углом зрения и воспринимавших ее сквозь призму своей классовой идеологии, неизбежно должно было создаться двойственное отношение к произведению Кюстина.

Все эти люди, из которых строились первые кадры русской интеллигенции, считали естественным обсуждать недостатки родины в своем тесном кругу, тогда как Кюстин был для них чужим, сыном чужой им, да еще враждебной в эту пору Франции. Пусть мы признаем, что наши близкие обладают многими недостатками и даже пороками, но мы их все-таки горячо любим, и нам больно, ежели чужой, проведший несколько времени в их обществе, станет осуждать их. Вот в точности чувства, которые вызывала книга Кюстина в русской интеллигенции. И от чувства этого не мог освободиться вполне даже молодой Герцен. «Тягостно влияние этой книги на русского,— писал он в 1843 году.— Голова склоняется к груди, и руки опускаются; и тягостно от того, что чувствуешь страшную правду, и досадно, что чужой дотронулся до больного места...» [1]

---

[1] *Герцен А. И.* Полн. собр. соч. и писем. Т. 3. С. 140.

Если для русских читателей книга Кюстина явилась своего рода зеркалом, в котором они, волнуемые противоречивыми чувствами, узнавали себя, то для Европы это произведение во многих отношениях сыграло роль ключа к загадочному шифру, ключа к уразумению многих сторон и явлений таинственной страны, упрямо продвигавшейся к первому пульту европейского концерта.

По всему этому естественно, что на долю мемуаров Кюстина выпал редкий успех. Выдержавшая множество изданий во Франции, книга тогда же была переведена на все важнейшие европейские языки, в каждой стране опять-таки потребовав по нескольку изданий.

С течением времени книга Кюстина утрачивала все более актуальное значение, ибо по самому замыслу своему она адресовалась к современнику. И тем не менее интерес к ней не угасал. Лишенный возможности познакомиться с книгой в полном переводе, в силу тяготевшего над нею цензурного запрета, русский читатель со вниманием следил за скупыми отрывками, печатавшимися Н. К. Шильдером в «Русской старине». С таким же вниманием был встречен и появившийся в издании «Русская быль» сжатый, обескровленный пересказ воспоминаний Кюстина.

Бесспорно, Кюстин вполне заслужил подобную популярность. Книга его является ценным источником сведений из области политического строя николаевской эпохи. Особый интерес придает ей то, что она написана иностранцем, впервые посетившем Россию. Отсюда — ее острота и свежесть, очень часто отсутствующие у отечественных мемуаристов, описывающих обстановку, в которой они родились и выросли. Однако же эта особенность Кюстина имеет и оборотную сторону. Правда, в своих суждениях о России и в повествовании своем он был беспристрастен и прагматичен, сколько это вообще возможно. Правда и то, что он, приехав в Россию, был до некоторой степени подготовлен к восприятию русских впечатлений, изучив историю. Кюстин хорошо был знаком с «Историей России и Петра Великого» Сегюра и «Историей государства Российского» Карамзина, вышедшей еще в 1826 году в Париже в переводе Жофре.

И все-таки благодаря краткости своего пребывания в России Кюстин, как новичок, не всегда мог уразуметь отдельные стороны того сложного комплекса, который представляла собой николаевская Россия. К тому

же он иногда и слишком спешил со своими заключениями. Так, например, едва приехав в Петербург, Кюстин на основании первых впечатлений, произведенных на него столицей, уже судил обо всей России. Но это было бы еще полбеды. Несравненно опаснее то, что в сознании Кюстина придворное окружение, с которым он близко столкнулся в Петербурге, отождествлялось с понятием «народ». И по этой оторванной, висящей в безводушном пространстве горсти людей Кюстин сплошь и рядом судил о подлинной России и ее народе.

Но зато тогда, когда он говорит о Николае, о дворе, о русском чиновничестве, Кюстину можно всецело довериться. Своим острым, наблюдательным умом он сумел глубоко и верно разгадать смысл русского самодержавия и фигуру его «верховного вождя». Суждения Кюстина о Николае тем более интересны, что на протяжении всей книги отчетливо проходит смена его впечатлений: от восторга, близкого к обожествлению, путем мучительного анализа французский роялист пришел к полному развенчанию своего героя, к зловещей разгадке Николая, отражавшего Россию его времен — «гигантский колосс на глиняных ногах». Для Кюстина трагическая развязка николаевского царствования ни в какой мере не могла явиться неожиданностью.

Сталкиваясь же с подлинным народом, Кюстин поневоле обнаруживал некоторую близорукость. «Настоящий народ,— замечает М. Н. Покровский,— трудно было рассмотреть из окон комфортабельной кареты, в которой объезжал Россию на курьерских французский маркиз: еще труднее было с ним сблизиться, не зная его языка» [1]. Поэтому обстоятельный всегда Кюстин так сбивчив и тороплив в тех случаях, когда он говорит о подлинной России. Он увереннее чувствует себя в сфере «высшего света», почему и решается утверждать привязанность русских к своему рабству, хотя вся страна сотрясалась крестьянскими восстаниями. Кюстин знал о них, но не умел разобраться в их сущности. Его возмущение крепостным правом происходило из чисто эмоционального источника и ограничивалось привычными штампами. В русском народе он уловил по преимуществу лишь

---

[1] *Покровский М. Н.* Русская история с древнейших времен. М., 1922. Т. 4. С. 4. Ту же мысль в свое время высказал Герцен, замечавший, что следует «исследовать Россию немного глубже той мостовой, по которой катилась элегантная коляска маркиза де Кюстина» (*Герцен А. И.* Полн. собр. соч. и писем. М.; Пг., 1923. Т. 20. С. 84).

внешние черты: наружность, наивную хитрость, умение бороться с обстоятельствами да его унылые напевы, смысл которых, надо отдать справедливость, Кюстин сумел хорошо разгадать.

Но и в отдельных подробностях Кюстин обнаруживал подчас слишком большую поспешность и непродуманность. Так, он совершенно не понял значения двух крупнейших явлений предшествовавшего времени: литературной деятельности Пушкина и восстания декабристов. С такой же легкостью Кюстин повторил довольно распространенную в западноевропейской публицистике мысль о том, что русская культура не более как внешний лоск, едва прикрывающий варварство, что истинная цивилизация чужда русским, ограничивающимся поверхностным усвоением того, что выработано в области культуры европейской наукой. Более чем сомнительны замечания Кюстина по поводу характера русских мятежников, методическую жестокость которых он противопоставляет преходящему революционному исступлению своих соотечественников. Многие заключения его весьма смелы и любопытны, но не менее того спорны, подобно замечанию насчет того, что прославленные русские кутежи являлись лишь одной из форм выражения общественного протеста против правительственного деспотизма.

Подобных ошибочных либо спорных суждений много рассеяно в книге Кюстина. Но все эти ошибки, допущенные автором либо по незнанию, либо в пылу обличительного задора, конечно, ни в какой мере не умаляют значения книги. За увлекательными, яркими и художественными страницами ее мы ясно и отчетливо видим лицо эпохи.

В этом весь смысл и значение книги Кюстина. Благодаря этому «Россия в 1839 г.» может быть отнесена к числу крупнейших исторических памятников. Таковым остается она и по настоящее время, являясь интереснейшим документом той мрачной и зловещей эпохи, которая связана с именем императора Николая I.

II

Выше уже было отмечено, что впечатление, произведенное книгой Кюстина, было чрезвычайно сильно. За границей «Россия в 1839 г.» выдерживала одно издание за другим, и правительство в спешном порядке

вынуждено было мобилизовать силы «верноподданных» писателей, чтобы опровергнуть «клеветника» Кюстина.

Спустя несколько месяцев после выхода в свет книги Кюстина в Париже появилось «Исследование по поводу сочинения г. маркиза де Кюстина, озаглавленного «Россия в 1839 г.». «Исследование» принадлежало перу Н. И. Греча. В предисловии к своему труду Греч говорил, что он дал согласие на перевод его на французский язык, уступая желанию своего соотечественника Кузнецова. Вместе с тем он пользуется случаем заявить, что утверждения французских и немецких газет о том, что книга его написана по поручению русского правительства, абсолютно ложны. «Я предпринял настоящую работу,— пишет Греч,— исключительно по личной инициативе». Личная инициатива Греча в деле опровержения Кюстина стоит вне сомнения, однако к его книге русское правительство имело весьма близкое отношение и принимало участие в ее издании. Вся история этой книги подробно рассказана М. Лемке в его труде «Николаевские жандармы и литература» на основании найденного им дела III отделения...[1]

В июле 1843 года проживавший в это время в Гейдельберге Греч писал помощнику Бенкендорфа Л. В. Дубельту: «Из книг о России, вышедших в новейшее время, самая гнусная есть творение подлеца маркиза де Кюстина... Ваше превосходительство, заставьте за себя вечно бога молить! Испросите мне позволение разобрать эту книгу... Разбор этот я напишу по-русски и отправлю к вам на рассмотрение, а между тем переведу его на немецкий язык и по получении соизволения свыше напечатаю... а потом издам в Париже по-французски... Ради бога, разрешите, не посрамлю земли русския! Что не станет в уме и таланте, то достанет пламенная моя любовь к государю и отечеству!» Через некоторое время Греч, не дождавшись ответа от Дубельта, писал ему, что принялся за разбор книги Кюстина, кончил его и посылает рукопись вместе с письмом. «Все убеждали меня писать. Я отвечал, что не считаю себя вправе печатать что-либо в сем роде без формального соизволения правительства... С искренним усердием и действительной благонамеренностью могу я, находясь на чужбине, не угадать желаний и намерений

---

[1] См.: *Лемке М.* Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. Спб., 1909. С. 141—152.

правительства и написать не то, что должно, или, по крайней мере, не так, как должно». Ответ был самый утешительный. Дубельт писал, что представил на рассмотрение управляющего III отделением А. Х. Бенкендорфа рукопись Греча, которая после незначительных исправлений получила полное одобрение. Бенкендорф рекомендовал Гречу напечатать его разбор «особыми брошюрами на немецком и французском языках для распространения за границею сколь возможно в большем числе экземпляров».

Греч, получив это письмо, исполнился восторженной признательности. «Вы не поверите, как письмо ваше меня ободрило и обрадовало... Итак, может быть, усердие мое будет приятно государю, нашему отцу и благодетелю. Я вполне достиг цели». Греч сообщал, что рукопись уже отправлена старшему секретарю русского посольства при Баденском дворе Коцебу для перевода на немецкий язык. «В Германии желалось бы мне напечатать ее в Аугсбургской «Allgemeine Zeitung», которой расходится до 12 тысяч экземпляров, но, по нерасположению негодяев издателей к России, не могу сделать сего иначе, как заплатив за напечатание. Позволите ли вы сделать эту издержку на счет казны?.. Печатание этой статьи особыми брошюрами на немецком и французском языках станет в копейку. Я охотно сделал бы все это на мой счет, если б был в состоянии, но вам известно, я думаю, какие потери потерпел я в начале нынешнего года. Сверх того, несмотря на то что я работаю здесь для правительства во всех отношениях, обязан я платить за паспорты для меня и моего семейства по 1400 рублей ассигнациями в год... По всем сим причинам нахожусь я в необходимости просить вас о разрешении произвести вышеисчисленные издержки на счет казны. Я постараюсь издержать как можно менее и во всем отдам подробный отчет...» Надежды Греча на денежную помощь правительства не оправдались. Дубельт написал ему, что Бенкендорф не соглашается на какие бы то ни было издержки по изданию книги Греча. Не соглашается, во-первых, потому, что иностранные писатели никогда не требуют денежных пособий от своих правительств, а во-вторых, «некоторым образом подкупать журналы для помещения в оных угодных нам статей не было бы согласно с достоинством и всегдашним благородством нашего правительства». Через некоторое время французский и немецкий переводы книги

Греча были напечатаны и присланы в III отделение. Дубельт писал Гречу, что и Бенкендорф, и сам государь читали книгу Греча и остались ею довольны. Греч мог надеяться, что при таком благосклонном приеме труды его все-таки не пропадут и он получит ожидаемую награду. Надежды эти, как сейчас увидим, были очень близки к осуществлению, но внезапно на голову Греча обрушилась беда.

В конце 1843 года Дубельт написал Гречу письмо, в котором сообщал, что в одном из номеров «Франкфуртского журнала» Бенкендорф с удивлением прочел статью о том, что Гречу поручено русским правительством составить опровержение Кюстина на основании официальных материалов, что это опровержение уже составлено и переводится на французский и немецкий языки. Бенкендорф объясняет появление подобных сведений только нескромностью Греча и поэтому предоставляет ему самому судить, насколько мало он может вызывать к себе доверия. В другом письме Дубельт писал, что Бенкендорф согласился бы возвратить Гречу все издержки, если бы не читал во всех газетах «все подробности предложенного не правительством ему, а им правительству дела». После того как Греч дал повод журналистам разглашать, что правительство поручило ему печатание книги, тогда как он сам предлагал написать и напечатать ее, Бенкендорф не желает больше иметь дела с Гречем и просит его прекратить всякую переписку на эту тему. Греч отвечал униженными оправданиями, но надежды на возвращение милостей правительства, однако, не потерял. Узнав о том, что переводчику его книги на немецкий язык был выдан годовой оклад жалованья, он писал Дубельту: «Из внимания, оказанного переводчику моей книжки, заключаю, что и сочинитель ее когда-нибудь обратит на себя внимание своими усердными и посильными трудами...» Из дела архива III отделения, опубликованного Лемке, не видно, насколько оправдались ожидания Греча, но, судя по всей его дальнейшей деятельности, ему удалось быстро помириться с III отделением и получить награду за «посильные и усердные труды».

Такова история издания книги, о которой Греч в предисловии говорил, что написал ее «единственно для исполнения долга совести, в интересах чести и истины».

После своего коротенького предисловия Греч сразу приступает к делу. Он на первой же странице заявляет.

что книга Кюстина есть собрание ошибок, неточностей, противоречий, лжи и клеветы, что Кюстин судит о России с таким же правом, как глухонемой об оперном представлении. Греч не может опровергать все измышления Кюстина, так как для этого пришлось бы написать столько же, сколько написал сам Кюстин. Поэтому он остановится лишь на самом важном. Он собрал в Париже порочащие Кюстина сведения, но не хочет приводить их: у него нет намерения прибегать к таким неэтичным полемическим приемам, он будет говорить только о книге Кюстина, и сказанного вполне достаточно для того, чтобы каждому стала ясна истинная физиономия ее автора.

Свою полемику с Кюстином Греч начинает с разговора между автором «России в 1839 г.» и хозяином любекской гостиницы. По мнению Греча, разница в настроении отъезжающих и приезжающих на родину русских объясняется тем, что отправляющиеся за границу приезжают в Любек обычно весной, и весеннее настроение придает им бодрый и радостный вид. Возвращаются же они осенью. Холод, дождь, пустые кошельки, грядущие неприятности по службе и т. д. — все это понижает настроение путешественников, и они имеют вид печальный и озабоченный. «Впрочем, — прибавляет Греч,— могу вас уверить, г. Кюстин, что при приближении к Кронштадту дурное настроение у всех исчезает, и путешественники, в предчувствии радости возвращения на родину, забывают обо всем, в том числе и о вас, г. Кюстин». Разговор с Козловским Греч считает выдумкой Кюстина. Не мог Козловский передавать те сплетни и анекдоты, которые приведены Кюстином. Кроме того, Козловский, видимо, много шутил, а Кюстин по наивности принял все эти шутки за чистую монету.

Чрезмерная обидчивость Кюстина на порядки в русской таможне свидетельствует о некоторой нечистоте его помыслов, так как в приеме Кюстина нет ничего необыкновенного. Греч сам по приезде в Вену должен был подвергаться тем же формальностям, каким подвергался Кюстин, и не нашел в этом ничего особенного. По словам Греча, вся история с постройкой Зимнего дворца, рассказанная Кюстином, сплошная ложь. Ни один человек не погиб. Русскому человеку вообще не страшна резкая перемена температуры, он привык к ней: известно, что у русских в обычае из бани бросаться на снег. Этим они закаляют свое здоровье, и уж никакая

резкая смена тепла и холода не может быть для них опасна. Конечно, иностранец бы этого не выдержал, но русские достаточно выносливы.

Греч останавливается на утверждении Кюстина, что сфинксы у Академии художеств в Петербурге являются копиями, а не подлинниками. Издеваясь над подобной «точностью» сведений Кюстина, Греч замечает: «И человек, так явно искажающий истину, берется судить об империи, занимающей чуть ли не половину земного шара!» Этот образчик полемики Греча весьма примечателен. Он выбирает из Кюстина заведомые ошибки и на основании этого предлагает судить о степени достоверности всей книги. Читатель, конечно, мог после столь яркого примера усомниться в справедливости утверждений Кюстина. Но в том-то и дело, что Греч останавливается только на мелочах, которые ровно никакого значения для всего рассказанного Кюстином не имеют. Подобного уничтожающего примера среди записей Кюстина об императоре, о системе управления в России, о самом правительстве Греч найти не мог, а потому ему пришлось для опровержения автора в этой части его книги прилагать всю силу своего не слишком острого ума и далеко не блестящего полемического таланта.

Кюстин в своей книге часто издевается над «обожанием» императора его подданными. Греч утверждает, что все русские испытывают сыновние чувства к Николаю I и любят его совершенно искренно. Эту искренность может засвидетельствовать сам император: он часто переодетый появляется на улицах в толпе и отовсюду слышит благословения своему имени. Греч не упускает случая при этом написать длиннейший и сладчайший панегирик Николаю I. Император любим и обожаем всем народом. Да и как не любить того, кто с такой трогательной заботливостью печется о благе последнего из своих подданных, отдавая все силы и здоровье этим заботам? Если бы разрешить народ от присяги, то все шестьдесят миллионов населения страны все равно выбрали бы Николая императором. Кюстин в характеристике государя допускает странное противоречие: вначале он отмечает искренность, благородство, простоту и величие Николая, но далее рисует его как деспота, бессердечного и холодного тирана. Как разгадать это противоречие? Греч замечает, что разгадка его явится ключом к пониманию всех бесчисленных противоречий, наполняющих книгу Кюстина,

который по адресу одних и тех же лиц и явлений переплетает самым тесным образом любовь и ненависть, правду и ложь, благодушие и нетерпимость. Греч ни словом не упоминает о том, как сам Кюстин объяснял все противоречия в своей книге (см. об этом с. 263), а высказывает по этому поводу следующее утверждение: Кюстин путем кажущегося беспристрастного отношения к личности императора в начале книги хочет купить доверие к своей последующей клевете. Этот же прием применяется им и во всей книге: роняя кое-где похвалы России, он хочет придать своим клеветническим измышлениям характер правдивости.

По словам Греча, ничто не может быть выше русского правительства и русской системы управления. Личность каждого живущего в России вполне обеспечена. Высшее управление полицией поручено людям, пользующимся доверием императора и уважением всей страны. Представители низшей полиции также окружены всеобщим почетом и любовью. Свобода выражения мнений предоставлена в России каждому, и если цензура существует, то она учреждена исключительно в интересах самих подданных императора. Кроме того, ехидствует Греч, иностранцы пишут о России так много вздора, что цензура становится совершенно необходимой. Вообще, в России думают и говорят не менее свободно, чем в Париже, Берлине и Лондоне. Русское правительство всегда действует безупречно. Кюстин обвиняет его в жестокости по отношению к Лермонтову, высланному на Кавказ за стихи на смерть Пушкина. Греч утверждает, что ссылка эта послужила лишь на пользу поэту, так как на Кавказе дарование Лермонтова развернулось во всей широте.

Таковы образчики неуклюжей полемики Греча и его рабски преданной защиты Николая I. В заключение он приглашает Кюстина или его единомышленников опровергнуть его, Греча, доводы и заканчивает свою книгу выражением надежды, что для людей благомыслящих, по крайней мере, всего того, что сказано им, будет достаточно. «Что касается других, то не для них я взялся за перо»,— глубокомысленно замечает Греч. Этих «других», видимо, было не слишком мало: А. И. Тургенев в январе 1844 года из Парижа писал, что никто не покупает книги Греча. В другом письме, датированном декабрем 1843 года, он сообщил Вяземскому, что «русские и полурусские дамы получили печатные кар-

точки: «M-r Gretch, premier espion de sa majesté empereur de la Russie» [1].

Вслед за книгой Греча в Париже появилось новое сочинение, имевшее целью уничтожить Кюстина и восстановить доброе имя Николая I. Оно было написано Дюэ [2]. Французский адвокат, написавший «Французскую и латинскую риторику для употребления в пансионах» и «Военное уложение о наказаниях», решил свою разностороннюю литературную деятельность закончить опровержением Кюстина. С какой целью принялся за свой труд Дюэ, по какому поводу написал его, установить столь же трудно, как и разгадать мотивы создания им первых двух «увражей». В его книге нет ни предисловия, ни каких бы то ни было разъяснений. Судя, однако, по тону его «критики», столь же верноподданному, как и у Греча, можно предположить известную близость Дюэ к русскому правительству, осуществляемую, может быть, и помимо секретного денежного фонда III отделения, а продиктованную вполне бескорыстными соображениями.

Книга Дюэ ничем не отличается по своему характеру от «Исследования» Греча, но лишена даже и немногих литературных достоинств первого. Дюэ целых 63 страницы своей книги (из 76) посвящает изложению истории России начиная с 859 года, который он почему-то считает годом начала Руси, и кончая современными ему событиями. После этого следует совершенно неожиданное заявление: «Покончим с Кюстином», хотя во всем этом историческом экскурсе о Кюстине не было произнесено ни слова. Несколько общих замечаний по поводу лжи и пристрастия Кюстина и указание на то, что в современной Франции есть много явлений еще более грустных и тяжелых, чем те, которые увидел Кюстин в России,— таково содержание легковесной и пустой книжонки Дюэ. «Глубоко философское» размышление по поводу того, что все без исключения народы имеют свои светлые дни и темные ночи и что отдельные отрицательные явления не объясняют общего положения вещей, завершает «Критику» Дюэ.

Шум, поднятый вокруг книги Кюстина, усиливался.

---

[1] «Г. Греч, первый шпион его величества российского императора» (Остафьевский архив. Т. 4. С. 274).

[2] «Critique des mistères de la Russie et de l'ouvrage de M. de Custine: «La Russie en 1839», suivie de l'extrait du voyage de l'empereur. Par Duez, avocat à la cour royale de Paris».

Европа жадно читала ее, а потому опровержений Греча и Дюэ оказалось слишком недостаточно. Правительству пришлось привлекать новые силы к делу развенчания французского путешественника, отплатившего столь черной неблагодарностью за оказанное ему гостеприимство. В Париже жил Я. Н. Толстой, числившийся «корреспондентом Министерства народного просвещения», но фактически являвшийся агентом III отделения. На его обязанности лежало «защищение России в журналах» от всяких нападений на нее в литературе. Так как он уже успел зарекомендовать себя с этой стороны несколькими сочинениями, написанными в самом патриотическом духе, ему было поручено написать в добавление к Гречу опровержение Кюстина. В 1844 году вышли в Париже две его книжечки. Одна из них была выпущена под псевдонимом Яковлева, другая — под его собственным именем [1]. Казенное славословие этих книжечек ничем не отличается от патриотических упражнений Греча. Все те же скучные и вялые рассуждения о лживости Кюстина и о доблестях Николая I, которого, конечно, не понял французский путешественник, так же как он не мог понять и всей России.

Однако в книге Я. Толстого, выпущенной им под псевдонимом Яковлева, есть несколько довольно интересных подробностей. Толстой с самого начала заявляет, что ему известна истинная причина нарочитой лживости Кюстина, которою, за исключением немногих верных замечаний, проникнута вся его книга. Этой причины Толстой не раскрывает, но делает намек на то, что Кюстину было необходимо заглушить толки вокруг какой-то связанной с ним скандальной истории грандиозным шумом своей книги. Любопытно признание Толстого, что при первом знакомстве с книгой Кюстина его охватило негодование. Но когда он увидел, что имеет дело с сумасшедшим, его негодование прошло и даже сменилось любопытством, так как сумасшествие Кюстина не лишено некоторой развлекательности. Толстой так же, как и Греч, останавливается на противоречиях, постоянно допускаемых Кюстином. Парадокс Кюстина — «путь собственных противоречий есть путь познания» — позволяет ему совершенно не стесняться и опровергать то,

---

[1] «La Russie en 1839, revé par M-r de Custine, ou Lettres sur cet ouvrage, écrites de Francfort» и «Lettre d'un Russie à un journaliste français sur les diatribes de la presse anti-russe».

что на предыдущей странице он утверждал. В одном из своих писем (книга Толстого написана в форме писем из Франкфурта) автор останавливается на открытом им качестве ума Кюстина: органической склонности к умалению любого достоинства. Очень часто суждения Кюстина зависят от его минутного настроения, а так как оно большею частью окрашено в мрачные тона, то приговор Кюстина почти всегда бывает отрицательным. Если какое-либо явление или предмет найдет у Кюстина положительную оценку, то это носит случайный характер и является счастливым исключением. Как бы испугавшись своей похвалы, Кюстин торопится аннулировать ее эффект путем нагромождения одной клеветы на другую. При таком свойстве Кюстина все его слова теряют всякую цену.

Опираясь на эту свою основную мысль о характере ума Кюстина, Толстой опровергает все его утверждения уже без всякого труда. И в самом деле, нетрудно, приведя какую-либо цитату из Кюстина, заявить, что так как мы имеем дело с человеком, нервная система которого не совсем уравновешена, то не стоит и обращать внимания на его суждения, а просто заявить, что они ложны. Одно замечание Толстого не лишено, впрочем, ехидства: выписав слова Кюстина, сказанные им о языке Пушкина, он восклицает: «Где уж тут Кюстину судить о Пушкине, когда он путает пруссаков с персиками». Заключение Толстого вполне соответствует всей установке его книги. Он заявляет, что по-настоящему опровергать книгу Кюстина невозможно потому, что нет средств к опровержению необузданной человеческой фантазии.

Вторая книжка Толстого направлена одновременно против Кюстина и других антирусских писателей. Она содержит ряд чрезвычайно скучных и вялых обвинений Кюстина в лицемерии, лживости, неблагодарности и прочем, обвинений к тому же совершенно голословных. Толстой в этой книге беспрестанно признается в любви к Франции, которую не только он, но и вся Россия весьма ценит, несмотря на многие отрицательные стороны ее. А вот Кюстин не оценил России и произнес над ней свой суровый приговор на основании мимолетных впечатлений. Кюстину следовало бы обратить внимание на то хорошее, что привлекает любовь к России всех иностранцев, если они не заражены предвзятыми убеждениями.

Гораздо выше указанных опровержений Кюстина, изданных при участии русского правительства, стоит книга К. К. Лабенского [1]. Лабенский был старшим советником Министерства иностранных дел. Вместе с тем он неоднократно выступал в печати как поэт под псевдонимом Жан Полониус. Им было выпущено несколько сборников стихов и ряд отдельных крупных поэтических произведений. Книга Лабенского была издана дважды по-французски и кроме того переведена на немецкий и английский языки. Прекрасный стиль, тонкое и умное понимание Кюстина, очень тактичная защита Николая I — таковы ее несомненные достоинства. Правда, Лабенский, как и все другие авторы антикюстиновской литературы, не смог привести ни одного фактического опровержения сведений Кюстина, кроме тех, которые носили явно вздорный характер. Но все же его книга была ближе к цели, чем писания Греча, Дюэ и Толстого, так как она была написана умным и несомненно талантливым человеком.

Лабенский начинает с утверждения, что в настоящее время о России слишком много говорят в Европе. Непрекращающиеся обвинения России в подготовке нашествия на Европу привлекают к ней всеобщее внимание и во многих порождают ненависть. Один из таких ненавистников — Кюстин. Он сам признается, что все предшествующие описания России были слишком снисходительны к ней, его же задача — показать Россию без всяких прикрас и открыть глаза на нее тем, кто еще сомневается в истинных намерениях этой страны. Спорить с Кюстином бесполезно. Гораздо лучше можно доказать ошибочность его представлений о России анализом его метода. Кюстин слишком злоупотребляет обобщениями. Отдельные впечатления, всегда отрывочные и поверхностные, дают ему совершенно недостаточный материал для тех выводов, которые он так уверенно и непогрешимо изрекает. Кюстин — Цезарь путешественников: он приехал, увидел и узнал. Страсть к обобщениям создает у Кюстина заранее выработанный критерий оценки всего происходящего вокруг него. Кюстин, по словам Лабенского, привез с собою Россию в портфеле; ему достаточно было лишь пароходных

---

[1] Un mot sur l'ouvrage de M. de Custine, intitulé «La Russie en 1839» (см.: *Лемке М.* Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. С. 143).

впечатлений и разговора с князем Козловским, чтобы создать раз навсегда определенный и неизменный взгляд на Россию. Такой метод мышления заставляет Лабенского упрекнуть Кюстина в излишней поэтичности миросозерцания; перелом его политических воззрений, происшедший в нем за время пребывания в России, есть процесс скорее поэтического, чем логического порядка.

Постоянное стремление к обобщениям приводит Кюстина к многочисленным противоречиям, которые становятся настолько очевидными, что не могут быть не замечены самим автором. Дело не в противоречиях, говорит Лабенский, ибо все в мире полно контрастов. Противоречивы, в сущности, не факты, а комментарии к ним, и больше всего люди становятся непоследовательными тогда, когда они начинают непоследовательно объяснять противоречия. Россия полна ими, с этим вполне соглашается Лабенский, но вся беда в том, что Кюстин видит лишь дурные стороны, не замечая светлых. Вследствие этого Кюстин, часто угадывая совершенную правду, не в состоянии осознать и понять всего отмечаемого им явления в целом. Правда Кюстина иногда сурова и жестока, и мы, говорит Лабенский, можем быть только благодарны Кюстину за нее. Но это относится лишь к частностям, а отнюдь не ко всему целому. Одно замечание Кюстина особенно понравилось Лабенскому: в России отсутствует общественное правосознание, оно заменяется дисциплиной. Это вполне справедливо отмеченное, по мнению Лабенского, качество лишает все славянские народы политической мощи. И если Россия все же никоим образом не является политически слабой страной, то это объясняется только тем, что в ней отсутствие правового самосознания у масс заменяется инстинктивной, привычной, почти суеверной любовью к правительству. У образованных же людей эта любовь вполне сознательна и логически обоснована.

В своей книге Кюстин очень часто прибегает к историческим справкам и параллелям. Прием этот, говорит Лабенский, не слишком надежен, ибо ведь история похожа на Библию: всяк видит в ней то, что хочет.

Таково общее содержание книги Лабенского. В заключение он не совсем удачно и в некотором противоречии с общим серьезным тоном своей книги, далеким от всякой звонкости и хлесткости, сравнивает книгу Кюстина со сказками Шахразады и утверждает, что

фактическое опровержение ее и неуместно, и невозможно.

Нашелся еще один «опровергатель» Кюстина, написавший свое опровержение, правда без всякого давления со стороны правительства, но с открытым намерением задобрить его и потому допустивший в нем самую грубую лесть. Это был граф И. Г. Головин, чиновник Министерства иностранных дел, занимавшийся между делом литературой. В 1842 году он уехал за границу, где написал книгу «Дух политической экономии», вызвавшую гнев русского правительства. Желая себя реабилитировать, он сочинил «Discours sur Pierre le Grand. Refutation du livre de M. de Custine "La Russie en 1839" (Paris, 1843). Книга была написана в самом преданном правительству тоне, и Кюстину сильно «досталось» за его выпады против Петра I. Надежды Головина, связанные с его книгой, однако, не оправдались, примирения с правительством достигнуть не удалось, и злополучному литератору пришлось остаться в качестве эмигранта за границей, где он пустился во всяческие аферы и скоро снискал себе печальную слáву трусливого, но заносчивого авантюриста [1]. Так как книга Головина касается лишь того, что было сказано Кюстином о Петре, то она не представляет особого интереса, тем более что ее литературные достоинства отнюдь не блестящи.

Инспирированная русским правительством литература о книге Кюстина наполнена упреками в верхоглядстве, легкомыслии и постоянных противоречиях автора, часто прибегающего к тому же к сознательной лжи и клевете. Уже было отмечено, что поспешность некоторых заключений Кюстина, несмотря на всю их искренность, не подлежит сомнению. Этот упрек Кюстину встречается даже во французской критике, свободной от каких бы то ни было обязательств по отношению к русскому правительству. Так, например, статья в журнале «Revue de Paris» (1843. V. 23), посвященная разбору книги Кюстина и принадлежащая перу Шод-Эга, весьма резко осуждает Кюстина за его легкомыслие. Как не заподозрить правдивость человека, говорит Шод-Эг, который открыто заявляет, что он отказывается от названия беспристрастного наблюдателя-

[1] См.: *Лемке М.* Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. С. 555—572.

путешественника? Как довериться рассказам того, кто наивно радуется своему кратковременному пребыванию в России, утверждая, что он хуже узнал бы эту страну, если бы жил в ней дольше, что он не изменит своего мнения о России, хотя бы ему пришлось провести в ней не два месяца, а два года? Замечание Кюстина, что он мало видел, но много угадал, дает повод Шод-Эгу упрекнуть его в величайшей самонадеянности. По мнению автора, вся книга Кюстина наполнена праздной болтовней. Кюстин обнаружил величайшую неосведомленность в области экономики России, ее политической и культурной жизни. Его характеристика императора и русского народа полна противоречий, причем совершенно невозможно установить, какое из его противоположных мнений ближе к действительности. Лживость Кюстина не помешала большому успеху его книги. Чем же объяснить этот успех? Для реакционного критика ответ не представляет затруднений: книга написана для толпы. Вульгарность и бесцеремонность ее как нельзя более подходят ко вкусам толпы. Но серьезная критика должна разоблачить бесполезность и даже лживость «России в 1839 г.».

Более благоприятную оценку Кюстина встречаем мы в статье графа д'Оррера, помещенной в либеральном журнале «Le Correspondance» (1843. № 3). Автор статьи, признавая, что книга Кюстина написана наспех, что у него было мало материала для его иногда слишком категорических выводов, все же отмечает в ней много ценного. Д'Оррер восхищается мыслями Козловского, высказанными им в разговоре с Кюстином. Трудно охарактеризовать русскую натуру лучше, чем это сделал Козловский. «Долгое пребывание в России», заявляет д'Оррер, «дает нам возможность засвидетельствовать величайшую справедливость всего сказанного собеседником Кюстина, особенно же его мыслей по поводу нетерпимости, столь активно проявляющейся в политике русского правительства настоящего царствования». Ничто в Европе не похоже на совершенный деспотизм русского царя, который, если бы ему было доступно, отнял бы у человека возможность думать. Д'Оррер отсылает своего читателя к книге Кюстина, чтобы тот имел возможность во всех подробностях познакомиться с различными проявлениями деспотизма в России, этой «страны рабов», как ее называет д'Оррер. Одно предположение Кюстина вызывает особое беспокойство

д'Оррера. Кюстин высказывает опасение, что Россия вторгнется в Западную Европу и сметет с лица земли европейскую цивилизацию. Д'Оррер вполне соглашается с мыслью о возможности подобного нашествия и считает, что парализовать военное и политическое вторжение России в Европу удастся лишь путем сохранения полного согласия между всеми европейскими государствами. Пусть Европа не гасит спасительного страха перед планами России, но пусть она чувствует себя достаточно сильной, чтобы ничего не бояться, кроме своих собственных разногласий.

Все приведенные до сих пор отзывы о книге Кюстина, принадлежащие либо защитникам России ex officio (по обязанности.—*Ред.*), либо французским критикам, отличаются одной особенностью: они проникнуты убийственной холодностью, столь дисгармонирующей со страстным, горячим тоном Кюстина. Первые возмущались Кюстином ровно настолько, сколько это было необходимо для оправдания оказанного им доверия, вторые же с любопытством отмечали некоторые подробности памфлета Кюстина, по существу, весьма мало их трогавшего, давая ему вполне благопристойную — положительную или отрицательную — оценку. Иначе отнеслись к «России в 1839 г.» те, кто принадлежал к числу передовых русских интеллигентов, честных и независимых в своих убеждениях. Они могли принять или отвергнуть обличения Кюстина, проникнуться к нему чувствами симпатии или, напротив, презрения, но остаться равнодушными, как были равнодушны Гречи, Толстые и Головины, не могли. Среди этих людей на первом месте стоит, конечно, Герцен.

«Теплое начало его [Кюстина] души сделало особенно важной эту книгу; она вовсе не враждебна России. Напротив, он более с любовью изучал нас и, любя, не мог не бичевать многого, что нас бичует»,— так чутко сумел понять Герцен книгу, действовавшую на него, «как пытка». Герцен признает у Кюстина ошибки, встречающуюся иногда поверхностность суждений, но не может ему отказать в истинном таланте, в умении схватывать на лету, в верности многих характеристик. Особенно восхитили Герцена такие замечания Кюстина, как «хвастовство теми элементами европейской жизни, которые только и есть у нас для показа», как «ирония и грусть, подавленность и своеволие» русского общества, как «беспредельная власть и ничтожность личности перед нею».

В дневнике за 1844 год Герцен высказывается по поводу книг Греча и Лабенского. Для первого он не находит достаточно слов, чтобы выразить свое возмущение. «Рабский, холопский взгляд и дерзкая фамильярность», «цинизм раба, потерявшего всякое уважение к человеческому достоинству», «Греч предал на позор дело, за которое поднял подлую речь» — такова характеристика, данная Герценом «первому шпиону русского императора». Своим отрицанием фактов, всем известных, Греч достигает обратного результата: он лишь усугубляет силу обличений Кюстина. Лабенский гораздо умнее Греча, он не посмел опровергать того, что уже давно превратилось в общеизвестную истину, обнаружив тем самым некоторую долю тактичности, в признании которой ему не отказывает Герцен [1].

Проходит пять лет со времени последнего высказывания Герцена о Кюстине, и книга французского путешественника уже не вызывает в нем прежних чувств. За этот период времени отстоялось первое, совершенно потрясшее Герцена впечатление от нее, поднятое ею чувство жгучей обиды за Россию улеглось, и Герцен дает более спокойную и трезвую характеристику Кюстина. В сочинении, озаглавленном «Россия» (1849), он признает в нем легкомыслие, способность к огромным преувеличениям, неумение отличить качества народа от характера правительства. Петербургские придворные впечатления были столь сильны, что они, по выражению Герцена, окрасили своим цветом все остальное, виденное Кюстином. Он не постарался ничего узнать о русском народе, «о литературном и ученом мире, об умственной жизни России». Его наблюдения ограничились лишь тем миром, который он удачно назвал «миром фасадов». «Он виноват, конечно, в том, что ничего не захотел увидеть позади этих фасадов»,— говорит Герцен. Величайшим заблуждением поэтому является утверждение Кюстина, что в России царский двор составляет все. Эти качества книги Кюстина не мешают, однако, оставаться ей, по мнению Герцена, столь же блестящей в той части, которая характеризует императора и его двор. Кюстин «совершенно прав по отношению к тому мирку, который он избрал центром своей деятельности», и «если он пренебрег двумя третями русской

---

[1] См.: *Герцен А. И.* Полн. собр. соч. и писем. Т. 3. С. 314—315.

жизни, то прекрасно понял ее последнюю треть и мастерски охарактеризовал ее...»[1]. Так в глазах Герцена книга Кюстина, несмотря на ее многочисленные ошибки, неточности и преувеличения в характеристике русского народа, оставалась все тем же незабываемым и неповторимым памфлетом против самодержавия.

Не могла пройти книга Кюстина мимо внимания и той части русской интеллигенции, которая находилась в лагере славянофилов. В «Москвитянине» за 1845 год в № 4 была помещена статья А. С. Хомякова «Мнение иностранцев о России», вызванная, по словам П. В. Анненкова, чтением книги Кюстина[2]. Хомяков считает, что иностранцы, пишущие о России, говорят обычно массу всякого вздора, пропитанного явной враждебностью по отношению к русским. Эта враждебность является результатом глубокого различия между Россией и Западной Европой в духовной и общественной жизни. Иностранцы не могут отказать России в самобытности, не могут не признать убеждающей силы этой самобытности, но проникнуться к ней уважением не хотят. Этому снисходительному презрению иностранцев к России часто способствуют и сами русские, раболепно преклоняющиеся перед Западом. В отношении русских к своей родине заключено много похвальной скромности, но когда скромность граничит с отречением, она превращается в порок. Иностранец, видя такое отношение русского человека к отечеству, перестает уважать его. Вся статья Хомякова — призыв к изучению своей родины, ее истории, языка, культуры. Только тогда, когда русский будет хорошо знать Россию, он сможет развить у себя чувство самоуважения и тем самым не давать повода иностранцам отзываться о России с презрением. Книга Кюстина задела самое больное место Хомякова: горькое сознание обиды за русских, предающих свою родину и являющихся виновниками появления книг, подобных «России в 1839 г.».

Много лет спустя после своего появления книга Кюстина продолжала еще волновать некоторую часть русской интеллигенции. Для тех ее представителей, которые стояли в рядах передовых русских деятелей, возникли новые задачи, грандиозность которых делала

---

[1] *Герцен А. И.* Полн. собр. соч. и писем. Т. 5. С. 338—340.

[2] См.: *Анненков П. В.* Воспоминания. Л., 1928. С. 392; *Хомяков А. С.* Полн. собр. соч. М., 1911. Т. 1. С. 3—28.

совершенно ненужным обращение к таким потускневшим от времени документам, какими были записки Кюстина. Для многих, однако, выпады Кюстина не утратили своего действенного значения и продолжали оскорблять их уязвленное национальное самолюбие. Так, в редакционном примечании «Русской старины» к статье «Великая княгиня Елена Павловна», принадлежащем, видимо, перу М. И. Семевского, находим такой бессильный отзыв о Кюстине: «Ознакомившись с нашим придворным бытом, выведав от людей, питавших к государю и его семейству тайную ненависть, всевозможные клеветы и сплетни о России и ее верховном вожде, Кюстин отплатил императору за его радушие и за хлеб за соль ядовито-желчным, переполненным лжи памфлетом...»[1] Такого же рода были замечания и Н. К. Шильдера по поводу напечатанных им отрывков из Кюстина[2].

Почти уже в наше время книга Кюстина снова привлекла к себе внимание русского общества. В 1910 году в издании «Русская быль» вышел сокращенный перевод «России в 1839 г.» под названием: «Николаевская эпоха. Воспоминания французского путешественника маркиза де Кюстина» (М., 1910). В этом переводе, принадлежащем В. Нечаеву (к сожалению, в нем многие интереснейшие отзывы и характеристики Кюстина не переведены, а пересказаны, видимо из цензурных соображений), имеется и оценка книги Кюстина. «Официальная Россия с императором Николаем во главе...— говорит В. Нечаев,— прочла откровенную и суровую оценку русского государственного и общественного быта...» Автор перевода признает в Кюстине несомненную добросовестность, тонко развитую наблюдательность, умение подмечать характерные стороны явлений, однако не может не указать на черту, «часто невыгодно отражающуюся на повествованиях французских путешественников,— наклонность к слишком поспешным обобщениям». Столь, по существу, правильная оценка книги Кюстина, написанная к тому же в очень спокойном тоне, показывает, как сильно притупило время остроту полемических приемов Кюстина, позволив отнестись к его книге с максимальной объективностью.

---

[1] Русская старина. 1882. № 3. С. 791.

[2] Отрывки эти напечатаны в «Русской старине» (1891. № 1. С. 145–184; № 2. С. 407–420; 1892. № 1. С. 109–120, 383–394).

Такова литературная судьба книги Кюстина. Ее история есть история императорской России. Бранью, клеветой, издевательством встретили ее защитники трона, и глубоко взволновала она тех, кто стоял в другом лагере. Время давно уже похоронило злобу и сочувствие тех и других. Книга превратилась в вполне исторический документ. Но ядовитая насмешка и негодующая взволнованность лукавого французского маркиза и до сих пор не утратили ни своей силы, ни своего впечатляющего действия.

Сергей Гессен,
Ан. Предтеченский



Без сомнения, это —
самая занимательная и умная книга,
написанная о России иностранцем.

Герцен 1843

Глава I

Встреча с русским наследником в Эмсе. — Подобострастие его придворных. — Резкий отзыв любекского трактирщика о России. - Пожар на море. На борту «Николая I». — Князь Козловский. Разговор с ним о России. — История графа Унгерн-Штернберга. Мрачное прошлое острова Даго.

Мое путешествие по России началось как будто уже в Эмсе. Здесь я встретил наследника, великого князя Александра Николаевича, прибывшего в сопровождении многочисленного двора в 10 или 12 каретах. Первое, что бросилось мне в глаза при взгляде на русских царедворцев во время исполнения ими своих обязанностей, было какое-то исключительное подобострастие и покорность. Они казались своего рода рабами, только из высшего сословия. Но едва лишь наследник удалялся, как они принимали независимый вид и делались надменными, что создавало резкий и малопривлекательный контраст с их обращением за минуту прежде. Впечатление было таково, что в свите царского наследника господствует дух лакейства, от которого знатные вельможи столь же мало свободны, как и их собственные слуги. Это не походило на обыкновенный дворцовый этикет, существующий при других дворах, где официальное чинопочитание, большее значение должности, нежели лица, ее занимающего, и роль, которую всем приходится играть, порождают скуку и вызывают подчас насмешливую улыбку. Нет, здесь было худшее: рабское мышление, не лишенное в то же время барской заносчи-

вости. Эта смесь самоуничижения и надменности показалась мне слишком малопривлекательной и не говорящей в пользу страны, которую я собрался посетить [1].

У великого князя приятные манеры, благородная без военной выправки поступь, весь облик его полон своеобразного изящества, присущего славянской расе. Это не живая страстность людей юга и не бесстрастная холодность обитателей севера, а смесь простоты, южной непринужденности и скандинавской меланхолии. Великий князь наполовину немец. В Мекленбурге, как и в некоторых местностях Голштинии и России, нередко встречаются славянские немцы. Лицо великого князя, несмотря на его молодость, не столь приятно, как его фигура. Самый цвет лица несвежий, свидетельствующий о каком-то внутреннем недуге. Сквозь наружный вид доброты, которую обыкновенно придают лицу молодость, красота и немецкая кровь, нельзя не признать в нем сильной скрытности, неприятной в столь молодом еще человеке.

Что касается до всего великокняжеского кортежа, то я был поражен недостатком изящества его экипажей, беспорядком багажа и неряшливостью слуг. Очевидно, недостаточно заказывать экипажи у лучших лондонских мастеров, чтобы достигнуть английского совершенства, обеспечивающего Англии в наш положительный век превосходство во всем и над всеми.

Из Эмса путь мой лежал через Любек. Едва я успел расположиться в одной из лучших любекских гостиниц, как в комнату ко мне вошел хозяин гостиницы, узнавший, что я отправляюсь в Россию. С чисто немецким добродушием он стал уговаривать меня отказаться от моего намерения.

— Разве вы так хорошо знаете Россию?— спросил я.

— Нет, но я знаю русских. Их много проезжает через Любек, и по физиономиям этих путешественников я сужу об их стране.

— Что же именно вы находите в выражении их лиц, долженствующего удержать меня от желания посетить их родину?

— Видите ли, у них два разных лица, когда они прибывают сюда, чтобы отправиться дальше в Европу, и когда они возвращаются оттуда, чтобы вернуться на свою родину. Приезжая из России, они веселы, радостны, довольны. Это — птицы, вырвавшиеся из клетки на свободу. Мужчины, женщины, старые и молодые счастливы,

как школьники на каникулах. И те же люди, возвращаясь в Россию, становятся мрачными, лица их вытянуты, разговор резок и отрывист, во всем видна озабоченность и тревога. Из этой-то разницы я и вывел заключение, что страна, которую с такой радостью покидают и в которую с такой неохотой возвращаются, не может быть приятной страной [2].

— Быть может, вы и правы,— возразил я,— но ваши наблюдения доказывают мне, что русские вовсе не столь скрытны, как это утверждают.

— Да, таковы они там, у себя, но нас, добрых немцев, они не остерегаются.

Отчаявшись переубедить меня, хозяин, добродушно улыбаясь, удалился, оставив меня под впечатлением своих слов, хотя и не заставив, конечно, изменить моего решения.

На следующий день карета моя и весь багаж были уже на борту «Николая I», русского парохода, «лучшего во всем мире», как хвастливо уверяют русские. Это самое судно в прошлом году на пути из Петербурга в Травемюнде наполовину сгорело, было затем заново реставрировано и теперь совершало лишь второй свой рейс. Узнав о пожаре на «Николае I», царь сместил его капитана, старого русского моряка, и назначил нового — голландца [3]. Последний, как говорили, не пользовался авторитетом среди экипажа: иностранцы всегда сбывают России лишь тех, кого не хотят иметь у себя. Все это не предвещало ничего утешительного, но я решил ехать и положился во всем на волю божью.

Уже перед самым отходом парохода я увидел на палубе пожилого, очень полного, с трудом державшегося на своих колоссально распухших ногах господина, напоминавшего лицом, фигурой, всем своим обликом Людовика XVI. Это был русский вельможа, князь К., происходивший от потомков Рюрика, принадлежавший к старинному дворянскому роду [4]. Едва почтенный старец, продолжая разговор со своим собеседником, уселся в кресло, как он обратился ко мне, назвав меня по имени. Я был поражен, но князь К. поспешил объяснить, что он давно слышал обо мне.

— Вы объездили почти всю Европу,— добавил он,— и, наверное, будете одного мнения со мной.

— О чем именно?

— О том, что в Англии нет подлинной родовой аристократии: там существуют лишь титулы и чины.

Я согласился с ним, и наша беседа завязалась. Мы долго говорили обо всех выдающихся событиях и людях нашего времени. Я узнал много новых политических анекдотов, услышал много тонких суждений, метких характеристик, и никогда, казалось мне, часы не протекали так быстро, как в беседе с князем. Хотя я более слушал, отвечая моему собеседнику довольно сдержанно, старый дипломат все же сразу узнал мой образ мыслей.

— Нет,— сказал он,— вы не являетесь сыном ни своей родины, ни своего времени. Вы презираете слово как орудие политики.

— Вы правы, всякое другое средство раскрыть сущность человека я предпочитаю публичному слову, особенно в такой стране, как моя родина, где процветает пустое честолюбие. Я не верю, чтобы во Франции нашлось много людей, которые не пожертвовали бы своими взглядами и убеждениями ради возможности произнести блестящую речь.

— И все же,— возразил русский либерал,— в слове заключается все, весь человек и даже нечто высшее: слово божественно.

— Я того же мнения, и именно потому я не хочу видеть его проституированным.

— Но ведь людьми можно управлять только либо страхом, либо убеждением,— сказал князь.

— Я согласен, но действия гораздо сильнее убеждают, нежели слова. Вспомните Наполеона, под владычеством которого свершилось великое. Только вначале он управлял и силой, и убеждением, да и то свое красноречие проявлял лишь перед немногими. С народом он говорил всегда языком своих дел. Публичная дискуссия о новом законе сразу лишает его того уважения масс, в котором только и заключается сила закона.

— Но вы положительно тиран.

— Напротив, я лишь боюсь адвокатов и служащих для них эхом газет. Звонкие речи и слова звучат, правда, не долее суток, но они действительно являются тиранами, которые нам сегодня угрожают.

— По приезде в Россию вы научитесь бояться другого.

— Едва ли, князь, вы, именно вы, можете создать во мне дурное представление о России.

— Не судите о ней по мне или другим русским, которых вы встречаете за границей,— возразил К.—

С нашей гибкой натурой мы становимся космополитами, как только покидаем нашу родину, и это одно уже является сатирой на наш образ правления.

Несмотря на привычку говорить обо всем совершенно свободно, князь все же умолк, как бы опасаясь меня и главным образом — других пассажиров, находившихся неподалеку от нас. Позднее, воспользовавшись моментом, когда мы были одни, князь снова вернулся к данному вопросу и подробнее развил свои взгляды на характер людей и учреждений своей родины.

— В России со времени нашествия татар прошло едва четыре столетия, тогда как Западная Европа пережила этот кризис уже четырнадцать столетий назад. На тысячу лет старейшая цивилизация создает непроходимую пропасть между правами и обычаями наций. Беспощадный деспотизм, царящий у нас, возник в то время, когда во всей остальной Европе крепостное право было уже уничтожено. Со времени монгольского нашествия славяне, бывшие прежде самым свободным народом в мире, сделались рабами сперва своих победителей, а затем своих князей. Крепостное право возникло тогда не только фактически, но и в силу государственных законов. Оно настолько унизило человеческое слово, что последнее превратилось в ловушку. Правительство в России живет только ложью, ибо и тиран, и раб страшатся правды. Наши автократы познали когда-то силу тирании на своем собственном опыте. Русские князья, принужденные для собирания подати угнетать свой народ, часто сами уводились в рабство татарами. Они властвовали только до тех пор, пока являлись ревностными орудиями татарских ханов для угнетения народа и выколачивания из него последних крох. Они хорошо изучили силу деспотизма путем собственного рабства. И все это происходило, заметьте, в то время, когда в Западной Европе короли и их вассалы соперничали между собой в деле освобождения своих народов. Поляки и сейчас находятся по отношению к русским в том положении, в каком русские находились по отношению к монголам. Кто сам носил ярмо, не всегда склонен сделать его легким для тех, на кого он это ярмо налагает. Князья и народы часто срывают злобу за свои унижения и мстят неповинным. Они считают себя сильными, потому что могут других превращать в жертву...

— Князь,— возразил я, выслушав внимательно этот длинный ряд выводов и заключений,— я не верю вам.

Ваш блестящий ум ставит вас выше национальных предрассудков и заставляет в такой форме оказывать внимание иностранцу у себя на родине. Но я так же мало доверяю вашему самоунижению, как и чрезмерной хвастливости других.

— Через три месяца вы вспомните, что я был прав. А до тех пор, и пока мы одни, я хочу обратить ваше внимание на самое главное. Я дам вам ключ к разгадке страны, в которую вы теперь направляетесь. Думайте о каждом шаге, когда будете среди этого азиатского народа. Помните, что русские лишены влияний рыцарства и католицизма.

— Вы заставляете меня, князь, гордиться моею проницательностью. Лишь недавно я писал моему другу, что религиозная нетерпимость является главным тайным рычагом русской политики.

— Вы точно предугадали то, что скоро вам предстоит увидеть. Но все же вы не сможете составить себе верного представления о глубокой нетерпимости русских, потому что те из них, которые обладают просвещенным умом и состоят в деловых сношениях с Западом, прилагают все усилия к тому, чтобы скрыть господствующую у них идею — торжество греческой ортодоксии, являющейся для них синонимом русской политики. Не думайте, например, что угнетение Польши является проявлением личного чувства императора. Это — результат глубокого и холодного расчета. Все акты жестокости в отношении Польши являются в глазах истинно верующих великой заслугой русского монарха. Святой дух вдохновляет его, возвышая душу над всеми человеческими чувствами, и сам бог благословляет исполнителя своих высоких предначертаний. При подобных взглядах судьи и палачи тем святее, чем большими варварами они являются...

Этот разговор дает представление о характере долгих бесед, которые мы вели с князем К. во все время нашего пребывания на борту «Николая I».

На следующий день по выходе из Травемюнде, когда все пассажиры после обеда собрались на палубе, послышался какой-то необыкновенный шум в машинном отделении и пароход внезапно остановился. Мы находились в открытом море, к счастью, в то время совершенно спокойном. Наступило глубокое, полное тревоги молчание. Все были поглощены печальными воспоминаниями о недавней катастрофе, и наиболее суеверные про-

являли сильнейшее беспокойство. Но вскоре пришел капитан и рассеял наши опасения: в машине сломался какой-то винт, который будет заменен новым, и через четверть часа мы двинемся снова в путь.

Поздно вечером, перед тем как разойтись по своим каютам, мы увидели мрачные очертания острова Даго.

— Здесь недавно, во времена Павла I, произошел потрясающий случай,— сказал князь К., обращаясь к собравшимся вокруг него пассажирам.

— Расскажите, пожалуйста.

— Один из просвещеннейших людей своего времени, барон Унгерн фон Штернберг, объездивший всю Европу, вернулся при Павле обратно в Россию. Вскоре без всякой причины он впал в немилость и должен был удалиться в изгнание. Он заперся на принадлежавшем ему острове Даго и поклялся в смертной ненависти ко всему человечеству, чтобы отомстить императору, воплощавшему в его глазах весь род людской.

На своем уединенном острове барон вдруг проявил горячую любовь к научным занятиям. Для того, как он говорил, чтобы посвятить себя всецело работе, которой ничто не могло бы мешать, он соорудил высокую башню, стены которой видны с парохода в бинокль. Он назвал ее своей библиотекой и устроил наверху башни фонарь, со всех сторон застекленный, как бельведер, обсерватория или, вернее, светящийся маяк. Здесь, говорил барон, и то лишь по ночам, в абсолютной тишине, он может работать. Доступ в эту библиотеку имели только маленький его сын и гувернер последнего. В полночь, когда барон знал, что оба они спят, он запирался в своей библиотеке и зажигал ярко горящий фонарь, издали похожий на сигнал. Этот обманчивый маяк должен был вводить в заблуждение чужие суда, проходившие мимо острова, что и было конечною целью коварного барона. Предательский маяк, воздвигнутый на скале среди бушующего моря, привлекал к себе капитанов, плохо знакомых с местными берегами, и несчастные, обманутые фальшивой надеждой на спасение, находили здесь смерть. Когда судно бывало уже близко к гибели, барон спускался к берегу, садился в лодку с несколькими ловкими и опытными людьми, которых он специально держал для своих ночных предприятий, и перевозил на берег спасшихся от кораблекрушения. Здесь под покровом темноты барон убивал их и затем при помощи своих слуг грабил погибающий

корабль. Все это он делал не столько из корысти, сколько из любви ко злу, из неутолимой страсти к разрушению.

Но однажды гувернер случайно проник в страшную тайну. Он лежал больной в своей комнате, по соседству с залой, в которой барон расправлялся с последними пленниками. Гувернер все слышал и видел. Он давно уже подозревал недоброе и при первых же звуках голосов приник ухом к дверной скважине, чтобы быть свидетелем злодеяний барона. Когда кровавое дело было кончено и в замке снова наступила зловещая тишина, гувернер, услышав шаги, бросился в свою кровать и притворился спящим. В комнату вошел барон и, с окровавленным кинжалом в руке, наклонился над воспитателем своего сына, долго и внимательно вглядываясь в его лицо и прислушиваясь к его дыханию. Убедившись, что он спит, барон решил оставить его в живых. Как видите, совершенство в преступлении встречается столь же редко, как и во всем другом. Едва гувернер остался один, он поспешно, невзирая на жар и озноб, оделся, по веревке спустился из окна на берег, отвязал стоявшую у замкового вала лодку и поспешил на материк, где в ближайшем городе заявил о злодействе барона. В замке заметили отсутствие гувернера, и вначале барон подумал, что тот, в припадке горячки, выбросился из окна. Но веревка и пропавшая лодка навели вскоре его на подозрения.

Замок был окружен со всех сторон войсками, прежде чем барон успел принять меры предосторожности. Он хотел обороняться, но слуги изменили ему. Барон был схвачен, доставлен в Петербург и осужден императором Павлом на вечные каторжные работы в Сибири, где и умер [5].

Таков был печальный конец человека, который благодаря своему просвещенному уму и благородному обращению еще недавно вращался в лучшем обществе Европы и играл там заметную роль.

Это романтическое приключение напоминает нам средневековье, но, как видите, то, что могло иметь место в Европе лишь в средние века, в России случается еще почти в наши дни. Россия во всем отстала от Запада на четыре столетия.





Глава II

Приближение к Кронштадту. — «Русский флот — игрушка императора». — Петербургская природа. — Остров Котлин и Кронштадтская крепость. — Современные галеры. — Таможенники и шпионы досаждают путешественникам.

«Николай I» приближался к Кронштадту. Пустынный Финский залив начал понемногу оживляться: внушительные с виду морские суда императорского флота бороздили его воды в разных направлениях. Этот флот вынужден большую часть года оставаться замороженным в порту и лишь в течение трех летних месяцев, как я узнал, суда отправляются на маневры с кадетами морского корпуса и курсируют между Кронштадтом и Балтийским морем. Море с его блеклыми красками, с мало посещаемыми водами возвещает приближение к слабонаселенному благодаря суровости своего климата континенту. Пустынные берега его в полной мере гармонируют с самим морем, пустым и холодным. Унылая природа, скупое, не греющее солнце, серая окраска воды — все это нагоняет тоску и уныние на путешественника. Еще не коснувшись этого малопривлекательного берега, хочется уже от него удалиться. Невольно приходят на память слова одного из фаворитов Екатерины II, сказанные им по поводу ее жалоб на дурное влияние климата на ее здоровье. «Не вина милостивого господа, государыня, если люди из слепого упорства строят столицу великой империи на земле, предназначенной природой служить логовищем для волков и медведей».

Мои спутники не раз с гордостью указывали мне на недавние успехи русского флота. Я удивляюсь этим успехам, но оцениваю их совершенно иначе, чем мои русские товарищи по путешествию. Русский флот — это создание, или, вернее, развлечение императора Николая.

Этот монарх забавляется осуществлением главной идеи Петра I, но, как бы ни был могуществен человек, рано или поздно он должен будет признать, что природа сильнее всех человеческих усилий. Пока Россия не выйдет из своих естественных границ, русский флот будет лишь игрушкой царей, и ничем более. Лорд Дюргам со всей откровенностью высказал это лично Николаю I, поразив его этим в самое чувствительное место его властолюбивого сердца: «Русские военные корабли — игрушка русского императора». На меня вид русских морских сил, которые были объединены здесь, вблизи столицы, исключительно для развлечения царя, для хвастовства его придворных льстецов и для обучения его кадетов, произвел удручающее впечатление. Я чувствовал в этих школьных упражнениях флота лишь ложно направленную железную волю, которая угнетает людей, так как она не может покорить окружающую природу. Корабли, которые в течение нескольких зим неминуемо должны погибнуть, не принеся никакой пользы своей стране, олицетворяют в моих глазах не мощь великого государства, а лишь напрасно пролитый пот несчастного народа. Более чем на полгода замерзающее море — величайший враг военного флота. Каждую осень после трехмесячных упражнений школьник возвращается в свою клетку, игрушка прячется в коробку, и лишь ледяной покров моря ведет серьезную войну с царскими финансами...[6]

Нет ничего печальнее, чем природа окрестностей Петербурга. По мере того как углубляешься в залив, все более суживается болотистая Ингерманландия и заканчивается тонкой, едва заметной чертой. Эта черта — Россия, сырая, плоская равнина с кое-где растущими жалкими, чахлыми березами. Дикий, пустынный пейзаж, без единой возвышенности, без красок, без границ и в то же время без всякого величия освещен так скупо, что его едва можно различить. Здесь серая земля вполне достойна бледного солнца, которое ее освещает. В России ночи поражают своим почти дневным светом, зато дни угнетают своей мрачностью.

Кронштадт, украшенный лесом мачт, фортами и гранитными валами, достойно прерывает монотонные настроения путешественника, который, подобно мне, ищет красок на этой неблагодарной земле. Нигде вблизи больших городов я не видел ничего столь безотрадного, как берега Невы. Окрестности Рима пустынны, но сколько живописных уголков, сколько воспоминаний, света, огня, поэзии,

я сказал бы даже, страсти оживляют эту историческую землю. Перед Петербургом же водная пустыня, окруженная пустыней торфяной. Море, берега, небо — все слилось; это — зеркало, но тусклое, матовое, как будто лишенное фольги и ничего не отражающее.

Такова местность, окружающая Петербург. Неужели эта убогая природа, лишенная красоты, лишенная элементарных удобств для удовлетворения потребностей великого народа, пронеслась в уме Петра Великого при выборе им места для столицы, не поразив его, не остановив от этого шага? Море во что бы то ни стало — вот единственное, что им руководило. Странная идея для русского — основать столицу славянской империи среди финнов и насупротив шведов. Напрасно Петр говорил, что он хотел только дать России выход в море. Если бы он действительно был гением, как о нем говорят, он должен был бы понять все отрицательные стороны своего выбора, и лично я не сомневаюсь, что он это сознавал. Но политика и, я думаю, скорее болезненное самолюбие царя, уязвленное независимостью старых московитов, предопределили судьбы новой России. Она напоминает теперь человека, полного сил, но задыхающегося от их избытка. У нее нет выхода для своих богатств. Петр I обещал России такой выход; он открыл для нее Финский залив, не понимая, однако, что море, по необходимости закрытое восемь месяцев в году, не может считаться настоящим морем. Но для русских название, ярлык — это все. Усилия Петра, его подданных и преемников, сколь бы ни были они достойны удивления, создали в результате лишь город, в котором очень тяжело жить, у которого при малейшем порыве ветра со стороны залива Нева оспаривает каждую пядь земли и из которого все стремятся бежать к югу, хоть на один шаг, который позволено им будет сделать. Для бивуака же гранитные набережные излишни.

Кронштадт расположен на низком острове Котлине, среди Финского залива. Эта морская крепость возвышается над водой лишь настолько, сколько требуется для защиты подступов к Петербургу от вторжения вражеских судов. Артиллерийские орудия, которыми крепость снабжена, расположены, как говорят русские, с большим искусством. При залпе каждый снаряд попадает в определенную точку и все море взрывается, как поле плугом и бороной. Благодаря этому ураганному огню, который по приказу царя может в любую минуту обрушиться на

неприятеля, подступы к Петербургу становятся вполне защищенными. Я не знаю только, могут ли орудия закрыть доступ по обоим фарватерам залива. Мои русские спутники, которые могли бы это разъяснить, от толкового ответа, видимо, уклонялись. Мой же, хотя и недавний, опыт научил уже меня не слишком доверять тем преувеличенным восхвалениям, на которые русские, в непомерном усердии на службе своему властителю, обычно так щедры. Национальная гордость может быть понятна лишь у свободного народа. Когда же она проявляется исключительно в силу рабской лести, она становится нетерпимой. Все это славословие кажется мне продиктованным одним только страхом, и вся надменность, проявлявшаяся во время нашего путешествия моими русскими спутниками, свидетельствует лишь о низком уровне их душевных свойств. Это впечатление настраивает меня по отношению к ним не очень дружелюбно.

Во Франции, как и здесь, на пароходе, я встречал всегда лишь два типа русских людей: одних, которые из суетного тщеславия безмерно восхваляют свою родину, и других, которые из желания казаться более культурными и цивилизованными, как только речь заходит о России, выказывают к ней либо глубокое презрение, либо полное равнодушие. До сих пор я не позволял ни тем, ни другим обмануть меня. Но я хотел бы найти и третий тип русских — простых, искренних людей, и их-то и буду в России разыскивать.

Мы пришли в Кронштадт в $12^1/_2$ часа ночи или, вернее, на рассвете одного из тех дней без начала и конца, которые я не в состоянии описать, но которыми я не перестаю восторгаться. Пароход остановился против заснувшей крепости, и мы должны были долго ждать, пока пробудилась целая орда чиновников, которые друг за другом стали затем к нам прибывать. Появились полицейские комиссары, директора и вице-директора таможни и, наконец, сам начальник таможни. Этот важный господин счел, очевидно, своим долгом сделать нам личный визит исключительно ради высокопоставленных русских пассажиров, которые находились на борту нашего «Николая I». Он вступил в оживленную беседу с князьями и княгинями, возвращавшимися из-за границы в Петербург. Разговор велся на русском языке, так как речь, очевидно, шла о политике Западной Европы. Когда же разговор коснулся трудностей пересадки и необходимости покинуть наш корабль, чтобы пересесть на другой, мень-

ший пароход, важные собеседники снова заговорили по-французски.

Пакетбот «Николай I» сидел слишком глубоко и не мог пройти вверх по Неве. Он оставался поэтому в Кронштадте с нашим багажом, тогда как все пассажиры должны были быть доставлены в Петербург на другом, маленьком, грязном и плохо оборудованном пароходике. Мы получили разрешение взять с собой лишь ручной багаж и небольшие чемоданы, которые в Кронштадте были запломбированы таможенными чиновниками. Когда эта операция была окончена, мы отправились с надеждой увидеть наш багаж в Петербурге через два дня. А пока он оставался под охраной... господа бога и таможенных надсмотрщиков. Русские князья, подобно мне, простому путешественнику, должны были подвергнуться всем формальностям таможенного досмотра, и это равенство положений мне сначала понравилось. Но, прибыв в Петербург, я увидел, что они были свободны через три минуты, тогда как я три часа должен был бороться против всевозможных придирок таможенных церберов. На минуту почудившееся мне отсутствие привилегий на почве, взращенной деспотизмом, также мгновенно исчезло, и это сознание повергло меня в уныние.

Обилие ничтожных, совершенно излишних мер предосторожности при таможенном досмотре делает необходимым наличие бесконечного множества всякого рода чиновников. Каждый из них выполняет свою работу с такой педантичностью, ригоризмом и надменностью, которые имеют одну лишь цель — придать известную важность даже самому маленькому чиновнику. Он не позволяет себе проронить лишнее слово, но ясно чувствуется, что он полон сознания своего величия. «Уважение ко мне! Я часть великой государственной машины». А между тем эти частицы государственного механизма, слепо выполняющие чужую волю, подобны всего лишь часовым колесикам — в России же они называются людьми. Меня положительно охватывала дрожь, когда я смотрел на эти автоматы: столько противоестественного в человеке, превращенном в бездушную машину. Если в странах, где встречается обилие машин, даже дерево и металл кажутся одушевленными, то под гнетом деспотизма, наоборот, люди кажутся созданными из дерева. Невольно спрашиваешь себя, что им делать с совершенно излишним для них разумом, и сразу чувствуешь себя подавленным, когда подумаешь, сколько надо силы и насилия,

чтобы превратить живых людей в неодушевленные автоматы. В России я чувствовал сострадание к людям, как в Англии остерегался машин. Там этим созданиям рук человеческих недоставало лишь слова, тогда как здесь оно было совершенно излишним для живых машин, созданных государством.

Эти одушевленные машины были, однако, исключительно, до приторности, вежливы. Видно было, что они с колыбели приучались к учтивости, как воин с детства приучается к ношению оружия. Но какую цену могут иметь эти проявления изысканной вежливости, когда они выполняются лишь по приказу, из рабского страха пред своим начальством!

Вид всей этой массы шпионов, с таким усердием допрашивавших нас, довел меня до нервной зевоты, которая легко могла перейти в слезы — не над собой, а над несчастным народом. Столько мельчайших предосторожностей, которые считались здесь, очевидно, необходимыми и которые нигде более не встречались, ясно свидетельствовали о том, что мы вступаем в империю, объятую одним лишь чувством страха, а страх ведь неразрывно связан с печалью. И я из учтивости, чтобы разделить общее настроение, испытывал одновременно и страх, и унылую скуку. Еще в Кронштадте меня пригласили сойти в большой зал нашего парохода, где я должен был предстать перед ареопагом чиновников, допрашивавших пассажиров. Все члены этого трибунала, более грозного, чем импозантного, сидели за большим столом и с исключительным вниманием перелистывали лежавшие перед ними реестры. Казалось, что они поглощены выполнением какого-то серьезного секретного поручения, хотя занимаемые ими должности отнюдь не соответствовали их напускной важности. Одни из них, с пером в руке, выслушивали ответы пассажиров или, вернее, обвиняемых, так как, очевидно, всякий иностранец, прибывший на русскую границу, трактуется заранее как преступник. Другие передавали громким голосом эти ответы писцам, причем ответы наши переводились с французского на немецкий и с немецкого на русский язык и уже на последнем заносились, быть может достаточно произвольно, писцами в журнал. Заносились имена, прописанные в наших паспортах, все даты, визы, причем все это подвергалось самому тщательному исследованию и проверке. Но вместе с тем измученные этой моральной пыткой пассажиры допрашивались с фальшивой любезностью, и каждая фраза

таможенных судей имела как бы целью утешить несчастных, сидящих перед ними на скамье подсудимых.

В результате долгого допроса, которому я подвергся наряду с другими пассажирами, у меня был отнят мой паспорт, взамен чего я должен был расписаться на каком-то бланке, по которому, как мне сказали, я смогу получить свой паспорт в Петербурге. Казалось, что все полицейские формальности были закончены; все пассажиры и чемоданы были уже на другом пароходе, четыре часа мы томились перед Кронштадтом, и все же об отбытии пока ничего не было слышно.

Каждую минуту из города отчаливали новые черные лодки и медленно приближались к нам. Хотя мы были вблизи городских стен, вокруг царила мертвая тишина. Ни один голос не доносился из этой гробницы, и тени, скользившие на лодках вокруг нас, были немы, как камни, которые они только что покинули. Все это производило впечатление какой-то похоронной процессии: ждали лишь будто гроба с мертвецом. Люди, которые подплывали на этих мрачных и грязных гребных суденышках, были одеты в грубые куртки из серой шерсти, и зеленовато-желтые лица их были лишены почти всякого выражения. Это были, как мне потом сказали, матросы кронштадтского гарнизона.

День давно уже наступил, хотя он не принес нам более света, чем утренняя заря. Воздух был душен, и солнце, еще невысоко поднявшееся над морем, отражалось в воде и как-то утомляло зрение. Большая часть лодок кружилась вокруг нас, не доставляя никого на борт нашего корабля. Иногда же шесть или двенадцать гребцов в лохмотьях, наполовину прикрытых овечьими тулупами, привозили нам еще одного полицейского агента, гарнизонного офицера или таможенного надсмотрщика, и это беспрерывное хождение взад и вперед все новых лиц, которое нисколько не ускоряло дела, оставляло мне достаточно времени, чтобы отметить какую-то особенную нечистоплотность северян. Южане проводят свою жизнь полунагими на воздухе или в воде; на севере же люди всегда остаются взаперти и производят своей исключительной нечистоплотностью несравненно более отталкивающее впечатление, чем народы юга, живущие под открытым небом и жгучим солнцем, своей неряшливостью.

Скука, на которую обрекли меня все эти ничтожные мелочи таможенной формалистики, дала мне возможность сделать еще одно наблюдение: русские вельможи очень

неохотно мирятся со всеми неудобствами общественного порядка в России, когда эти неудобства касаются их лично. «Россия — страна совершенно бесполезных формальностей»,— шептали они друг другу, и притом по-французски, из боязни быть услышанными кишевшими вокруг чиновниками. Я надолго запомнил это замечание, в справедливости которого и сам не раз уже мог убедиться. Но после всего, что я за время моего путешествия видел и слышал от моих русских спутников, я вообще думаю, что книга под заглавием «Русские в оценке самих же русских» была бы для них очень сурова и безжалостна. Любовь к своей родине для русских — лишь средство льстить своему властелину. Как только они убеждены, что их господин и повелитель не может их услышать, они говорят обо всем с исключительной откровенностью, которая тем ужаснее, что она крайне опасна для выслушивающих их излияния.

Наконец-то узнали мы причину нашей столь длительной задержки: на пароходе появился начальник над начальниками, главный из главных, директор над директорами русской таможни. Это, оказывается, был последний визит, которого мы, не подозревая того, так бесконечно долго ждали. Важный чиновник прибыл не в форменном мундире, а во фраке, как светский человек, роль которого сначала он и принялся разыгрывать. Он всячески старался быть приятным и любезным с русскими дамами. Он напомнил княгине N об их встрече в одном аристократическом доме, в котором та никогда не бывала; он говорил ей о придворных балах, на которых она его никогда не видела. Короче, он разыгрывал с нами, и особенно со мной, глупейшую комедию, ибо я никак не мог понять, как это возможно выдавать себя за нечто более важное в стране, где вся жизнь строго регламентирована, где чин каждого начертан на его головном уборе или эполетах. Но человек, очевидно, остается одним и тем же повсюду. Наш салонный кавалер, не покидая манер светского человека, вскоре принялся, однако, за дело. Он элегантно отложил в сторону какой-то шелковый зонтик, затем чемодан, несессер и возобновил с неизменным хладнокровием исследование наших вещей, только что так тщательно проделанное его подчиненными. Этот, казалось, главный тюремщик империи производил обыск всего судна с исключительной тщательностью и вниманием. Обыск длился бесконечно долго, и светский разговор, которым неизменно сопровождал свою отвра-

тительную работу насквозь пропитанный мускусом таможенный цербер, еще усугублял производимое им гнусное впечатление. Но наконец мы были освобождены и от всех церемоний таможенных чиновников, и от вежливости полиции, и от приветствий военных чинов, и от ужасающего вида невероятной нищеты, которая уродует род человеческий и которая здесь воплощалась в матросах русской таможни, казавшихся по всему своему облику людьми какой-то особой, чуждой нам расы. Так как я ничем не мог им помочь, то присутствие их становилось для меня невыносимым, и каждый раз, как эти несчастные доставляли на борт корабля кого-либо из чинов таможни или морской полиции — наиболее жестокой полиции русской империи, я отводил свои глаза в сторону. Эти матросы, жалкие, истощенные, в грязных отрепьях, позорили свою родину. Как каторжники на галерах, они обречены были всю жизнь доставлять чиновников и офицеров из Кронштадта на борт иностранных пароходов. При виде их измученных лиц и при мысли, что в беспрерывной каторжной работе весь смысл и назначение их жизни, я невольно спрашивал себя, чем так жестоко провинился человек перед господом богом, что 60 миллионов ему подобных обречены на жизнь в России?

Когда пароход тронулся в путь, я подошел к князю К.

— Вы — русский,— сказал я,— неужели же вы так мало любите свою родину, что не скажете министру внутренних дел или тому, кому подчинена полиция, как необходимо все это изменить! Пусть он хоть раз переоденется иностранцем, совершенно не внушающим, подобно мне, подозрений, и приедет в Кронштадт, чтобы своими глазами убедиться в том, что значит приехать в Россию.





Глава III

Общий вид Петербурга с Невы. — Последний обыск и допрос. — Ловкость полицейских ищеек. - Путаница с багажом. — Немецкий гид. — Медный всадник. Постройка Зимнего дворца. — Тысячи жертв высочайшей затеи. Кюстин вспоминает Герберштейна. — Московское царство и николаевская Россия.

Тонкая черта земли, которую еще издали замечаешь между небом и морем, начинает в некоторых пунктах изгибаться слегка вверх; это — здания новой русской столицы. По мере приближения постепенно вырисовываются позолоченные купола церквей, памятники, здания правительственных учреждений, фронтон биржи, белые колоннады школьных зданий, музеи, казармы и дворцы, расположенные на гранитной набережной. Когда же входишь в самый город, то прежде всего бросаются в глаза гранитные сфинксы, производящие внушительное впечатление [7]. Эти копии античной скульптуры как произведения искусства сами по себе не имеют большой цены, но общий вид города дворцов отсюда положительно величествен. И все же подражание классической архитектуре, отчетливо заметное в новых зданиях, просто шокирует, когда вспомнишь, под какое небо так неблагоразумно перенесены эти слепки античного творчества. Но вскоре внимание останавливает обилие и внешний вид соборов, колоколен, металлических шпилей церквей, которые теснятся со всех сторон. Здесь по крайней мере заметен свой национальный стиль. Русские церкви сохранили свою первобытную оригинальность. Конечно, не русские изобрели этот грузный своеобразный стиль, который называется византийским. Последователи греческой церкви, они по своему характеру, своим верованиям, воспитанию, историческому прошлому невольно чуждаются римско-католической культуры, но во всяком случае они

должны были бы искать образцы для своих сооружений не в Афинах, а в Константинополе.

При взгляде с Невы набережные Петербурга очень величественны и красивы. Но стоит только ступить на землю, и сразу убеждаешься, что набережные эти вымощены плохим, неровным булыжником, столь неказистым на вид и столь неудобным как для пешеходов, так и для езды. Впрочем, здесь любят все показное, все, что блестит: золоченые шпили соборов, которые тонки, как громоотводы; портики, фундаменты коих почти исчезают под водой; площади, украшенные колоннами, которые теряются среди окружающих их пустынных пространств; античные статуи, своим обликом, стилем, одеянием так резко контрастирующие с особенностями почвы, окраской неба, суровым климатом, с внешностью, одеждой и образом жизни людей, что кажутся героями, взятыми в плен далекими, чуждыми врагами. Величественные храмы языческих богов, которые своими горизонтальными линиями и строгими очертаниями так удивительно венчают предгорья ионических берегов, тут, в Петербурге, походят на груды гипса и извести. Природа требовала здесь от людей как раз обратное тому, что они создавали. Вместо подражания языческим храмам они должны были бы сооружать здания со смелыми очертаниями, с вертикальными линиями, чтобы прорезать туман полярного неба и нарушить однообразие влажных, сероватых степей, опоясывающих Петербург.

Но как ни раздражает это глупое подражание, портящее общий вид Петербурга, все же нельзя смотреть без некоторого удивления на этот город, выросший из моря по приказу одного человека и для своей защиты ведущий упорную борьбу с постоянными наводнениями. Это — результат огромной силы воли, и если ею не восхищаешься, то, во всяком случае, ее боишься, а это почти то же, что и уважать.

Наш кронштадтский пароход бросил якорь у самого города, перед гранитной Английской набережной, расположенной против здания главной таможни, вблизи знаменитой площади, где высится на скале статуя Петра Великого. Бросив якорь, мы вновь простояли здесь очень долго и вот по какой причине. Мне не хотелось бы опять говорить о новых испытаниях, которым я подвергся под предлогом выполнения простых формальностей полицией и ее верной союзницей — таможней. Но все же необходимо дать представление о тех безмерных труд-

ностях, которые ожидают иностранца на морской границе России: говорят, что въезд с сухопутной границы значительно легче.

Три дня в году солнце в Петербурге невыносимо, и вчера, точно в честь моего приезда, был один из таких дней. Началось с того, что нас — конечно, иностранцев, а не русских — продержали более часа на палубе без тента на самом солнцепеке. Было всего 8 часов утра, но день наступил уже с часу ночи. Говорили, что температура достигала 30 градусов по Реомюру, и не следует забывать, что на севере жара переносится гораздо труднее, чем в южных странах, так как воздух здесь тяжелее и небо часто покрыто облаками. Затем мы снова должны были предстать пред новым трибуналом, который, как и в Кронштадте, заседал в кают-компании. И вновь начались те же вопросы, которые предлагались с той же вежливостью, и мои ответы, которые переводились на русский язык с теми же формальностями.

— Что, собственно, вы желаете делать в России?

— Ознакомиться со страной.

— Но это не повод для путешествия.

— У меня, однако, нет другого.

— С кем думаете вы увидеться в Петербурге?

— Со всеми, кто разрешит мне с ними познакомиться.

— Сколько времени вы рассчитываете пробыть в России?

— Не знаю.

— Но приблизительно?

— Несколько месяцев.

— Быть может, у вас какое-нибудь дипломатическое поручение?

— Нет.

— Может быть, секретное?

— Нет.

— Какая-нибудь научная цель?

— Нет.

— Не посланы ли вы вашим правительством изучать наш социальный и политический строй?

— Нет.

— Нет ли у вас какого-нибудь торгового поручения?

— Нет.

— Значит, вы путешествуете исключительно из одной лишь любознательности?

— Да.

— Но почему вы направились для этого именно в Россию?

— Не знаю...

— Имеете ли вы рекомендательные письма к кому-либо?

Меня заранее предупредили о нежелательности слишком откровенного ответа на этот вопрос, и я упомянул лишь о моем банкире.

При выходе из этого суда присяжных я увидел пред собой многих из моих «соучастников». Этих иностранцев, по поводу каких-то мнимых неправильностей в их паспортах, подвергли новому ряду испытаний. Ищейки русской полиции обладают исключительным нюхом и в соответствии с личностью каждого пассажира они исследуют их паспорта с той или иной строгостью. Вообще, как я и ожидал, с прибывшими иностранцами обходились далеко не одинаковым образом. Какой-то итальянский коммерсант, шедший передо мною, был безжалостно обыскан. Он должен был открыть свой бумажник, обшарили все его платье снаружи и внутри, не оставили без внимания даже белье. И я подумал, что если и со мной так поступят, значит, меня считают очень подозрительным. Карманы у меня были полны всевозможных рекомендательных писем, полученных в Париже, в том числе от самого русского посла и от других столь же известных лиц, но они были запечатаны, и это обстоятельство побудило меня не держать их в дорожном несессере. Я наглухо застегнул свой сюртук, когда увидел, что полицейские сыщики ко мне приближаются, но они разрешили мне пройти, не подвергнув обыску. Зато когда мне пришлось снова открыть свои чемоданы пред таможенными чиновниками, эти новые враги с исключительным усердием, хотя и с той же неизменной вежливостью, стали рыться в моих вещах, и особенно книгах. Последние были отняты у меня почти все без исключения. На мои протесты и возражения не обращалось ни малейшего внимания. Помимо книг у меня отняли две пары дорожных пистолетов и старинные карманные часы. Напрасно я просил объяснить мне причину хоть этой конфискации; меня успокаивали лишь обещанием, что все мои вещи будут мне позже возвращены, конечно не без новых долгих и томительных проволочек. Невольно пришлось мне мысленно повторять слова моих знатных спутников: «Россия — страна бессмысленных формальностей».

Но вот уж более суток, как я в Петербурге, и все

еще не могу освободиться из таможни. А в довершение всех бед мой багаж, ушедший из Кронштадта днем раньше, чем было обещано, оказался адресованным не на мое имя, а на имя какого-то русского князя. Пришлось снова вести бесконечные переговоры, прежде чем выяснилась эта ошибка таможни, тяжело осложнившаяся еще тем обстоятельством, что князь, получивший мой багаж, уже уехал. Благодаря этой путанице мне предстояло еще долго оставаться без своих вещей.

Наконец между 9 и 10 часами я вырвался из таможенного узилища и мог совершить свой въезд в Петербург, причем мне очень помог в этом какой-то немецкий путешественник, которого я «случайно» встретил на берегу. Если он и шпион, то, по крайней мере, очень услужливый. Он свободно говорил по-русски, нашел для меня дрожки и помог моему лакею уложить на телегу часть моих вещей, которые удалось получить, и доставить их в гостиницу Кулона.

Кулон — француз, и гостиница его считается лучшей в Петербурге, но это вовсе не дает уверенности в том, что в ней можно хорошо устроиться. Иностранцы в России быстро теряют свои национальные черты, хотя и не ассимилируются никогда с местным населением. Мой услужливый немец нашел для меня говорившего по-немецки гида, который сел сзади меня на дрожках, чтобы отвечать на все мои вопросы. Он усердно называл мне все памятники и здания, встречавшиеся на нашем довольно долгом пути из таможни в гостиницу, так как расстояния в Петербурге вообще очень значительны.

Слишком прославленная статуя Петра Великого привлекла прежде всего другого мое внимание, но она произвела на меня исключительно неприятное впечатление. Воздвигнутая Екатериной на скале со скромной с виду и горделивой, по существу, надписью — «Петру I Екатерина II», фигура всадника дана ни в античном, ни в современном стиле. Это — римлянин времен Людовика XIV. Чтобы помочь коню прочнее держаться, скульптор поместил у ног его огромную змею — несчастная идея, которая лишь выдает беспомощность художника [9]. И все же эта статуя и площадь, среди которой она положительно теряется, были наиболее интересным из всего, что пришлось мне увидеть по дороге из таможни в гостиницу.

На минуту я задержался и пред величественным, еще в лесах, зданием, широко уже известным в Европе, хотя оно еще и не закончено. Это — Исаакиевский со-

бор [10]. Наконец я увидел и фасад нового Зимнего дворца — второе чудесное свидетельство безграничной воли самодержца, который с нечеловеческой силой борется против всех законов природы. Но цель была достигнута, и в течение одного года вновь возник из пепла величайший в мире дворец, равный по величине Лувру и Тюильри, взятым вместе.

Нужны были невероятные, сверхчеловеческие усилия, чтобы закончить постройку в назначенный императором срок. На внутренней отделке продолжали работу в самые жестокие морозы. Всего на стройке было шесть тысяч рабочих, из коих ежедневно многие умирали, но на смену этим несчастным пригоняли тотчас же других, которым в свою очередь суждено было вскоре погибнуть. И единственной целью этих бесчисленных жертв было выполнение царской прихоти. Действительно, издавна цивилизованные народы жертвуют человеческой жизнью только ради общего блага, ценность которого признана почти всеми. Но, увы, как много целых поколений властителей соблазняются примером Петра I!

В суровые 25—30-градусные морозы 6 тысяч безвестных мучеников, ничем не вознагражденных, понуждаемых против своей воли одним лишь послушанием, которое является прирожденной, насильем привитой добродетелью русских, запирались в дворцовых залах, где температура вследствие усиленной топки для скорейшей просушки стен достигала 30 градусов жары. И несчастные, входя и выходя из этого дворца смерти, который благодаря их жертвам должен был превратиться в дворец тщеславия, великолепия и удовольствий, испытывали разницу температуры в 50—60 градусов.

Работы в рудниках Урала были гораздо менее опасны для жизни человека, а между тем рабочие, занятые на постройке дворца, не были ведь преступниками, как те, которых посылали в рудники. Мне рассказывали, что несчастные, работавшие в наиболее натопленных залах, должны были надевать на голову какие-то колпаки со льдом, чтобы быть в состоянии выдержать эту чудовищную жару, не потеряв сознания и способности продолжать свою работу. Если нас хотели восстановить против всего этого дворцового великолепия, богатой позолоты и исключительной роскоши, то лучшего средства для того не могли придумать. И тем не менее царь называется «отцом» этими же людьми, которые ради одного лишь царского каприза безропотно приносили себя в жертву.

Мне стало очень неуютно в Петербурге после того, как я увидел Зимний дворец и узнал, скольких человеческих жизней он стоил. Мне сообщили все эти подробности не шпионы и не люди, любящие пошутить, и потому я гарантирую их достоверность [11]. Миллионы, которые стоил Версаль [12], прокормили столько же семей французских рабочих, сколько 12 месяцев постройки Зимнего дворца убили русских рабов. Но благодаря этой гекатомбе слово царя совершило чудо, дворец был, к общему удовольствию, восстановлен в срок и освящение его ознаменовано было свадебным празднеством. Царь в России, видно, может быть любимым, если он и не слишком щадит жизнь своих подданных.

За границей не удивляются уже любви русского народа к своему рабству. Достаточно прочесть некоторые выдержки из переписки барона Герберштейна, посла императора Максимилиана, отца Карла V, при великом князе Василии Ивановиче. Я нашел этот отрывок у Карамзина, которого я лишь вчера читал на пароходе. Том, в котором выписка помещена, лежал в кармане моего пальто и, к счастью, избегнул любознательности полиции: самые опытные сыщики оказываются все же не всегда достаточно опытными.

Если бы русские знали все, что может внимательный читатель извлечь из книги этого льстеца-историка, которого они так прославляют и к которому иностранцы относятся с величайшим недоверием из-за его придворной лести, они должны были бы возненавидеть его и умолять царя запретить чтение всех русских историков с Карамзиным во главе, дабы прошлое, ради спокойствия деспота и счастья народа, оставалось в благодетельном для них обоих мраке забвения. Несчастный народ чувствовал бы себя все же счастливее, если бы мы, иностранцы, не считали его жертвою [13].

Вот что пишет Герберштейн, говоря о деспотизме русского монарха: «(Он) скажет — и сделано. Жизнь, достояние людей мирских и духовных, вельмож и граждан совершенно зависит от его воли. Нет противоречия, и все справедливо, как в делах божества, ибо русские уверены, что великий князь есть исполнитель воли небесной...» * Я не знаю, характер ли русского народа создал таких властителей, или же такие властители выработали характер русского народа.

---

* Цит. по: *Карамзин Н. М.* История государства Российского. Спб., 1817. Т. 7. С. 195.

Это письмо, написанное более трех столетий назад, рисует тогдашних русских такими же, какими я увидел их теперь. И вместе с послом Максимилиана я ставлю себе тот же вопрос о царе и его народе и так же, как и немецкий дипломат, не могу его разрешить. Но мне все же кажется, что здесь налицо обоюдное влияние. Нигде, кроме России, не мог бы возникнуть подобный государственный строй, но и русский народ не стал бы таким, каков он есть, если бы он жил при ином государственном строе. И сейчас, как и в XVI веке, можно услышать и в Париже, и в России, с каким восторгом говорят русские о всемогуществе царского слова. Оно творит чудеса, и все гордятся ими, забывая, каких жертв эти чудеса стоят. Да, слово царя оживляет камни, но убивает при этом людей! Забывая, однако, об этой подробности, русские люди гордятся тем, что могут сказать мне: «У вас три года рассуждают о перестройке театральной залы, а наш царь в один год восстанавливает величайший дворец в мире». И этот триумф, стоивший жизни нескольким тысячам несчастных рабочих, павших жертвой царского нетерпения и царской прихоти, кажется этим жалким людям совсем недорого оплаченным. Я же, как француз, вижу здесь лишь бесчеловечную самовлюбленность. Но во всей беспредельной из конца в конец империи не раздается ни одного протеста против этих чудовищных проявлений абсолютизма.

Все здесь созвучно — народ и власть. Русские не отказались бы от чудес, творимых волею царя, даже и в том случае, если бы речь шла о воскрешении всех рабов, при этом погибших. Меня не удивляет, что человек, выросший в условиях самообожествления, человек, который шестьюдесятью миллионами людей или полулюдей считается всемогущим, совершает подобные деяния. Но я не могу не поражаться тем, что из общего хора славословящих своего монарха именно за эти деяния не раздается, хотя бы во имя справедливости, ни одного голоса, протестующего против бесчеловечности его самовластия. Да, можно сказать, что весь русский народ от мала до велика опьянен своим рабством до потери сознания [14].





Глава IV

Петербург утром. — «Дышать только с царского разрешения». — Чиновная иерархия. — «Комфортабельная» гостиница. — Первая битва с клопами. — Михайловский замок. — Убийство императора Павла. — Нева и ее набережные. — Русская Бастилия. — Царские могилы по соседству с казематами. — Домик Петра Великого. — Заброшенный костел.

Петербург встает не рано. В 9—10 часов утра на улицах еще совершенно пусто. Кое-где встречаются лишь одинокие дрожки, которые вместе со своими кучерами и лошадьми производят на первый взгляд курьезное впечатление. Интересен костюм извозчиков, такой же как и большинства рабочих, мелких торговцев и т. п. На голове у них либо суконная дынеобразная шапка, либо шляпа с маленькими полями и плоской головкой, кверху расширяющейся. Этот головной убор похож на женский тюрбан или берет басков. Все, как молодые, так и старые, носят бороды, тщательно расчесываемые теми, кто понаряднее. Глаза их имеют какое-то особенное, своеобразное выражение — взгляд их лукав, как у азиатских народов, так что, когда видишь этих людей, кажется, что попал в Персию. Длинные волосы падают с обеих сторон, закрывая уши, сзади же острижены под скобку и оставляют совершенно открытой шею, так как галстуков никто не носит. Бороды у некоторых достигают груди, у других коротко острижены и более подходят к их кафтанам, чем к фракам и жакетам наших модников. Эти кафтаны из синего, темно-зеленого или серого сукна без воротника ниспадают широкими складками, перехваченными в поясе ярким шелковым или шерстяным кушаком. Высокие кожаные сапоги в складку дополняют этот диковинный, не лишенный своеобразной красоты костюм.

Движения людей, которые мне встречались, казались угловатыми и стесненными; каждый жест их выражал

волю, но не данного человека, а того, по чьему поручению он шел. Утренние часы — это время выполнения всякого рода поручений господ и начальников. Никто, казалось, не шел по доброй воле, и вид этого подневольного уличного движения наводил меня на грустные размышления. На улицах встречалось очень мало женщин, не видно было ни одного красивого женского лица, не слышно было ни одного веселого девичьего голоса. Все было тихо и размеренно, как в казарме или лагере. Военная дисциплина в России подавляет все и всех. И вид этой страны невольно заставляет меня тосковать по Испании, как будто я родился в Андалузии,— не по ее жаре, конечно, потому что и здесь от нее задыхаешься, а по ее свету и радости.

Иногда встречаешь на улице то несущегося в галоп на верховом коне офицера, спешащего передать приказ какому-либо командиру, то фельдъегеря, мчащегося в тележке с приказом какому-нибудь губернатору, быть может, в другой конец государства, то солдат, возвращающихся с учения в казармы, чтобы вновь отправиться с дальнейшими приказами своего капитана. Везде и всюду лишь младшие чины, выполняющие приказы старших. Это население, состоящее из автоматов, напоминает шахматные фигуры, которые приводит в движение один лишь человек, имея своим незримым противником все человечество. Офицеры, кучера, казаки, крепостные, придворные — все это слуги различных степеней одного и того же господина, слепо повинующиеся его воле. Это шедевр дисциплины. Здесь можно двигаться, можно дышать не иначе как с царского разрешения или приказания. Оттого здесь все так мрачно, подавленно, и мертвое молчание убивает всякую жизнь. Кажется, что тень смерти нависла над всей этой частью земного шара.

Среди населения, лишенного радостей и собственной воли, видишь лишь тела без души и невольно содрогаешься при мысли, что столь огромное число рук и ног имеют все одну лишь голову.

Когда Петр I учредил то, что здесь называется чином, то есть когда он перенес военную иерархию в гражданское управление империей, он превратил все население в полк немых, объявив себя полковником и сохранив за собой право передавать это звание своим наследникам [15]. Можете ли вы представить себе безумную погоню за отличиями, явное и тайное соперничество, все страсти, проявляемые на войне, существующие постоянно во вре-

мя мира? Если вы поймете, что значит лишение всех радостей семейной и общественной жизни, если вы можете нарисовать себе картину беспрерывной тревоги и вечно кипящей борьбы в погоне за знаком монаршего внимания, если вы, наконец, постигнете почти полную победу воли человека над волей божьей — только тогда вы поймете, что представляет собою Россия. Русский государственный строй — это строгая военная дисциплина вместо гражданского управления, это перманентное военное положение, ставшее нормальным состоянием государства.

Но я невольно отвлекся в сторону. Возвращаюсь к своему описанию. Когда утренние часы проходят, город начинает понемногу оживать и наполняется шумом, но он не становится благодаря этому ярче и веселее. Появляются не слишком элегантные коляски, быстро влекомые парой, а иногда четырьмя и даже шестью лошадьми, запряженными цугом, и в них люди, всегда куда-то спешащие. Ясно видно, что катание для своего удовольствия, как и все, что делается для простого развлечения, здесь незнакомо.

Неудивительно, что все великие артисты, которые приезжают в Россию пожинать плоды своей славы, добытой за границей, остаются здесь на самое короткое время, а если задерживаются дольше, теряют свой талант. Самый воздух этой страны враждебен искусству. Все, что в других странах возникает и развивается совершенно естественно, здесь удается только в теплице. Русское искусство всегда останется оранжерейным цветком [16].

Приехав в отель Кулона, я встретил здесь хозяина, огрубевшего, переродженного француза. Его гостиница была в это время переполнена народом ввиду предстоящих придворных торжеств по случаю бракосочетания великой княжны Марии [17], и он, казалось, далеко не рад был новому гостю. Это сказалось в том, как мало он уделил мне внимания. После бесконечного хождения взад и вперед и долгих переговоров мне отвели все-таки какое-то душное помещение во втором этаже, состоящее из прихожей, кабинета и спальной. Нигде на окнах не было ни портьер, ни штор, ни жалюзи, и это при солнце, которое здесь теперь в течение чуть ли не 22-х часов в сутки не сходит с горизонта и косые лучи которого достигают отдаленнейших углов комнаты. Воздух комнаты был насыщен каким-то странным запахом гипса, извести и пыли, смешанным с запахом мускуса.

Усталость после испытаний минувшей ночи и утра и

всех мытарств, перенесенных в таможне, победила мое любопытство. Вместо того чтобы тотчас же отправиться, по своему обыкновению, побродить наугад по улицам незнакомого города, я бросился, не раздеваясь, в плаще, на широкую, обитую темно-зеленой кожей софу, занимавшую почти целиком одну стену комнаты, и мгновенно крепко уснул, но... лишь на три минуты. Я проснулся с лихорадочной дрожью, и что же увидел я, бросив взгляд на свой плащ: маленькое темное пятнышко, но... живое. Называя вещи своими именами, я должен сказать, что был покрыт клопами, которые с радостью на меня набросились. Россия в этом отношении, видно, нисколько не уступает Испании, но там, на юге, освобождаешься от этих врагов и исцеляешься на воздухе, здесь же остаешься с ними постоянно взаперти, и война становится тем более кровавой. Я сбросил с себя все платье и стал бегать по комнате, крича о помощи. Какое ужасное предзнаменование для ночи, думал я, и продолжал кричать во все горло. Появился русский гарсон, и я постарался растолковать ему, что хочу говорить с его хозяином. Тот долго заставил ждать себя; наконец он явился, и когда я объяснил ему причину своего ужасного состояния, он расхохотался и тотчас же удалился, сказав мне, что я к этому скоро привыкну, так как в Петербурге без клопов я помещения не найду. Он посоветовал мне лишь никогда не садиться в России на канапэ, так как на них часто спят слуги, которые постоянно имеют на себе легионы насекомых. Он успокоил меня также и тем, что клопы не тронут меня, если я буду держаться подальше от мягкой мебели, которую они никогда не покидают.

Гостиницы в Петербурге похожи на караван-сараи. Как только вы в них устроились, вы предоставлены исключительно самому себе, и, если у вас нет своего лакея, вы остаетесь без всяких услуг. Мой слуга, не зная русского языка, не мог быть мне полезен. Более того, он становился мне в тягость, так как я должен был заботиться и о нем. Но все же благодаря своей итальянской сметливости он вскоре нашел выход из создавшегося положения: в одном из темных коридоров этой каменной пустыни, которая называлась «Отель Кулона», он разыскал какого-то искавшего службы лакея, говорившего по-немецки и хорошо отрекомендованного хозяином гостиницы. Я его тотчас же нанял, рассказал ему о своей беде, и ловкий немец сейчас же притащил мне русскую железную кровать. Я ее немедленно купил, положил на

нее новый, набитый свежим сеном матрац и, подставив под каждую ножку кровати чашку с водой, поместил ее посреди комнаты, которую очистил от всей находившейся в ней мебели. Обезопасив себя таким образом на ночь, я вновь оделся и, в сопровождении своего нового слуги, оставил этот «великолепный» отель, походивший по внешности на дворец, а внутри оказавшийся позолоченной, обитой бархатом и шелком конюшней.

«Отель Кулон» расположен у сквера, который для Петербурга казался довольно оживленным. С одной стороны этот сквер граничит с подлинно великолепным новым Михайловским дворцом, принадлежащим великому князю Михаилу, брату царя. Дворец этот был построен императором Александром, но сам он, однако, в нем не жил. С остальных трех сторон сквер окружен рядом красивых домов, среди которых проложены широкие улицы [18]. И странное совпадение. Едва я прошел мимо нового Михайловского дворца, как очутился перед старым, огромным, мрачным четырехугольным зданием, во всех отношениях отличным от изящного и современного нового дворца, носящего то же имя.

Если в России молчат люди, то за них говорят — и говорят зловеще — камни. Я не удивляюсь, что русские боятся и предают забвению свои старые здания. Это — свидетели их истории, которую они чаще всего хотели бы возможно скорее забыть. Когда я увидел глубокие каналы, массивные мосты, пустынные галереи этого мрачного дворца, я невольно вспомнил о том имени, которое с ним связано, и о той катастрофе, которая возвела Александра на трон. Передо мной воскресла вся обстановка этой потрясающей сцены, которой закончилось царствование Павла I. Но это еще не все. Точно по какой-то жестокой, кровавой иронии перед главным входом зловещего дворца незадолго до смерти того, кто в нем обитал, была воздвигнута по его приказу конная статуя его отцу, Петру III, другой жертве, скорбную память которой Павел хотел почтить, чтобы тем самым унизить восторженную память о его матери [19]. Какие трагедии разыгрываются в этой стране, где честолюбие и даже самая ненависть кажутся внешне такими холодными и уравновешенными. Страстность южных народов хоть несколько примиряет с их жестокостью, но расчетливая сдержанность и хладнокровие людей севера придают их преступлениям еще и оттенок лицемерия. Человек кажется незлобивым, потому что он не обуреваем страстью.

Но расчетливое убийство без ненависти возбуждает еще большее отвращение, чем смертный удар, нанесенный в порыве гнева. Разве закон кровавой мести не естественнее корыстного предательства? К сожалению, и при убийстве Павла I заговорщиками руководил не гнев, не страстная ненависть, а холодный расчет. Добрые русские утверждают, что заговорщики имели в виду лишь заключить Павла в крепость. Но я видел потайную дверь, которая по потайной же лестнице вела в комнату императора. Эта дверь выходит в часть сада, примыкающую к каналу. По этой дороге ввел Пален во дворец убийц. Накануне рокового дня он сказал им: «Завтра либо в пять часов утра вы убьете императора, либо в половине шестого вы будете мною выданы ему как заговорщики».

На следующий день в пять часов Александр стал императором и вместе с тем отцеубийцею, хотя (и этому я готов верить) он дал заговорщикам согласие лишь на заключение своего отца в крепость, чтобы таким путем спасти свою мать от заточения или даже смерти и самого себя от той же участи, а вместе с тем и спасти всю страну от ярости и злодеяний безумного деспота [20].

Теперь русские люди проходят мимо старого Михайловского дворца, не смея на него взглянуть. В школах и вообще повсюду запрещено рассказывать о смерти Павла I, и самое событие это никогда никем не упоминается.

Я удивляюсь лишь тому, что до сих пор не снесли этого дворца с его мрачными воспоминаниями. Но для туриста большая удача видеть историческое здание, которое своей старинной внешностью так резко выделяется на общем фоне города, в котором деспотизм все подстриг под одну гребенку, все уравнял и создал заново, стирая каждый день самые следы прошлого. Впрочем, эта беспокойная стремительность, пожалуй, и является причиной того, что старый Михайловский замок уцелел: о нем просто забыли. Его огромный четырехугольный массив, глубокие каналы, его трагические воспоминания, потайные лестницы и двери, которые так способствовали преступлению, его необычайная высота в городе, где все строения придавлены, — все это придает старинному дворцу какое-то особенное величие, которое редко встречается в Петербурге. Вообще я на каждом шагу поражался здесь странному смешению двух столь отличных друг от друга искусств — архитектуры и сценической декоративности. Невольно кажется, что Петр Великий и его преемники хотели превратить всю столицу в огромный театр.

И все же прогулка по улицам Петербурга в сопровождении гида в высшей степени интересна, хотя и не походит совершенно на прогулки по столицам других стран цивилизованного мира.

Покинув трагический Михайловский замок, я очутился близ большой площади, напоминавшей собой Марсово поле в Париже, столь же огромной и пустынной. С одной стороны к площади примыкал обширный общественный сад, с другой — несколько небольших домов, посреди — груды песка, повсюду пыль — такова эта площадь, оканчивающаяся у самой Невы близ бронзовой статуи Суворова [21].

Нева, ее мосты и набережные — это действительная гордость Петербурга. Вид Невы так величествен, что по сравнению с нею все остальное кажется мизерным. Это — огромный широкий сосуд, до краев наполненный водой, которая постоянно грозит вылиться за их пределы. Венеция и Амстердам кажутся мне гораздо более защищенными против моря, чем стоящий у Невы Петербург. Конечно, близость реки, широкой, как озеро, протекающей по своему глубокому руслу среди болотистой равнины под вечно туманным небом и грозным дыханием моря, являлась наименее благоприятным условием для закладки именно здесь столицы государства. Рано или поздно вода поглотит это гордое создание человека! Даже гранит не в состоянии долго противостоять реке, дважды уже подточившей каменные устои воздвигнутой Петром крепости [22]. Их пришлось восстановить и придется еще много раз восстанавливать, чтобы сохранить это искусное создание гордой и самоуверенной воли человека.

Я хотел тотчас же пройти через мост, чтобы вблизи осмотреть знаменитую крепость. Но мой новый слуга привел меня сначала к домику Петра Великого, находящемуся против крепости и отделенному от последней одной лишь улицей и пустырем. Эта хижина, как говорят, сохранилась в том же виде, как ее оставил царь. А напротив, в петровской цитадели, покоятся останки императоров и содержатся государственные преступники: странная идея — чтить таким образом своих покойников. Если вспомнить все те слезы, которые проливаются здесь над гробницами властителей России, то невольно покажется, что ты присутствуешь при погребении какого-нибудь азиатского владыки. Но орошенная кровью могила все же кажется менее страшной. Здесь слезы текут дольше и вызваны более тяжелыми страданиями [23].

В то время как царь-работник жил в своей хижине, напротив, перед его глазами, воздвигали будущую столицу. И во славу ему надо упомянуть, что Петр тогда меньше думал о своем «дворце», чем о создаваемом им городе [24]. Одна из комнат этого домика, в которой царь занимался плотничьим ремеслом, превращена теперь в капеллу, в которую вступают с таким благоговением, как в самый почитаемый храм. Русские любят возводить своих героев в сонм святых; они прикрывают жестокие деяния властителей благодатной силой святителей и стараются все ужасы своей истории поставить под защиту веры.

В домике Петра мне показали бот, который им лично был построен, и другие тщательно сохраненные предметы, оберегаемые старым ветераном. В России охрана церквей, дворцов, многих общественных учреждений и частных домов вверяется таким инвалидам. Эти несчастные, на старости покидая казармы, выходят лишенными всех средств к существованию. На своем посту сторожа или швейцара они сохраняют длинные солдатские мундиры и порыжевшие шинели из грубой шерсти. Эти привидения в форме, встречающие вас при входе в любое учреждение или частный дом, лишний раз напоминают вам о той дисциплине, которая над всем здесь властвует [25]. Петербург — это военный лагерь, превращенный в город.

Мой проводник счел своим долгом показать мне каждую картину, каждый кусок дерева в этой императорской хижине, а ветеран-сторож, зажегши предварительно все свечи в скромной домовой церковке, проводил меня затем в спальную «императора всея Руси». Наш плотник не поместил бы теперь в таком углу своего ученика.

Эта прославленная простота жизни ярко характеризует не только данную эпоху и страну, но и самого человека. Тогда в России все приносилось в жертву будущему. Строили великолепные здания, не зная, что с ними делать, потому что владыки, для которых воздвигались эти дворцы, еще не родились, а сами строители их не испытывали потребности в роскоши и довольствовались ролью провозвестников цивилизации. Конечно, в заботах главы народа и самого народа о могуществе и даже тщеславии грядущих поколений сказывается величие их души. Вера живущих во славу своих потомков заключает в себе нечто благородное и своеобразное. Это—чувство бескорыстное, поэтическое и стоящее выше обычного уважения людей и наций к своим предкам.

По выходе из домика Петра I я очутился снова

перед мостом через Неву, ведущим на острова, и направился в Петербургскую крепость. Я уже говорил, что гранитные основы этого сооружения, одно имя которого вселяет ужас, дважды уже были подточены невскими водами, и это всего лишь за 140 лет своего существования. Какая поистине чудовищная борьба! Камни страдают здесь под гнетом насилия, как и люди.

Мне не разрешили посетить казематы. Некоторые из них расположены под водой, другие — под крышей. Меня проводили в собор, где находятся гробницы царствующей фамилии. Я стоял среди этих гробниц и продолжал разыскивать их, так как не мог представить себе, что эти четырехугольные плиты, прикрытые зелеными суконными покрывалами с вышитыми на них императорскими гербами, могли быть гробницами Петра I, Екатерины II и всех последующих царей до Александра включительно.

В этой могильной цитадели мертвые казались мне более свободными, чем живые. Мне было тяжело дышать под этими немыми сводами. Если бы в решении замуровать в одном склепе пленников императора и пленников смерти, заговорщиков и властителей, против которых эти заговорщики боролись, была какая-нибудь философская идея, я мог бы еще пред подобной идеей смириться. Но я видел лишь циничное насилие абсолютной власти, жестокую месть уверенного в себе деспотизма. Мы, люди Запада, революционеры и роялисты, видим в русском государственном преступнике невинную жертву абсолютизма, русские же считают его низким злодеем. Вот до чего может довести политическое идолопоклонство. Россия — это страна, в которой несчастье позорит всех без исключения, кого оно постигнет.

Каждый шорох казался мне заглушенным вздохом. Камни стенали под моими шагами, и сердце мое сжималось от боли при мысли об ужаснейших страданиях, которые человек только в состоянии вынести. Я оплакивал мучеников, томящихся в казематах зловещей крепости. Невольно содрогаешься, когда думаешь о русских людях, погибающих в подземельях, и встречаешь других русских, прогуливающихся над их могилами...

Я видел и в других странах крепости, но это название их бесконечно далеко от того, что представляет собой крепость в Петербурге, где безупречная верность и абсолютная честность не могут спасти от заключения в подземные склепы. Я вздохнул свободнее, когда перешагнул

через рвы, охраняющие эту юдоль страданий и отделяющие ее от всего мира.

После того как я осмотрел гробницы русских властителей, я велел отвезти себя обратно в мой квартал, чтобы посетить находящийся вблизи гостиницы католический костел. Он находится на Невском проспекте, самой красивой улице в Петербурге, и не поражает своим великолепием. Церковные коридоры пустынны, дворы заполнены всякой рухлядью, на всем лежит печать уныния и какой-то неуверенности в завтрашнем дне. Терпимость к иноверной церкви в России не гарантируется ни общественным мнением, ни государственными законами. Как и все остальное, она является милостью, дарованной одним человеком, который завтра может отнять то, что дал сегодня [26].

В костеле обратила на себя мое внимание и глубоко меня взволновала надпись на одной из плит: «Понятовский» [27]. Эта королевская жертва суетного тщеславия, этот легковерный фаворит Екатерины II погребен здесь без всяких почестей. Но хотя он был лишен величия трона, величие несчастья сохранилось за ним навсегда. Горькая участь короля, его ослепление, столь жестоко наказанное, предательская политика его врагов — все это будет долго привлекать внимание туристов к его безвестной могиле.

Рядом с телом изгнанного короля погребен изуродованный труп Моро. Император Александр приказал перевезти его сюда из Дрездена [28]. Мысль соединить смертные останки этих двух столь достойных сожаления людей, чтобы слить в одну молитву воспоминание об их печальной судьбе, кажется мне одной из благороднейших мыслей русского монарха, казавшегося великим даже при въезде в тот город, который только что покинул Наполеон.

Около 4 часов дня я вспомнил наконец, что приехал в Россию не для того только, чтобы посмотреть на несколько более или менее интересных зданий и предаться по поводу них более или менее философским размышлениям, и поспешил к французскому послу [29].

Там, к моему великому огорчению, я узнал, что бракосочетание великой княжны Марии с герцогом Лейхтенбергским должно состояться послезавтра и что я прибыл слишком поздно, чтобы иметь возможность быть представленным государю на этой торжественной церемонии. Пропустить же такое дворцовое празднество в стране, где двор составляет все, значило бы лишить мой приезд почти всякого смысла.



Глава V

Острова. — Цвет русского общества. — Цена популярности Николая I. — Придворные интриги. — Азиатская роскошь. — Русская красота. — Ужасы крепостного права. — Показная цивилизация. — Судьба императрицы. — Заговор молчания высшего общества. — Страх перед иностранцами. — Россия — страна фасадов.

Сегодня я совершил прогулку на острова. Нигде в мире я не видел болота, столь искусно прикрытого цветами. Представьте себе сырое, низкое место, которое лишь летом, благодаря каналам, отводящим воду, несколько высыхает. Такова эта местность, превращенная в превосходную березовую рощу, окруженную великолепными виллами. Аллеи берез, которые вместе с соснами являются единственными представителями растительного царства, произрастающими на этой ледяной равнине, создают иллюзию английского парка. Этот большой сад с виллами и коттеджами служит для петербуржцев дачным местом, на короткое время летом заселяющимся придворной знатью. Остальную же часть года острова совершенно пустынны.

Парижане, которые никогда не забывают своего Парижа, назвали бы «острова» русскими Елисейскими полями, но острова гораздо обширнее, носят более сельский характер и вместе с тем гораздо богаче разукрашены, чем наше место для прогулок в Париже. Они и более удалены от богатых городских кварталов. Район островов одновременно и город, и сельская местность. Рощи, луга, отвоеванные у окружающих болот, заставляют верить, что кругом действительно поля, леса, деревни, а в то же время храмоподобные здания, пилястры, окаймляющие богатые оранжереи, колоннады дворцов, театр с античным перистилем — все это заставляет вас думать, что вы, находясь на островах, не покинули города.

Русские справедливо гордятся садом, с таким трудом вырванным из болотистой петербургской почвы. Но если природа побеждена, она помнит о своем поражении и неохотно покоряется насилию. Уже по другую сторону парка снова начинаются прежние болота. Я не останавливался бы так долго на неблагодарном характере этой обделенной природой земли, не так бы сожалел, путешествуя по северу, о солнце юга, если бы русские менее пренебрегали тем, что недостает их стране. Их самодовольство простирается даже на климат и почву. По натуре склонные к хвастовству, они гордятся своей природой точно так же, как и окружающим их обществом.

Дельта, образовавшаяся между городом и одним из устьев Невы, занята теперь целиком этим парком, расположенным как будто в самом Петербурге. Русские города захватывают целые округи. Парк должен был бы стать населеннейшим кварталом новой столицы, если бы в дальнейшем полностью осуществлялся план ее основателя. Но мало-помалу Петербург удалялся от реки к югу, чтобы избегнуть наводнений и болотистой местности островов, обитаемой летом. Зимой роскошные дачи наполовину находятся под водой и снегом и волки кружат вокруг павильона императрицы. Зато в течение трех летних месяцев ничто не сравнится с роскошью цветов и убранством изящных и нарядных вилл. Но и здесь под искусственным изяществом проглядывает природный характер местных жителей. Страсть блистать обуревает русских. Поэтому в их гостиных цветы расставляются не так, чтобы сделать вид комнат более приятным, а чтобы им удивлялись извне. Совершенно обратное наблюдается в Англии, где более всего боятся рисовки для улицы.

Но скудость физического мира, сколь тщательно она ни прикрывается, все-таки порождает здесь унылую скуку. Драмы разыгрываются в действительной жизни, потому в театре господствует водевиль, никому не внушающий страха, а излюбленным чтением являются романы Поль де Кока. Пустые развлечения — единственные, дозволенные в России [30]. При таком порядке вещей жизнь слишком тяжела, чтобы могла создаться серьезная литература. Слова «мир», «счастье» здесь столь же неопределенны, как и слово «рай». Беспробудная лень, тревожное безделие — таков неизбежный результат северной автократии.

То, что происходит каждый год на островах, когда с наступлением зимы они превращаются в снежную пу-

стыню, заселенную волками, блуждающими вокруг былого величия, произойдет когда-нибудь и со всем городом. Пусть эта столица, без корней в истории, будет хоть временно забыта своим монархом, пусть веления политики обратят его взоры в другую сторону, и тотчас распадется подводный гранит, затопленная низина возвратится в свое первобытное состояние и обитатели пустынь снова станут ее единственными владельцами.

Подобные мысли преследуют каждого иностранца, попадающего в Россию. Никто не верит в долговечность этого удивительного города. Невольно приходит на мысль та или иная война, то или иное изменение политики, которые заставят исчезнуть создание Петра, как мыльный пузырь при дуновении ветра, как картину волшебного фонаря, когда свет его погашен.

Сегодня вечером мне удалось увидеть на островах цвет высшего общества. Сюда прибыл весь Петербург, то есть двор со своей свитой и челядью, но не для того, чтобы совершить приятную прогулку в прекрасный летний день — это было бы для придворной знати более чем странным, а для того лишь, чтобы встретить прибывшую на острова на своей яхте императрицу. Здесь каждый монарх — бог. Свита этих меняющихся божеств неизменна, она лишь все увеличивается благодаря всегда окружающей ее толпе.

И все же, что бы ни говорила и ни делала эта толпа, ее энтузиазм кажется мне вынужденным, ее любовь к царю напоминает мне любовь стада к своему пастуху, который его кормит, чтобы послать затем на убой. Народ без свободы имеет инстинкты, но не имеет разумных чувств. Эти инстинкты проявляются иногда в диких, чудовищных формах. Рабское восторженное поклонение, безмерный фимиам, становящийся наконец невтерпеж божественному идолу,— весь этот культ обожествления своего монарха прерывается вдруг страшными, кровавыми антрактами. Русский образ правления — это абсолютная монархия, умеряемая убийством. Русский император вечно живет под гнетом либо страха, либо пресыщения. Если гордость деспота требует себе рабов, то человек ищет себе равных. Царь себе равного не имеет. Этикет и завистливая ревность неизменно стоят на страже его одиночества. Русский монарх еще более достоин сожаления, чем его народ, особенно если он собой хоть что-нибудь представляет.

Мне много говорили о счастливой семейной жизни

императора Николая, но я вижу в этом скорее утешение в скорби, чем полное счастье. Утешение — не счастье, а целительное средство, свидетельствующее о болезни. Для русского царя сердце является излишним, если вообще сердце у него имеется. Этим, наверное, и объясняются семейные добродетели императора Николая.

Императрица в этот вечер покинула Петергоф, чтобы переехать в свой летний дворец на островах. Здесь она хотела дождаться венчания дочери, которое должно было состояться на следующий день в новом Зимнем дворце. Когда императрица пребывает на островах, то под сенью дерев, окружающих дворец, несет караул Кавалергардский полк, один из самых красивых во всей армии [31].

Мы прибыли на острова слишком поздно, чтобы видеть торжественный выход императрицы с ее священного корабля, но толпа придворных была еще вся под впечатлением обаяния мгновенно промелькнувшего царского созвездия. Человеческие волны напоминали волны морские, прорезанные мощным военным кораблем; гордое судно, несущееся на всех парусах, разбивает шумящие волны, и они еще долго пенятся после того, как самый корабль достиг уже гавани.

Итак, наконец я дышал воздухом двора. Но до сих пор мне не довелось видеть ни одного из божеств, которое бы осенило своим появлением простых смертных.

Вокруг дворца или по крайней мере вблизи от него расположены наиболее роскошные, богатые виллы. Человек жаждет здесь взгляда своего властелина, как растение живительных лучей солнца. Самый воздух здесь принадлежит государю, и каждый дышит лишь постольку, поскольку ему это дозволено: у истинного царедворца легкие так же подвижны, как и его спина.

Повсюду, где есть двор и придворные, царят расчетливость и интриги, но нигде они так явственно не выступают, как в России. Российская империя — это огромный театральный зал, в котором из всех лож следят лишь за тем, что происходит за кулисами.

Хотя русские и гордятся своей роскошью и богатством, однако во всем Петербурге иностранец не может найти ни одной хоть сколько-нибудь сносной гостиницы. Вельможи, приезжающие из внутренних губерний в столицу, привозят с собой многочисленную челядь. Она является лишним признаком богатства, так как люди здесь — собственность их господина. Эти слуги в отсутствие своих господ валяются на диванах и наполняют их насекомыми;

в несколько дней все помещение безнадежно заражено, и невозможность зимой проветривать комнаты делает это зло вечным.

Новый царский дворец, который был восстановлен с затратой стольких средств и человеческих жизней, уже заполнен насекомыми, как будто несчастные рабочие, жертвовавшие своею жизнью, чтобы скорее разукрасить дворцовые палаты, перед смертью решили отомстить за свою гибель, заразив убившие их стены насекомыми. Уже сейчас, еще до того, как въехали во дворец, некоторые его комнаты пришлось наглухо запереть. Могу ли я спать у Кулона, если даже царский дворец не пощажен этими злейшими ночными врагами? Приходится покориться: светлые ночи облегчают мне бодрствование.

Едва вернувшись с островов, я в полночь снова отправился бродить пешком по городу.

На Невском проспекте издали в предрассветном сумраке увидел я колонны Адмиралтейства со сверкающим над ним блестящим металлическим шпилем[32]. Шпиль этого христианского минарета острее любой готической башни и весь покрыт золотом дукатов, принесенных объединенными провинциями Голландии в дар Петру I.

Безобразно грязные номера гостиниц — и это сказочное, великолепное строение! Таков Петербург. Таковы резкие контрасты, встречающиеся здесь на каждом шагу. Европа и Азия тесно переплелись в этом городе друг с другом.

На таком фоне своеобразно выделяется и городское население. Народ русский достаточно красив. Мужчины чисто славянской расы, привезенные сюда своими господами для услужения из центра России или остающиеся подолгу, с их разрешения, в Петербурге для занятия ремеслами, отличаются светлым цветом волос и яркой краской лиц, в особенности же совершенством своего профиля, напоминающего греческие статуи. Их миндалевидные глаза имеют азиатскую форму с северной голубоватой окраской и своеобразное выражение мягкости, грации и лукавства. Рот, украшенный шелковистой, золотисто-рыжей бородой, в правильном разрезе открывает ряд белоснежных зубов, имеющих иногда остроконечную форму зубов тигра или зубьев пилы, но большей частью совершенно ровных. Платье этих людей также оригинально. Оно состоит либо из какой-то греческой туники, перепоясанной ярко-цветными кожаными кушаками, либо из длиннополой персидской одежды, либо из короткого рус-

ского овчинного тулупа, мехом внутрь или наружу – соответственно температуре воздуха.

Женщины из народа менее красивы. Они редко встречаются на улицах, а те, которых встречаешь, малопривлекательны и кажутся слишком огрубевшими. И удивительно: мужчины все одеты чище и наряднее, чем женщины. Быть может, это объясняется тем, что мужчины по своей службе должны быть постоянно в домах знатных бар. Женщины из народа имеют тяжелую поступь и носят высокие кожаные сапоги, обезображивающие их ноги. Их внешность, рост, все в них лишено малейшей грации, и землистый цвет лиц даже у наиболее молодых не имеет ничего общего с цветущим видом мужчин. Их короткие русские телогрейки, спереди открытые, подбиты мехом, почти всегда оборванным и висящим клочьями. Этот костюм был бы красив, если бы его «лучше носили», как говорят у нас владельцы модных магазинов, и если бы он не портился часто неправильной талией и всегда отталкивающей неопрятностью. Национальный головной убор женщин также красив, но он встречается теперь очень редко. Его можно увидеть, как мне говорили, сейчас лишь у кормилиц и у придворных дам в дни дворцовых торжеств. Это — небольшая остроконечная башенка из картона, покрытая шелком, позолоченная и украшенная вышивками и бусами.

Сегодня вечером мне рассказали много интересных подробностей о так называемом крепостном праве русских крестьян. Мы можем лишь с трудом представить себе положение этого класса людей, лишенных всяких прав и вместе с тем представляющих собой нацию. Хотя русские законы отняли у них все, они все же не так низко пали в нравственном отношении, как в социальном. Они обладают сообразительностью, даже некоторой гордостью, но главной чертой их характера, как и всей их жизни, является лукавство. Никто не вправе бросить им упрека за эту черту характера, столь естественную в их положении.

Во многих частях империи крестьяне верят, что они являются принадлежностью земли. Состояние это кажется им естественным, так как они не дают себе труда подумать над тем, может ли один человек быть собственностью другого. В других местах крестьяне считают, что земля им принадлежит; эти — наиболее счастливые, если не самые забитые и замученные из русских рабов.

Величайшим несчастьем для крепостных является продажа земли, на которой они родились. Их продают теперь

вместе с тем куском земли, с которым они неразрывно связаны, в чем заключается единственное благодеяние нового закона, запрещающего продажу людей без земли. Но этот закон помещики обходят всевозможными способами: так, продают не все имение со всеми крестьянами, а отдельные участки и отдельно сотню-другую крестьян. Когда такая незаконная продажа доходит до сведения властей, последние наказывают владельцев, но это случается очень редко, так как между данным деянием и его высшим судьей, то есть царем, находится стена людей, заинтересованных в том, чтобы все эти злоупотребления скрыть и продолжать [33].

Помещики страдают от подобного порядка вещей не менее, чем их крепостные, особенно те, у которых дела идут плохо. Поместья продавать очень трудно, и те дворяне, которые обременены значительными долгами, вынуждены для покрытия их получать ссуды и закладывать свои имения в государственном банке. Отсюда следует, что царь является казначеем и кредитором всего русского дворянства, которое, связанное таким образом по рукам и ногам верховной властью, не может выполнить своего долга по отношению к народу.

Какой-то знатный помещик хотел продать свое имение. Крестьяне отправили к нему старейших из деревни, которые, упав на колени, со слезами молили его не продавать их. «Я должен,— ответил помещик,— я не хочу — это противоречит моим правилам — повышать оброк, который платят мне крестьяне, и я недостаточно богат, чтобы сохранить за собой имение, которое мне ничего не приносит».— «Если только в этом дело,— сказали крестьяне,— то мы сами достаточно богаты, чтобы остаться у вас». И они тотчас удвоили оброк, который с незапамятных времен выплачивали своему господину.

Другие крестьяне, менее мягкосердечные и более хитрые, восстают против своих господ в единственной надежде стать государственными крепостными. В этом высший предел честолюбия русского крестьянина. Если бы вдруг всех этих людей освободили, то вся страна охвачена была бы огнем. В тот момент, когда крепостные, отделенные от земли, увидели бы, что ее продают, нанимают, обрабатывают без них, они поднялись бы всей массой, крича, что у них отнимают их собственность.

Недавно в какой-то далекой деревне, в которой вспыхнул пожар, крестьяне, изнемогавшие от жестокостей своего господина, воспользовались суматохой, быть может

ими же вызванной, схватили своего врага, убили его, посадили на кол и сжарили в огне пожара. Они рассчитывали, что смогут оправдаться, показав под присягой, что несчастный владелец хотел спалить их избы, и они вынуждены были обороняться. В таких случаях царь обыкновенно высылает всю деревню в Сибирь, и это называется в Петербурге: «заселять Азию» [34].

Когда я думаю о подобных и других более или менее тайных жестокостях, ежедневно происходящих в этом обширнейшем государстве, где расстояния содействуют и бунтам, и их подавлению, мне становятся ненавистными и страна, и правительство, и весь народ, я испытываю неописуемое отвращение и мечтаю лишь о том, чтобы скорее отсюда уехать.

Роскошь цветов и ливрей в домах петербургской знати меня сначала забавляла. Теперь она меня возмущает, и я считаю удовольствие, которое эта роскошь мне доставляла, почти преступлением. Благосостояние каждого дворянина здесь исчисляется по количеству душ, ему принадлежащих. Каждый несвободный человек здесь — деньги. Он приносит своему господину, которого называют свободным только потому, что он сам имеет рабов, в среднем до 10 рублей в год, а в некоторых местностях втрое и вчетверо больше. В России человеческая монета меняет свою ценность, как у нас земля, которая иногда вдвое повышается в цене при нахождении новых рынков для сбыта ее злаков. Я невольно все время высчитываю, сколько нужно семей, чтобы оплатить какую-нибудь шикарную шляпку или шаль. Когда я вхожу в какой-нибудь дом, кусты роз и гортензий кажутся мне не такими, какими они бывают в других местах. Мне чудится, что они покрыты кровью. Я всюду вижу оборотную сторону медали. Количество человеческих душ, обреченных страдать до самой смерти для того лишь, чтобы окупить материю, требующуюся знатной даме для меблировки или нарядов, занимает меня гораздо больше, чем ее драгоценности или красота. Эти прелестные дамы напоминают мне карикатуру на Бонапарта, которая в 1813 году была распространена в Париже и по всей Европе: когда смотрели издали на портрет колосса-императора, он казался очень похожим, но, приблизившись к его изображению, ясно видели, что каждая черта его лица была составлена из изуродованных человеческих трупов.

Повсюду бедный работает для богатого, платящего ему за работу. Но человек, который вознаграждается за

потраченный труд и время деньгами другого человека, не обречен в течение всей своей жизни на участь домашней скотины, и хотя он изо дня в день должен трудиться, чтобы добывать хлеб своим детям, все же он обладает известной, по крайней мере кажущейся, свободой, а ведь кажущаяся видимость составляет все для существа с ограниченным кругозором и безграничной фантазией. У нас всякий, кто работает за плату, волен искать себе другого работодателя, другое местопребывание, даже другой вид работы, так как его труд не рассматривается как рента богача. Русский крепостной, напротив, является вещью своего владельца. Обреченный со дня рождения и до смерти служить одному и тому же господину, он трудится лишь для того, чтобы доставить рабовладельцу средства к удовлетворению его прихотей и капризов. При таком положении вещей роскошь уже не может быть терпимой и не заслуживает никаких оправданий. В государстве, в котором не существует среднего класса, всякая роскошь должна быть запрещаема, так как она может быть объяснена и оправдана лишь в благоустроенных странах, где средний класс извлекает выгоды и средства к жизни из тщеславия и роскоши высшего общества.

Если, как говорят, России предстоит стать промышленной страной, отношения между крепостными и их владельцами в корне изменятся. Из среды свободных граждан и крепостных должно образоваться сословие независимых купцов и ремесленников, которое сейчас едва лишь только намечается и пополняется главным образом за счет иностранцев. До сих пор почти все фабриканты и купцы — немцы.

Здесь, в Петербурге, вообще легко обмануться видимостью цивилизации. Когда видишь двор и лиц, вокруг него вращающихся, кажется, что находишься среди народа, далеко ушедшего в своем культурном развитии и государственном строительстве. Но стоит только вспомнить о взаимоотношениях разных классов населения, о том, как грубы их нравы и как тяжелы условия жизни, чтобы сразу увидеть под возмущающим великолепием подлинное варварство.

Я не осуждаю русских за то, каковы они, но я порицаю в них притязание казаться теми же, что и мы. Они еще совершенно некультурны. Это не лишало бы их надежды стать таковыми, если бы они не были поглощены желанием по-обезьяньи подражать другим нациям, осмеивая в то же время, как обезьяны, тех, кому они

подражают. Невольно приходит на мысль, что эти люди потеряны для первобытного состояния и непригодны для цивилизации.

В Петербурге все выглядит богато, пышно, великолепно, но если судить о действительной жизни по этой видимой внешности, то можно впасть в жестокое заблуждение. Обыкновенно первым результатом цивилизации является то, что она облегчает материальные условия жизни, здесь же они чрезвычайно тяжелы.

Если бы вы захотели ближе ознакомиться с городом и не удовольствовались для этого Шнитцлером, то вы не могли бы найти другого путеводителя [35]. Ни один книгопродавец не продает здесь какого-либо указателя достопримечательностей Петербурга. Знающие местные люди, которых вы спросите об этом, либо заинтересованы в том, чтобы не давать иностранцу исчерпывающих сведений, либо слишком заняты, чтобы вообще ему что-либо ответить. Единственное, чем заняты все мыслящие русские, чем они всецело поглощены,— это царь, дворец, в котором он пребывает, планы и проекты, которые в данный момент при дворе возникают. Поклонение двору, прислушивание к тому, что там происходит,— единственное, что наполняет их жизнь. Все стараются в угоду своему властителю скрыть от иностранца те или иные неприглядные стороны русской жизни. Никто не заботится о том, чтобы искренно удовлетворить его законное любопытство, все охотно готовы обмануть его фальшивыми материалами, и нужен большой критический талант для того, чтобы хоть сколько-нибудь успешно путешествовать по России. В условиях деспотизма любознательность является синонимом нескромности.

Возвращаюсь мысленно к своей прогулке на острова. Я очень сожалел, что мне не удалось увидеть императрицу. Говорят, что она прелестна, но ее считают фривольной и заносчивой. Кажется, действительно нужны какая-то возвышенность духа и вместе с тем легкомыслие, чтобы мириться с той жизнью, на которую она обречена. Она ни во что не вмешивается, ни о чем не спрашивает: всегда достаточно знаешь, если ничего не можешь сделать. Русская императрица поступает точно так же, как и все подданные царя: все прирожденные русские и все, проживающие в России, кажется, дали обет молчания обо всем, их окружающем. Здесь ни о чем не говорят и вместе с тем все знают. Тайные разговоры должны были бы быть здесь очень интересны, но кто отважится

их вести? Даже размышлять о чем-нибудь — значит навести на себя подозрение.

Еще недавно князь Репнин управлял и государством, и государем, но два года назад он попал в немилость, и с тех пор в России не произносится его имя, бывшее до того у всех на устах. С вершины власти он был низвергнут в глубочайшую пропасть, и никто не осмелился ни вспомнить, ни думать о его жизни — не только настоящей, но и прошлой. В России в день падения какого-либо министра его друзья должны стать немыми и слепыми. Человек считается погребенным тотчас же, как только он кажется попавшим в немилость [36]. Я говорю «кажется», потому что никто не решается говорить о том, кто уже подвергся этой печальной участи. Поэтому Россия не знает, существует ли сегодня министр, который еще вчера управлял всей страной.

К кому обратится когда-нибудь русский за защитой против этого заговора молчания высшего общества? Какой взрыв мести против самодержавия готовит это добровольное самоуничижение трусливой аристократии? Что делает русское дворянство? Оно поклоняется своему царю и становится соучастником всех преступлений высшей власти, чтобы самому истязать народ до тех пор, пока бог, которому этот господствующий класс служит и который им же самим создан, оставит плеть в его руках. Эту ли роль предназначило провидение дворянству в государственном строительстве обширнейшей в мире страны? В истории России никто, кроме государя, не выполнял того, что было его долгом, его прямым назначением,— ни дворянство, ни духовенство. Подъяремный народ всегда достоин своего ярма: тирания — это создание повинующегося ей народа. И не пройдет 50 лет, как либо цивилизованный мир вновь подпадет под иго варваров, либо в России вспыхнет революция, гораздо более страшная, чем та, последствия коей Западная Европа чувствует еще до сих пор.

Я замечаю, что и меня здесь боятся, потому что знают, что я пишу согласно своим убеждениям. Ни один иностранец не может переступить границу России, чтобы не подвергнуться самому строгому расследованию и жестокой критике. «Он серьезный человек, стало быть, может быть опасным». «Ненависть против деспотизма,— говорят здесь,— господствует во Франции пока еще глухо, без подлинного знания того, что у нас происходит. Но когда в один прекрасный день заслуживающий доверия

путешественник расскажет о тех реальных ужасах, которые не могут не броситься ему в глаза, нас увидят такими, какими мы являемся действительно. Не зная нас, Франция теперь на нас только лает, узнав нас, она начнет кусаться».

Вероятно, именно в силу этих соображений русские оказывают мне повсюду слишком много внимания, но эта внешняя предупредительность не может скрыть их затаенных опасений. Я не знаю еще, расскажу ли я об их стране все то, что думаю. Одно лишь знаю, что они совершенно правы, когда боятся именно того, что я расскажу всю правду.

У русских есть лишь названия всего, но ничего нет в действительности. Россия — страна фасадов. Прочтите этикетки — у них есть цивилизация, общество, литература, театр, искусство, науки, а на самом деле у них нет даже врачей. Стоит заболеть, схватить лихорадку, и приходится самому себя лечить или приглашать врача-иностранца. Если же вы случайно позовете живущего поблизости русского врача, то можете считать себя заранее мертвецом. Русская медицина еще не выросла из пеленок. Я с интересом читал бы любопытные секретные мемуары придворного врача в России, но я побоялся бы доверить ему свое лечение. Эти люди — более удачные мемуаристы, чем врачи. И в результате, если вы заболеете, попав к этому quasi-цивилизованному народу, для вас самое лучшее считать, что вы очутились среди дикарей, и предоставить все природе [37].

Вернувшись поздно ночью домой, я нашел у себя письмо, которое меня крайне приятно удивило. Благодаря ходатайству нашего посла я завтра буду допущен в придворную церковь и увижу бракосочетание великой княжны. Появиться во дворце до официального представления — значит нарушить все правила этикета, и я потому был далек от мысли удостоиться такой милости. Граф Воронцов, обер-церемониймейстер [38], даже не предупредив меня, чтобы не возбуждать во мне неосновательной надежды, послал курьера в Петергоф, находящийся на расстоянии 10 лье от С.-Петербурга, просить его величество решить мою участь на завтрашний день. Государь ответил, что он разрешает мне присутствовать при венчании дочери и что я буду представлен без особого церемониала завтра же вечером на балу.



Глава VI

Русский император. — Он внушает страх и сам в вечном страхе. — Внешность царя. — Николай не умеет улыбаться. — Болезнь императрицы. — Катастрофа с каблуком. — Дворцовая церковь. — Великокняжеская свадьба. — Татарский хан. — Строгий блюститель этикета.— Сын цареубийцы в роли шафера. — «Подпоручик Лейхтенбергский». — Воркующие голубки. — Капелла. — Старый митрополит. — Гроза.

Знаменательное совпадение! Сегодня, 14 июля 1839 года, — день разрушения Бастилии[39]. Начало наших революций и бракосочетание сына Евгения Богарне с дочерью императора России совпадают в один и тот же день по прошествии 50 лет!

Я только что вернулся из дворца, где присутствовал в придворной церкви при венчании по греческому обряду великой княжны Марии Николаевны с герцогом Лейхтенбергским. Но прежде чем описать все подробности этого торжества, я хочу рассказать об императоре Николае.

При первом взгляде на государя невольно бросается в глаза характерная особенность его лица — какая-то беспокойная суровость. Физиономисты не без основания утверждают, что ожесточение сердца вредит красоте лица. У императора Николая это малоблагожелательное выражение лица является скорее результатом тяжелого опыта, чем его человеческой природы. Какие долгие, жестокие страдания должен был испытать этот человек, чтобы лицо его внушало всем страх вместо того невольного расположения, которое обыкновенно вызывают благородные черты лица.

Тот, кто всемогущ и властен творить что захочет, несет на себе и тяжесть содеянного. Подчиняя мир своей

воле, он в каждой случайности видит тень восстания против своего всемогущества. Муха, которая не вовремя пролетит во дворце во время какого-либо официального приема, уже как будто унижает его. Независимость природы он считает дурным примером, каждое существо, которое не подчиняется его воле, является в его глазах солдатом, восставшим среди сражения против своего сержанта: позор падает на армию и на командующего. Верховным командующим является император России, и каждый день его — день сражения.

Лишь изредка проблески доброты смягчают повелительный взгляд властелина, и тогда выражение приветливости выявляет вдруг природную красоту его античной головы. В сердце отца и супруга человечность торжествует моментами над политикой государя. Когда он сам отдыхает от ига, которое по его воле над всеми тяготеет, он кажется счастливым. Такая борьба примитивного чувства человеческого достоинства с аффектированной суровостью властелина представляется мне очень интересной, и наблюдением за этой борьбой я был занят большую часть времени своего пребывания в церкви.

Император на полголовы выше обыкновенного человеческого роста. Его фигура благородна, хотя и несколько тяжеловата. Он усвоил себе с молодости русскую привычку стягиваться выше поясницы корсетом, чтобы оттянуть желудок к груди. Вследствие этого расширяются бока, и неестественная выпуклость их вредит здоровью и красоте всего организма. Это добровольное извращение фигуры, стесняя свободу движений, уменьшает изящество внешнего облика и придает ему какую-то деревянную тяжеловесность. Говорят, что, когда император снимает свой корсет и его фигура приобретает сразу прирожденные формы, он испытывает чрезвычайную усталость. Можно временно передвинуть свой желудок, но нельзя его уничтожить.

У императора Николая греческий профиль, высокий, но несколько вдавленный лоб, прямой и правильной формы нос, очень красивый рот, благородное овальное, несколько продолговатое лицо, военный и скорее немецкий, чем славянский, вид. Его походка, его манера держать себя непринужденно внушительны. Он всегда уверен, что привлекает к себе общие взоры, и никогда ни на минуту не забывает, что на него все смотрят. Мало того, невольно кажется, что он именно хочет, чтобы все взоры были обращены на него одного. Ему слишком часто повторяли,

что он красив и что он с успехом может являть себя как друзьям, так и недругам России.

Внимательно приглядываясь к красивому облику этого человека, от воли коего зависит жизнь стольких людей, я с невольным сожалением заметил, что он не может улыбаться одновременно глазами и ртом. Это свидетельствует о постоянном его страхе и заставляет сожалеть о тех оттенках естественной грации, которыми все восхищались в менее, быть может, правильном, но более приятном лице его брата, императора Александра. Внешность последнего была очаровательна, хоть и не лишена некоторой фальши, внешность Николая — более прямолинейная, но обычное выражение строгости придает ей иногда суровый и непреклонный вид. Если он менее привлекателен, то у него гораздо более силы воли, которую он часто бывает вынужден проявлять. Мягкость также охраняет власть, предупреждая противодействие, но эта искусная осторожность в применении власти — тайна, неизвестная императору Николаю. Он всегда остается человеком, требующим лишь повиновения, другие хотят также и любви.

Императрица обладает изящной фигурой и, несмотря на ее чрезмерную худобу, исполнена, как мне показалось, неописуемой грации. Ее манера держать себя далеко не высокомерна, как мне говорили, а скорее обнаруживает в гордой душе привычку к покорности. При торжественном выходе в церковь императрица была сильно взволнованна и казалась мне почти умирающей. Нервные конвульсии безобразили черты ее лица, заставляя иногда даже трясти головой. Ее глубоко впавшие голубые и кроткие глаза выдавали сильные страдания, переносимые с ангельским спокойствием; ее взгляд, полный нежного чувства, производил тем большее впечатление, что она менее всего об этом заботилась. Императрица преждевременно одряхлела, и, увидев ее, никто не может определить ее возраста. Она так слаба, что кажется совершенно лишенной жизненных сил. Жизнь ее гаснет с каждым днем; императрица не принадлежит больше земле: это — лишь тень человека. Она никогда не могла оправиться от волнений, испытанных ею в день вступления на престол [40]. Супружеский долг поглотил остаток ее жизни: она дала слишком многих идолов России, слишком много детей императору. «Исчерпать себя всю в новых великих князьях — какая горькая участь!» — говорила одна знатная полька, не считая нужным восторгаться на словах тем, что она ненавидела в душе.

Все видят тяжелое состояние императрицы, но никто не говорит о нем. Государь ее любит: лихорадка ли у нее, лежит ли она, прикованная болезнью, к постели, он сам ухаживает за нею, проводит ночи у ее постели, приготовляет, как сиделка, ей питье. Но едва она слегка оправится, он снова убивает ее волнениями, празднествами, путешествиями. И лишь когда вновь проявляется опасность для жизни, он отказывается от своих намерений. Предосторожностей же, которые могли бы предотвратить опасность, император не допускает: жена, дети, слуги, родные, фавориты — все в России должны кружиться в императорском вихре, с улыбкой на устах, до самой смерти, все должны до последней капли крови повиноваться малейшему помышлению властелина, оно одно решает участь каждого. И чем ближе кто-либо к этому единственному светилу, тем скорее сгорает он в его лучах; вот почему императрица умирает!

Сегодня утром, наскоро одевшись, я отправился в карете французского посла в дворцовую церковь и по дороге, проезжая по площадям и улицам, ведущим во дворец, внимательно следил за всем окружающим. Вблизи дворца я увидел войска, которые показались мне по своему внешнему виду не вполне соответствующими их громкой славе, но лошади у всех великолепные. Огромная площадь, отделяющая дворец государя от всего остального города, была усеяна придворными каретами, ливрейными лакеями, солдатами в форме всех цветов; наиболее заметными из них были казаки. Несмотря на обилие народа, нигде не наблюдалось особого скопления, до того обширна дворцовая площадь. Придворные кареты выглядят богато, но не очень заботливо содержатся и потому не кажутся элегантными. Плохо выкрашенные и еще хуже отполированные, они тяжелы на ходу и запряжены четверкой лошадей в чрезвычайно длинных постромках.

Занятый созерцанием новизны и блеска всего, что бросалось в глаза, я очутился перед грандиозным дворцовым перистилем, к которому среди тысячеголосого шума непрерывно подъезжали кареты с нарядной придворной знатью в сопровождении своих полудиких по внешности и таковых же в действительности лакеев, наряд которых по блеску и богатству почти не отличался от великолепного одеяния их господ.

Выходя поспешно из кареты, чтобы не потерять из виду тех, с которыми я должен был войти во дворец, я

едва почувствовал, что зацепился шпорой о подножку. Представьте же себе мое положение, когда я минуту спустя, при первом же шаге по великолепной дворцовой лестнице, заметил, что я потерял шпору и вместе с ней — что еще ужаснее — оторвался каблук, к которому шпора была прикреплена. Я был, таким образом, наполовину без обуви. Это злоключение, происшедшее как раз в тот момент, когда я должен был впервые предстать перед человеком столь же, по рассказам, педантичным в мелочах, сколь и могущественным, показалось мне истинным несчастьем. Русские насмешливы, и мысль послужить объектом для их шуток была для меня невыносима. Что делать? Вернуться к подъезду, чтобы искать там обрывки моей обуви? Но кареты, наверное, уже раздавили несчастный каблук, найти его было бы чудом, а если даже найти, то что с ним делать? Не в руках же внести его во дворец? На что же решиться? Оставить французского посла и вернуться домой? Но в такой момент это было бы скандалом. И в то же время появиться в таком виде пред глазами монарха и придворных — значит погубить себя в их мнении. Пришлось подчиниться неизбежному. Краснея, я постарался затеряться в толпе. Но в России, как я уже говорил, нигде нет толпы, в особенности же ее не было на этой роскошной лестнице нового Зимнего дворца, наиболее грандиозного и великолепного из дворцов всего мира. Я чувствовал, что моя природная робость еще значительно возросла благодаря этой смешной случайности, но я решил взять себя в руки и зашагал, возможно меньше прихрамывая, через бесконечные залы и помпезные галереи, проклиная в душе их яркий свет и колоссальную величину, так как они лишали меня всякой надежды избегнуть любопытных взоров придворной знати. Русские не только склонны к насмешке, они холодны, хитры, остроумны и маоделикатны, как все честолюбцы. Они особенно недоверчивы к иностранцам, суждений которых опасаются, так как считают, что мы не очень благожелательно к ним относимся. Это заранее делает их враждебно к нам настроенными, хотя внешне они кажутся вежливыми и гостеприимными.

Наконец не без труда я достиг дворцовой церкви и здесь мгновенно забыл все, и себя самого, и мое глупое затруднительное положение. Да и все окружающие были настолько поглощены происходящим, что никто почти не заметил дефекта моей обуви. Необычайность зрелища вернула мне хладнокровие и самообладание. Я снова стал

простым путешественником и вернулся к своей роли философски беспристрастного наблюдателя.

Еще два слова о моем костюме. Он был предметом длительной дискуссии, причем молодые атташе посольства советовали мне одеть мундир национальной гвардии, но я побоялся, что он не понравится государю, и явился в мундире генерального штаба. Меня предостерегали, что эта форма новая, здесь почти неизвестная и что она может послужить поводом для великих князей и самого императора ко всякого рода расспросам, которые смогут поставить меня в затруднительное положение. До сих пор, однако, никто на мой мундир не обратил ни малейшего внимания.

Церемониал венчания по греческому обряду продолжителен и величествен. В восточной церкви все служит символом. Блеск церковной службы, казалось мне, еще увеличивает великолепие дворцового торжества. Стены, плафоны церкви, одеяния священнослужителей — все сверкало золотом и драгоценными камнями. Здесь было столько сокровищ, что они могли поразить самое непоэтическое воображение. Это зрелище напоминает фантастичные описания из «Тысячи и одной ночи». Оно захватывает, как восточная поэзия, в которой ощущение служит источником чувства и мысли.

Дворцовая церковь не очень обширна. Она была наполнена представителями всех монархов Европы и Азии, несколькими иностранцами, подобно мне получившими разрешение присутствовать в составе дипломатического корпуса, женами послов и, наконец, придворными чинами. Нас отделяла балюстрада от полукруглого зала, в котором помещался алтарь, похожий на низкий четырехугольный стол. На клиросе видны были места, предназначенные для царской фамилии и остававшиеся пока пустыми.

Я мало видел могущего сравниться по великолепию и торжественности с появлением императора в сверкающей золотом церкви. Он вошел с императрицей в сопровождении всего двора, и тотчас мои взоры, как и взоры всех присутствующих, устремились на него, а затем и на всю императорскую семью. Молодые супруги сияли: брак по любви, в шитых золотом платьях и при столь пышной обстановке — большая редкость, и зрелище поэтому становилось еще гораздо интереснее. Так шептали вокруг меня, но я лично не верю этому чуду и невольно вижу во всем, что здесь делается и говорится, какой-либо полити-

ческий расчет. Император, быть может, и сам обманывается: он верит, что поступил с отеческой нежностью, в то время как в глубине души этот выбор был, наверное, обусловлен надеждой на какую-либо выгоду в будущем. Честолюбие подобно скупости: скупец рассчитывает даже тогда, когда, казалось бы, поддается бескорыстному влечению сердца.

Хотя присутствующих было много, а церковь невелика, тем не менее нигде не наблюдалось ни малейшего замешательства. Я стоял среди дипломатического корпуса, вблизи балюстрады, и мог легко наблюдать лица и движения всех высокопоставленных особ, которых объединил здесь долг и любопытство. Почтительное молчание не нарушалось ни малейшим звуком. Яркие солнечные лучи освещали внутренность церкви, жара в которой, как мне говорили, достигала 30 градусов. Позади государя виден был в длинной золотой одежде и в остроконечной, золотом вышитой шапке какой-то татарский хан, наполовину подвластный, наполовину независимый от русского государя. Этот маленький восточный князек, поставленный завоевательной политикой своего высокого покровителя в крайне двусмысленное положение, признал за благо вымолить у царя «всея Руси» разрешение принять в число своих пажей собственного сына, привезенного в Петербург, чтобы тем обеспечить ему соответственную будущность. Эта поверженная власть, которая служила рельефом для власти торжествующей, невольно напомнила мне о величии Рима.

Придворные дамы и жены послов цветущей гирляндой украшали церковь. В глубине последней, на первом плане, перед ротондой, поражающей богатством росписи своих стен, расположилась вся царская семья. Сверкающее под лучами солнца золото создавало впечатление божественного сияния над головой императора и его детей. Украшения и драгоценные камни дам блистали волшебным светом среди всех сокровищ Азии, покрывающих стены храма, в котором царская роскошь, казалось, соперничала с величием бога. Власть небесную здесь чтили, не забывая в то же время и о власти земной. Все было великолепно и достойно удивления, особенно если вспомнить то еще не слишком отдаленное время, когда брак дочери русского царя оставался совершенно незамеченным в Европе и когда Петр I объявлял, что ему принадлежит право завещать престол, кому он пожелает[41]. Какой прогресс за столь короткое время!

Когда размышляешь о дипломатических и других победах этой державы, еще недавно игравшей такую незаметную роль в судьбах цивилизованного мира, невольно спрашиваешь себя, не сон ли все это? Казалось, сам император не слишком еще привык ко всему перед ним происходившему, потому что он ежеминутно оставлял свое место и направлялся то в одну, то в другую сторону, чтобы исправить погрешности своих детей или духовенства против этикета. Если его зять стоял не на надлежащем месте, он заставлял его то на один-два шага выступить вперед, то отступить назад. Великая княжна, даже самые священнослужители и высокопоставленные чины двора — все, казалось, подчинены были мелочным указаниям верховного владыки. Я со своей стороны считал бы более достойным для монарха предоставить все своему естественному течению и думать в церкви только о боге, не заставляя каждого дрожать пред малейшей ошибкой против церковного ритуала или дворцового этикета. Но в этой своеобразной стране отсутствие свободы господствует повсюду, даже и у подножия алтаря. Дух Петра I властвует здесь над всеми еще и в настоящее время.

По окончании церемонии над головами жениха и невесты были подняты короны. Корону над великой княжной держал ее брат, цесаревич-наследник, причем император, снова покинув свое место пред алтарем, счел необходимым исправить несколько его позу, делая это с оттенком добродушия и педантизма, для меня совершенно непонятного. Корону над головой герцога Лейхтенбергского держал граф Пален, русский посол в Париже, сын слишком известного и слишком ревностного друга Александра I. Это воспоминание, которое строжайше изгнано не только из разговоров, но чуть ли и не из помыслов нынешних россиян, не покидало меня все время, пока граф Пален со свойственной ему благородной простотой выполнял возложенное на него почетное поручение, служившее предметом зависти у всех, стремившихся снискать расположение двора. Своим участием в священной церемонии он должен был призывать благословение неба на главу внучки Павла I. Это сближение имен было более чем странное, но, повторяю, никто, очевидно, об этом не думал: до такой степени политика в этой стране довлеет и над прошлым. Придворная лесть использует даже прошлое в интересах нынешнего дня. Тактичность кажется здесь необходимой лишь для тех, кто не обладает никакой

властью. Если б император подумал о том событии, о котором я невольно вспомнил, он, наверное, поручил бы кому-нибудь другому держать корону над головой своего зятя. Но все присутствующие удивлялись не этому, а лишь изумительной неподвижности рук, державших, несмотря на длительность и утомительность церемонии, короны над головами августейших молодых.

Юная невеста полна грации и чистоты. Она белокура, с голубыми глазами, цвет лица нежный, сияющий всеми красками первой молодости. Она и ее сестра, великая княжна Ольга, казались мне самыми красивыми из всех, находившихся в церкви. Счастливое сочетание преимущества положения с дарами природы.

Когда совершавший службу митрополит подвел молодых к их августейшим родителям, последние обняли их с трогательной сердечностью и вслед за тем императрица бросилась в объятия своего супруга: нежная сцена, более уместная в своей комнате, чем в церкви. Но в России властители — везде у себя дома, даже в божьем храме.

Перед благословением в церковь согласно обычаю были впущены два серых голубя. Они сейчас же уселись на золоченом карнизе, как раз над головами молодых, и там в продолжение всей службы нежно ворковали друг с другом.

Герцог Лейхтенбергский — молодой, высокого роста, крепко и хорошо сложенный человек. Черты его лица невыразительны, глаза красивы, но рот неправильной формы и слишком выдается вперед. Вся внешность его лишена благородства, и лишь мундир, очень к нему идущий, придает его фигуре некоторую элегантность. В общем, он похож скорее на хорошего подпоручика, чем на герцога. Из его родных никто не прибыл в Петербург, чтобы присутствовать на торжестве бракосочетания. Во время всей службы он, видимо, испытывал лишь одно желание — остаться скорее наедине со своей молодой женой; и взоры всего общества невольно обращались от них к группе двух голубей, взмостившихся над алтарем. Я не обладаю наивной веселостью писателей доброго старого времени и потому воздержусь от описания некоторых пикантных деталей, как бы интересны они ни были. Они заставляли в этот торжественный день в придворной церкви невольно улыбаться не только серьезных, высокопоставленных мужчин, но и самых добродетельных дам.

Во время долгого обряда венчания есть момент, когда все присутствующие должны стать на колени. Император прежде, чем последовать общему примеру, окинул все собрание быстрым, не очень милостивым взглядом, как бы желая удостовериться, не остался ли кто-либо стоять. Это было совершенно излишне, так как, хотя там были и католики, и протестанты, никому из иностранцев, конечно, и в голову не пришло не подчиниться внешним образом всем обрядам греческой церкви. Возможность для императора усомниться в этом подтверждает сказанное мною раньше и позволяет повторить, что какая-то беспокойная суровость является обычным выражением его лица. Боится ли автократия в наши дни, когда возмущение носится в воздухе, восстания против своего всемогущества? Этот страх является резким и ужасающим контрастом самой идее самодержавия. Абсолютная власть становится слишком страшной, когда она сама испытывает страх перед окружающим.

Я уже упомянул, что все опустились на колени, и император — после всех; молодые супруги были повенчаны. Императорская фамилия и вся толпа поднялись. И в тот момент, когда духовенство и хор запели «Тебе, бога, хвалим», выстрелы из пушек возвестили городу о совершившемся бракосочетании. Воздействие музыки, сопровождаемой пушечными выстрелами, звоном колоколов и отдаленными кликами народа, не поддается описанию. Всякий музыкальный инструмент изгнан из греческой церкви, и одни лишь человеческие голоса воздают в ней хвалу господу. Эта строгость восточного ритуала, благоприятная искусству, простоту коего она сохраняет, служит вместе с тем источником поистине божественного песнопения. Мне казалось, что я слышу издали биение сердец 60 миллионов подданных. Живой оркестр сопровождал, не заглушая, торжественно-радостное пение духовенства. Я был взволнован: музыка заставляет забыть на время все, даже деспотизм.

Я могу сравнить эти хоры без аккомпанемента только с Miserere в святую неделю в Риме, в Сикстинской капелле [42], с той лишь разницей, что нынешняя капелла папы является слабой тенью того, чем она была раньше: среди руин Рима одной руиной стало больше.

В середине прошлого века, когда итальянская школа находилась во всем своем расцвете, древние греческие напевы были переделаны без особого искажения специально выписанными из Рима в Петербург композито-

рами[43]. Эти иностранцы создали шедевры, потому что весь свой талант, все свое искусство они обратили на воссоздание античного творчества. Их труд стал классическим творением, а исполнение императорской капеллой было вполне достойно их замыслов. Голоса сопрано, то есть детей, так как ни одна женщина не входит в состав капеллы, звучат с исключительной чистотой и мягкостью; голоса басов сильны, густы и поражают своей мощностью. Я не помню, слышал ли я когда-нибудь раньше подобное пение.

Для любителя искусства императорская капелла стоит того, чтобы ради нее одной предпринять путешествие в Петербург. Piano, forte, все тончайшие оттенки в экспрессии соблюдаются с глубоким чувством, поразительным искусством и исключительной согласованностью. Русский народ музыкален, в этом нельзя усомниться, услышав его церковное пенье. Я слушал, не смея перевести дыхания, и мысленно всеми силами призывал нашего ученого друга Мейербера для объяснения всех красот, глубоко мною прочувствованных, хотя и не вполне осознанных[44]. Он понял бы их и вдохновился бы ими, потому что его восхищение великими образцами творчества заключается в достижении их совершенств.

Во время молебна, в тот момент, когда один хор как бы отвечает другому, раскрылись царские врата, за которыми видны были священники в сверкающих драгоценными камнями камилавках и в золотом облачении, на котором величественно выделяются их серебристо-белые бороды; у некоторых они ниспадают до пояса. Все присутствующие были так же блестящи, как и священнослужители. Этот двор великолепен, и военный мундир блистает в нем во всей своей силе. Я с удивлением смотрел, как здесь почитали господа всем этим блеском, всеми этими сокровищами. Священная музыка была выслушана непосвященной аудиторией в молчании, с глубокой сосредоточенностью, способной сделать прекрасным и менее божественное пенье.

Совершавший службу митрополит не нарушал величия этой картины. Он некрасив, но это искупается его глубокой старостью; его маленькая фигурка напоминает страждущую ласочку. Голова его убелена сединами, он кажется истомленным и больным. В конце молебна император подошел к нему и, склонившись, почтительно поцеловал его руку. Автократ никогда не преминет использовать возможность дать пример своей покорности, когда

это может пойти ему на пользу [45]. Бедный митрополит, умиравший, казалось, среди своей славы, император, величественно склонившийся пред духовной властью, и далее — молодые супруги, императорская фамилия и, наконец, весь двор, наполнявший и оживлявший церковь,— все это вместе представляло собой поразившую меня картину, достойную кисти художника.

Перед началом службы я боялся, что митрополит упадет в обморок: двор заставил так долго ждать своего появления, вопреки изречению Людовика XVIII: «Точность есть вежливость королей».

По окончании торжественного венчания по греческому обряду должно было последовать брачное благословение католическим священником в одной из дворцовых зал, специально на этот день приспособленной для данной цели. Не имея разрешения присутствовать ни на обряде католического бракосочетания, ни на следовавшем за ним банкете, я в сопровождении большей части придворных вышел из дворца, радуясь возможности подышать наконец свежим воздухом.

Когда моя карета пересекала необозримую по своей величине дворцовую площадь, поднялся сильный ветер, вздымавший облака пыли. С трудом, как в тумане, я различал быстро двигавшиеся в разных направлениях по ужасной мостовой экипажи, как бы старавшиеся скорее укрыться от надвигавшейся бури. Невероятная пыль, подымающаяся летом при малейшем ветре,— это настоящее бедствие Петербурга, заставляющее предпочитать здесь зиму с ее спокойным снежным покровом. Не успел я войти в гостиницу, как разразилась страшная гроза, сильно напугавшая, вероятно, суеверных горожан как дурная примета. Ночной мрак среди бела дня, удушающая жара, беспрерывно повторяющиеся раскаты грома, не приносящие дождя, ураган, способный опрокинуть дома,— таково было зрелище, ниспосланное небом во время царского свадебного банкета. Но и тут благодушные россияне считали возможным утешаться тем, что гроза длилась недолго и что воздух после нее стал чище. Я невольно с каждым разом все больше убеждаюсь, что между Францией и Россией еще непоколебимо стоит китайская стена: славянский язык и славянский характер. Вопреки всем притязаниям русских, порожденным Петром Великим, Сибирь начинается от Вислы.





Глава VII

Представление Николаю. — Маски императора. — Умышленное забвение Александра I — «Цивилизация Севера» в исполнении придворных. — Русский немец на престоле. — Бал во дворце. — Знаменательный разговор с императрицей. — Безрадостное веселье. — Ревность Александра I. — Император в кругу семьи. — Грузинская царица. — Женевец в мундире национальной гвардии. — Петербург ночью. — Путешествие Екатерины II в Крым.

В 7 часов вечера я вместе с несколькими другими иностранцами вернулся во дворец, где мы должны были быть представлены императору и императрице.

И снова мне пришлось убедиться, что император ни на минуту не может забыть ни того, кто он, ни того внимания к себе, которое он постоянно вызывает у всех его окружающих. Он вечно позирует и потому никогда не бывает естествен, даже тогда, когда кажется искренним. Лицо его имеет троякое выражение, но ни одно из них не свидетельствует о сердечной доброте. Самое обычное — это выражение строгости, второе, более редкое, но более подходящее к нему,— выражение какой-то особой торжественности и, наконец, третье — выражение, производимое его обычным видом. Но и это случайное, обманчиво любезное выражение не может произвести должного впечатления, так как оно, как и все остальные, совершенно меняя черты лица, внезапно появляется и так же внезапно исчезает, не оставляя ни малейшего следа и ничуть не влияя на новое, совершенно иное выражение. Это — быстрая и полная перемена декораций, не подготовленная никаким переходом, или же маска, которую по желанию надевают и снимают. Император всегда в своей роли, которую он исполняет как большой актер. Масок у него

много, но нет живого лица, и, когда под ними ищешь человека, всегда находишь только императора.

Думаю, что это, пожалуй, можно даже поставить ему в заслугу: он добросовестно выполняет свое назначение. Он обвинял бы самого себя в слабости, если бы мог допустить, чтобы кто-нибудь хоть на мгновение подумал, что он живет, думает и чувствует, как обыкновенные люди. Не разделяя ни одного из наших чувств, он всегда остается лишь верховным главой, судьей, генералом, адмиралом, наконец, монархом, и ничем другим. Каким утомленным он должен почувствовать себя к концу жизни!

Люди, близко знавшие императора Александра, хвалят его за совершенно иное. Хорошие и дурные черты характера обоих братьев были совершенно противоположны; они не имели ничего общего между собой и никогда не питали симпатии друг к другу. Воспоминание о покойном императоре здесь теперь не очень поощряется, что согласуется и с общей политикой забывать о предшествующем царствовании. Петр Великий гораздо ближе императору Николаю, чем его брат Александр, и потому Петр еще и теперь в большой моде. Хороший тон повелевает здесь превозносить предков императора и поносить его непосредственных предшественников.

Нынешний монарх только в кругу семьи забывает о своем величии. Только здесь вспоминает он, что человек имеет свои прирожденные радости и удовольствия, независимые от его государственных обязанностей. По крайней мере, я хочу думать, что это бескорыстное чувство привязывает его к семейному очагу. Правда, семейные добродетели облегчают ему, без сомнения, управление народом, обеспечивая всеобщее уважение, но я думаю, что он остался бы им верен и без этих соображений [46]. У русских верховная власть почитается, подобно религии, авторитет которой остается всегда великим независимо от личных достоинств священнослужителей.

Если бы я жил всегда в Петербурге, я постарался бы приблизиться к двору — не из любви к власти, не из жадности или детского тщеславия, а исключительно из желания найти какой-либо способ проникнуть в душу этого исключительного человека, так сильно отличающегося от всех смертных. Его гордое равнодушие, его черствость — не прирожденный порок, а неизбежный результат того высокого положения, которое не сам он для себя избрал и покинуть которое он не в силах. Как бы то ни было, но совершенно особая судьба русского императора внушает

мне не только глубокий интерес, но даже и сострадание: можно ли не сочувствовать его вечному одиночеству, его величественной ссылке?

Что касается двора, то чем более его наблюдаешь, тем более испытываешь сочувствие к человеку, который его возглавляет, особенно здесь, в России. Русский двор напоминает театр, в котором актеры заняты исключительно генеральными репетициями. Никто не знает хорошо своей роли, и день спектакля никогда не наступает, потому что директор театра недоволен игрой своих артистов. Актеры и директор бесплодно проводят всю свою жизнь, подготовляя, исправляя и совершенствуя бесконечную общественную комедию, носящую заглавие: «Цивилизация севера». Если одно лишь лицезрение этих усилий утомительно, то что должны при этом чувствовать исполнители ролей! Нет, мне положительно более нравится Азия: там во всем более гармонии; здесь же, в России, на каждом шагу вы все больше поражаетесь и странными результатами новых условий жизни, и неопытностью людей. Все это, конечно, усердно скрывается от глаз наблюдателя, но опытному путешественнику не надо многих усилий, чтобы заметить то, что от него желают скрыть.

Государь по своему рождению скорее немец, нежели русский, и потому красивые черты его лица, правильность его профиля, его военная выправка более напоминают о Германии, чем характеризуют Россию. Его немецкая натура должна была долго мешать ему стать тем, чем он является теперь,— истинно русским. Кто виноват? Не будь этого, может быть, он был бы простым, добродушным человеком. Представьте же себе, скольких усилий стоило ему сделаться верховным главой славян! Не каждый становится деспотом, потому что он хочет быть им. Необходимость вечно побеждать самого себя, чтобы властвовать над другими, быть может, объясняет и чрезмерный патриотизм императора Николая.

Чтобы освободиться, насколько возможно, от ярма, которое он сам на себя налагает, он мечется, как лев в клетке, как больной в лихорадке. Он ездит верхом, совершает прогулки, делает смотры, производит маневры, катается по реке, устраивает празднества, производит ученье флоту — и все это в один и тот же день. Во дворце больше всего боятся досуга, и отсюда легко заключить, какая царит здесь скука. Император беспрерывно путешествует, он проезжает по крайней мере 1500 лье каждый

сезон и не допускает, чтобы кто-либо не был в состоянии проделать то же, что и он. Императрица любит его, боится оставлять его одного, повсюду следует за ним, поскольку это позволяют ей слабые силы, и умирает от усталости. Она невольно привыкла к существованию чисто внешнему, и этот рассеянный образ жизни, ставший необходимым для ее души, убивает ее тело.

Я был представлен сегодня вечером государю согласно его распоряжению не французским послом, как предполагалось, а обер-церемониймейстером двора. Все иностранцы, удостоившиеся вместе со мной указанной чести, собрались в одной из зал, через которую должны были проследовать высочайшие особы для открытия бала. Эта зала находится перед большой, заново отделанной, вызолоченной галереей, которую двор со времени пожара еще не видел. Мы прибыли к установленному часу и должны были долго ждать появления государя. Со мною было несколько французов, один поляк, один женевец и несколько немцев. На противоположной стороне залы красовался ряд придворных дам.

Император принял нас с изысканной любезностью. С первого взгляда в нем виден человек, обязанный и привыкший щадить самолюбие того, с кем он говорит, и каждый из нас сразу же почувствовал, какого мнения о нем государь, а стало быть, и все остальные.

Чтобы дать мне понять, что он без малейшего недовольства смотрит на мое намерение объехать его империю, государь милостиво сказал мне, что я должен проехать по крайней мере до Москвы и Нижнего, дабы составить себе истинное представление о стране. «Петербург — русский город, но это — не Россия».

Императрица, когда видишь ее вблизи, пленяет своею наружностью, и звук ее голоса настолько же мягок и нежен, насколько голос ее супруга строг и повелителен.

Она спросила меня, прибыл ли я в Петербург в качестве простого туриста. Я поспешил ответить ей утвердительно.

— Я знаю, что вы любознательны.

— Да, государыня, любознательность привела меня в Россию, но на этот раз я менее всего раскаиваюсь в своем желании объездить весь свет.

— Вы думаете?

— Мне кажется, что в этой стране так много удивительного, что для того, чтобы поверить этому, надо все видеть собственными глазами.

— Я желала бы, чтобы вы многое здесь увидели и хорошо все осмотрели.

— Желание вашего величества является для меня большим поощрением.

— Если вы составите себе хорошее мнение о России, вы, наверное, выскажете его. Но это будет бесполезно, вам не поверят, ибо нас плохо знают и не хотят знать лучше.

Эти слова в устах императрицы меня поразили, так как они выдали мысли, которыми она была поглощена. В то же время мне показалось, что они являются знаком некоторого благоволения ко мне, выраженного с редкой простотой и любезностью. Императрица с первого же взгляда внушает к себе столько же доверия, сколько и уважения. Сквозь вынужденную дворцовым этикетом сдержанность слов и обращения видишь, что у нее есть сердце. Несчастье придает ей исключительное очарование: она более чем императрица, она — женщина.

Праздник, последовавший за нашим представлением, был одним из самых великолепных зрелищ, которые мне пришлось на своем веку видеть. Это была феерия, и восторженное удивление, которое вызывала у всего двора каждая зала восстановленного за один год дворца, придавало холодной торжественности обычных празднеств какой-то особый интерес. Каждая зала, каждая картина ошеломляла русских царедворцев, присутствовавших при катастрофе, но не видевших нового дворца после того, как этот храм по мановению их господина восстал из пепла. Какая сила воли, думал я при виде каждой галереи, куска мрамора, росписи стен. Стиль украшений, хотя они закончены лишь несколько дней тому назад, напоминает о столетии, в которое этот дворец был воздвигнут: все, что я видел, казалось старинным. В России копируют все, даже время.

Танец, который чаще всего встречается в этой стране на великосветских балах, не нарушает обычного течения мыслей танцующих. Это размеренная, согласованная с ритмом музыки прогулка кавалера об руку со своей дамой. Сотни пар следуют одна за другой в торжественной процессии через необозримые залы всего дворца. Бесконечная лента вьется из одной залы в другую, через галереи и коридоры, куда влечет ее возглавляющий шествие властелин. Это называется «танцевать полонез». Раз посмотреть этот танец, быть может, и занятно, но для

людей, обязанных всю жизнь так танцевать, бал должен превращаться в наказание.

Этот петербургский полонез невольно заставил меня вспомнить о другом придворном бале, во времена Венского конгресса в 1814 году. Никакой этикет не соблюдался тогда на этих блестящих европейских празднествах, каждый находился где ему угодно среди монархов всего мира. Случайно я очутился между императором Александром и его супругой, урожденной принцессой Баденской. Я продолжал танцевать, чувствуя, однако, некоторое стеснение от соседства столь высоких особ. Вдруг цепь танцующих остановилась неизвестно по какой причине, так как оркестр продолжал играть. Император, шедший в следующей за мной паре, через мое плечо обратился довольно резко к императрице, которая шла в паре впереди меня, со словами: «Продолжайте же!» Государыня обернулась и, увидев императора танцующим с дамой, которой он уже несколько дней оказывал особое внимание, проговорила с неописуемым выражением: «Пожалуйста, будьте вежливее!» Государь, посмотрев на меня, закусил губы. Кортеж двинулся вперед, и полонез возобновился [47].

Блеск главной галереи в Зимнем дворце положительно ослепил меня. Она вся покрыта золотом, тогда как до пожара она была окрашена лишь в белый цвет. Это несчастье во дворце дало возможность императору проявить свою страсть к царственному, я сказал бы даже, божественному великолепию.

Послы всей Европы были приглашены на празднество, чтобы воочию убедиться в исключительном всемогуществе правительства. Один из величайших в мире дворцов, заново восстановленный в течение одного года, — какой объект для восторженного удивления людей, привыкших дышать воздухом двора!

Еще более достойной удивления, чем сверкающая золотом зала для танцев, показалась мне галерея, в которой был сервирован ужин. Она еще не вполне закончена отделкой, люстры из белой бумаги, специально устроенные для временного освещения галереи, имели фантастический, очень понравившийся мне вид. Это импровизированное для свадебного торжества освещение далеко, конечно, не соответствовало обстановке волшебного дворца, но оно давало яркий, почти солнечный свет, и для меня этого было достаточно. Во Франции благодаря успехам индустрии мы уже почти забыли, что существуют свечи, в России же обычно еще до сих пор употребляются

восковые свечи [48]. Стол для ужина был сервирован с исключительным богатством. Вообще на этом празднестве все представляется колоссальным, и невольно затрудняешься решить, что более поражает: эффект ли общего ансамбля или же размеры и качество отдельных предметов. На тысячу человек в одном зале был сервирован один стол!

Среди этой тысячи лиц, блиставших в большей или меньшей степени золотом и бриллиантами, находился и виденный мною сегодня утром в церкви киргизский хан в сопровождении своего сына и свиты. Я заметил также старую грузинскую царицу, лишенную более 30 лет назад своего престола. Эта несчастная женщина влачит свои дни без всяких почестей при дворе победителей. Ее лицо смугло, как у человека, привыкшего ко всем трудностям лагерной жизни, а платье ее вызывало общий смех. Мы легко смеемся над несчастьем, если оно воплощается в отталкивающей внешности. Эта манера заменять сострадание насмешкой, конечно, неблагородна, но я, сознаюсь, не мог остаться серьезным, когда увидел голову царицы, украшенную чем-то вроде кивера, с которого ниспадало какое-то чудовищное покрывало. Остальной наряд соответствовал ее головному убору, и в то время как все придворные дамы были в платьях с длинными тренами, эта восточная царица появилась в короткой, сверху донизу покрытой вышивками юбке. Она возбуждала смех и внушала страх, до такой степени безвкусен был ее наряд, столько тоски и вместе с тем придворной фальши было в ее лице, столько отталкивающего в ее чертах и неграциозного во всей ее фигуре [49].

Национальный наряд русских придворных дам импозантен и вместе с тем старомоден. Они носят на голове какое-то сооружение из дорогой материи. Это головное украшение напоминает мужскую шляпу, сверху несколько укороченную и без донышка, так что верхняя часть головы остается открытой. Диадема, вышиной в несколько дюймов, украшенная драгоценными камнями, приятно обрамляет лицо, совершенно его не закрывая. Она представляет собой старинный головной убор, придает женскому облику оттенок благородства и оригинальности, очень идет к красивым лицам и еще более уродует некрасивые. К сожалению, последние весьма часто встречаются при русском дворе, так как только смерть освобождает придворных дам — даже самых престарелых — от их звания. Вообще, приходится повторить, что красивые женщины

в Петербурге встречаются редко, но в высшем свете грация и элегантность часто заменяют собою правильность черт лица и стройность фигуры. Я встретил лишь несколько грузинок, соединяющих в себе и красоту, и грацию. Эти светила сверкают среди женщин севера, как звезды на темном небе южных ночей. Форма придворных дамских платьев, с длинными рукавами и тренами, носит отчасти восточный характер и придает всему кругу придворных дам величественный вид.

Довольно странный случай дал мне возможность познакомиться с изысканной вежливостью государя. В разгаре бала один из церемониймейстеров указал тем из иностранцев, которые впервые были во дворце, их места за столом во время ужина. «Когда вы увидите, что бал закончился,— сказал он,— последуйте за всем обществом в галерею; там вы увидите большой сервированный стол; направьтесь к правой стороне его и займите первые свободные места».

Для дипломатического корпуса, иностранцев и всех придворных был накрыт один-единственный стол на тысячу кувертов, но направо от входа, несколько впереди, находился еще небольшой круглый стол на восемь персон.

Присутствовавший в числе иностранцев молодой и образованный женевец представлялся государю в тот же вечер в мундире национальной гвардии, не особенно понравившемся императору. Тем не менее юный швейцарец чувствовал себя совершенно свободно. По природному ли самодовольству, из-за республиканской ли беззастенчивости или, наконец, просто по душевной простоте он совершенно не обращал внимания ни на окружавших его особ, ни на то впечатление, которое он на них производит. Я даже слегка завидовал его поразительной самоуверенности, которой сам совершенно не обладаю. Моя манера держаться, вовсе несхожая с его манерой, привела тем не менее к одному и тому же результату: император обходился с нами обоими одинаково любезно.

Один опытный и умный человек полусерьезно-полушутя советовал мне принять перед императором робкий и почтительный вид, если я хочу ему понравиться. Этот совет был совершенно излишен, так как я по натуре своей настолько робок и застенчив, что пришел бы в смущение, если бы должен был зайти в хижину угольщика и с ним познакомиться: очевидно, не напрасно имеешь в своих жилах немецкую кровь. Я обладаю поэтому уже по при-

роде достаточной дозой робости, необходимой для успокоения болезненного самолюбия царя, который был бы столь же величествен, каким он всегда желает казаться, если бы он и меньше был занят мыслью, что кто-нибудь может оказать ему недостаточно почтительности. Новое подтверждение того, что в этом дворце все проводят время исключительно в генеральных репетициях. Но это беспокойство императора о священном величии его особы не всегда, однако, является у него господствующим.

Я уже говорил, что женевец, не разделяя моей внушенной старинными понятиями скромности, совершенно не испытывал никакого смущения. Он молод и сын своего времени — этим все объясняется. И я невольно, не без чувства зависти, удивлялся его спокойствию и непринужденности всякий раз, когда император с ним заговаривал.

Обходительность государя была, однако, скоро подвергнута молодым швейцарцем более решительному испытанию. Войдя в предназначенную для банкета галерею, юный республиканец направился, согласно полученным указаниям, направо, увидел здесь небольшой круглый стол, совершенно еще свободный и бесстрашно один за ним уселся. Несколько минут спустя, после того как все гости заняли свои места за большим столом, вошел император в сопровождении самых приближенных к нему лиц — должен заметить, что императрицы с ним не было,— и сел за тот же круглый стол, против швейцарского национального гвардейца, продолжавшего сидеть на своем месте с тем же поражавшим меня невозмутимым спокойствием.

Одного места, однако, не хватало, так как император совершенно не рассчитывал на этого неожиданного девятого гостя. Тогда с вежливостью, изысканность которой граничит с сердечной добротой, государь шепотом приказал лакею принести лишний стул и прибор, что и было исполнено тихо и без всякого замешательства. Молодой же швейцарец, чуждый всякого смущения, хотя он и заметил, что уселся там помимо желания императора, невозмутимо поддерживал во время ужина беседу со своими двумя ближайшими соседями. Я думал, что он поступает так из тактичности, не желая привлекать к себе общего внимания, и что он ждет лишь момента, когда государь встанет из-за стола, чтобы подойти к нему, принести свои извинения и объяснить происшедшее недоразумение. Ничуть не бывало! По окончании ужина мой

простак, далекий от этой мысли, нашел, казалось, вполне естественной оказанную ему честь и, вернувшись вечером домой, вероятно, попросту отметил в своем дневнике: «Ужин с императором».

Но отвлекаясь от лиц, меня окружавших, я хочу еще упомянуть о том, что доставило мне на этом балу неожиданное удовольствие и что осталось совершенно незамеченным всеми остальными: я говорю о том впечатлении, которое произвели на меня величественные явления северной природы. Днем температура воздуха достигала 30 градусов и, несмотря на вечернюю прохладу, атмосфера во дворце была удушливая. Едва встав из-за стола, я поспешно направился в амбразуру открытого окна. Здесь я забыл обо всем окружающем и не мог оторваться от поразительных световых эффектов, которые можно наблюдать лишь на севере в волшебно светлые полярные ночи. Гряды темных, густых облаков разделяли небо на отдельные зоны. Был первый час ночи. Ночи в Петербурге в это время уже начались, но были еще так коротки, что едва хватало времени их заметить, как на востоке появлялась предрассветная заря. Дневной ветер улегся, и в прорывах между неподвижными облаками виднелось ослепительно белое небо, похожее на отделенные друг от друга серебряные пластинки. Этот свет отражался на поверхности заснувшей в своих берегах Невы, лениво катившей светлые, будто молочные или перламутровые воды.

Перед моими глазами расстилалась большая часть Петербурга с его набережными, церквами и колокольнями. Краски этой картины были неописуемы. Остатки погашенной утренней зарей иллюминации еще светились под портиком биржи, здания в греческом стиле, с театральной помпезностью обрамляющего остров, образуемый Невой в том месте, где она разделяется на два главных рукава. Освещенные колонны этого здания, неуместный стиль которого в этот час ночи и на отдельном расстоянии не так был заметен, отражались в белых водах Невы [50]. Весь остальной город казался голубым, как даль в картинах старинных мастеров. Это поистине фантастическая картина города в ультрамариновых тонах, обрамленная золоченым окном Зимнего дворца, создавала поразительный контраст со светом люстр и всей пышностью внутренней его обстановки. Казалось, будто весь город, небо, море, вся природа конкурируют с блеском Зимнего дворца и принимают участие в пышном праздне-

стве, устроенном для своей дочери властителем этой беспредельной страны.

Я был совершенно погружен в созерцание этой волшебной картины, когда вдруг неожиданно услышал нежный женский голос: «Что вы делаете здесь, маркиз?»

— Государыня, я восхищаюсь; сегодня я ничего другого делать не могу.

Это была императрица; она очутилась одна вместе со мной в амбразуре окна, похожего на открытый, выходящий на Неву павильон.

— Я задыхаюсь, — продолжала государыня, — это менее поэтично, нежели то, чем вы по справедливости восхищаетесь. Картина действительно великолепна. Я уверена, что только мы вдвоем и наблюдаем здесь эти поразительные световые эффекты.

— Все, что я вижу здесь, государыня, ново для меня, и я никогда не перестану сожалеть о том, что не приехал в Россию в молодости.

— Можно всегда оставаться молодым — сердцем и воображением.

Я не решался ей что-либо ответить, так как у государыни, как и у меня, ничего другого от молодости не осталось, и я боялся дать ей это почувствовать. Удаляясь, императрица с мягкостью, которая ее так существенно отличает, проговорила:

— Я буду вспоминать о том, что я здесь вместе с вами страдала и восхищалась. Я не совсем ухожу, мы с вами сегодня вечером еще увидимся.

Прежде чем покинуть галерею и перейти в бальную залу, я снова подошел к другому окну, выходящему во внутренний двор, и здесь внимание мое привлекло зрелище в совершенно другом жанре, но столь же неожиданное и поразительное, как восход солнца на прекрасном небе Петербурга. Двор Зимнего дворца, четырехугольный, как двор Лувра, во время бала постепенно наполнялся народом [51]. Предутренний туман рассеялся, наступал день, и я мог ясно видеть эту толпу, немую от восхищения, неподвижную, молчащую, как бы пораженную блеском дворца своего властителя и с какой-то животной радостью вдыхающую запах царского банкета. Весь двор был густо заполнен толпой, так что не видно было ни одного вершка свободной земли. И все же эта толпа, этот молчаливый восторг и ликование народа на глазах своего монарха кажутся мне в деспотической стране подозрительными. Народ радуется веселью своих

господ, но веселится он при этом очень печально. Страх и угодливость простых смертных, гордость и презрительная надменность правителей — единственные чувства, которые могут жить под гнетом русской автократии.

Среди всех этих петербургских празднеств я не могу забыть о путешествии императрицы Екатерины в Крым и о бутафорских фасадах деревенских изб, устроенных на известном расстоянии друг от друга из раскрашенных досок и полотна, чтобы показать торжествующей монархине, как под ее эгидой пустыни заселились народом [52]. Такие же помыслы владеют умами русских и по сие время. Каждый старается замаскировать пред глазами властелина плохое и выставить напоказ хорошее. Это какой-то перманентный заговор беззастенчивой лести, заговор против истины с единственной целью доставить удовлетворение тому, кто, по их мнению, желает блага для всех и это благо творит.

Я замечаю, что начинаю говорить языком парижских радикалов. Но хотя я в России демократ, я тем не менее во Франции остаюсь подлинным аристократом. Разве крестьянин из окрестностей Парижа, разве самый мелкий горожанин во Франции не во много раз свободнее, чем самый знатный вельможа в России? Нужно много путешествовать для того, чтобы постигнуть, в какой мере человеческое сердце подвержено оптическим обманам.

Я вернулся к себе домой, ошеломленный величием и великолепием императора и еще более пораженный восхищением народа теми благами, которых он не имеет, никогда не получит и о которых он даже помышлять не смеет. Если бы я не видел ежедневно, сколько честолюбивых эгоистов порождает свобода, я с трудом мог бы поверить, что деспотизм может порождать столько бескорыстных философов.





Глава VIII

Колосс на глиняных ногах. — Императрица заискивает. — Бал в Михайловском дворце. Французская литература под запретом. — «Мы продолжаем дело Петра Великого». — Дитя Азии. — Неловкий камер-юнкер. — Минеральный кабинет. — Тирания протекции.

Надо быть русским, мало того, самим императором, чтобы противостоять усталости от петербургской жизни в настоящее время. Вечером празднества, какие только в России и можно увидеть, утром поздравления во дворце, приемы, публичные празднества, парады на суше и море, спуск 120-пушечного корабля на Неву в присутствии двора и всего города. Все это поглощает мои силы и дает обильную пищу моему воображению.

Когда я говорю, что весь город присутствовал при спуске на воду судна, самого большого, которое Нева когда-либо несла на своих водах, не следует думать, что на этом морском празднике действительно присутствовала несметная толпа народа: русские менее всего испытывают нужду в пространстве. Те 400—500 тысяч человек, которые живут в Петербурге, отнюдь его не заселяя, теряются в безмерном просторе города, сердце которого сделано из гранита и металла, тело — из гипса и цемента, а конечности — из раскрашенного дерева и гнилых досок. Эти доски стоят здесь, как стены вокруг пустынного болота. Колосс на глиняных ногах, этот город сказочной роскоши не похож ни на одну из столиц цивилизованной Европы, хотя при его основании их всех копировали.

Я видел Венский конгресс, но я не припомню ни одного торжественного раута, который по богатству драгоценностей, нарядов, по разнообразию и роскоши мундиров, по величию и гармонии общего ансамбля мог бы

сравниться с праздником, данным императором в день свадьбы своей дочери в Зимнем дворце, год назад сгоревшем и теперь восставшем из пепла по мановению одного человека. Да, Петр Великий не умер. Его моральная сила живет и продолжает властвовать. Николай — единственный властелин, которого имела Россия после смерти основателя ее столицы [53].

Вечером, к концу бала, когда я по обыкновению держался в стороне, императрица приказала дежурным адъютантам разыскать меня. В течение четверти часа они искали меня по всем залам, в то время как я продолжал любоваться красотами северной ночи, стоя у того же окна, у которого меня покинула императрица. Я оставил это место лишь на один момент, когда вблизи проследовали их величества. Но так как они меня не заметили, я вернулся к окну и продолжал наблюдать поэтическую картину восхода солнца. Здесь нашли меня посланные императрицы.

— Я уже давно ищу вас, маркиз. Почему вы избегаете меня?

— Государыня, я два раза становился на пути вашего величества, но вы не замечали меня.

— Это уж ваша вина, потому что я ищу вас с тех пор, как вернулась в бальную залу. Я желала бы, чтобы вы здесь осмотрели все возможно более подробно и составили себе о России мнение, которое могло бы опровергнуть суждения о ней людей злых и неумных.

— Я далек от мысли, государыня, приписывать себе такую власть. Но если бы то, что я чувствую, стало общим мнением, вся Франция смотрела бы на Россию как на страну чудес.

— Вы должны только судить обо всем не по внешней видимости, а по существу, потому что у вас для этого имеются все данные. До свидания, я хотела лишь пожелать вам доброй ночи: меня утомляет жара. Не забудьте осмотреть мои новые апартаменты; они восстановлены по идее императора. Я прикажу, чтобы вам все было показано.

Здешняя придворная жизнь до того для меня нова, что даже забавляет меня. Она напоминает путешествие в давно прошедшие времена. Порой мне кажется, что я нахожусь в Версале сто лет назад. Изысканная учтивость и поражающее великолепие здесь вполне естественны, и отсюда легко видеть, насколько далек Петербург от нынешней Франции.

Мы не успели еще отдохнуть от придворного бала, как уже на следующий день все снова собрались на другом празднестве, в Михайловском дворце у великой княгини Елены Павловны, невестки императора, супруги великого князя Михаила Павловича. Она считается одной из выдающихся женщин в Европе, и беседа с ней в высшей степени интересна [54]. Я имел честь быть ей представленным в начале бала. В первый момент она не сказала мне ни слова, но затем в течение вечера она несколько раз находила случай поговорить со мной. Из этой беседы у меня сохранилось в памяти следующее:

— Мне говорили,— сказала великая княгиня,— что вы вращаетесь в Париже в очень интересном обществе.

— Да, сударыня, я люблю общество одаренных людей, и беседа с ними — мое высшее удовольствие. Но я далек был от мысли, что вашему высочеству известны такие детали из моей жизни.

— Мы хорошо знаем Париж, и также знаем, что в нем мало людей, правильно оценивающих нынешнее время и сохраняющих память о временах прошедших. Конечно, такие лица у вас все же встречаются. Мы любим, по их творениям, многих ваших писателей, с которыми вы, наверное, часто встречаетесь, в особенности же госпожу Гэ и ее дочь, госпожу де Жирарден [55].

— Эти дамы в высшей степени одарены и талантливы, и я счастлив, что могу назвать их своими друзьями.

— Вот видите, какие у вас интересные и талантливые друзья. Мы читаем книги госпожи Гэ с большим удовольствием. Какого мнения вы о них?

— Я нахожу, что в них дается верное представление о прежнем обществе, и притом человеком, который это общество понимает и ценит.

— Почему госпожа де Жирарден ничего более не пишет?

— Она — поэтесса, а для поэтов молчание — также творчество.

При разговоре с великой княгиней я придерживался правила только слушать и отвечать. Я ждал, что она назовет еще несколько литературных имен, которые тем более льстили бы моей патриотической гордости. Но это ожидание было напрасно: великая княгиня, которая живет в стране, где прежде всего ценят такт, несомненно, лучше меня знала, что можно говорить и о чем лучше промолчать. Опасаясь одинаково значения как моих слов, так и моего молчания, она не произнесла более ни слова о нашей современной литературе. У нас действительно немало

имен, одно упоминание коих может смутить спокойствие духа и однообразие мысли, деспотически привитое всем, кто желает жить при русском дворе [56].

Возвращаюсь, однако, к описанию торжественных празднеств, на которых я теперь каждый вечер присутствую. У нас балы лишены всякой красочности благодаря мрачному, черному цвету мужских нарядов, тогда как здесь блестящие, разнообразные мундиры русских офицеров придают особый блеск петербургским салонам. В России великолепие драгоценных дамских украшений гармонирует с золотом военных мундиров, и кавалеры, танцуя со своими дамами, не имеют вида аптекарских учеников или конторских клерков.

Внешний фасад Михайловского дворца со стороны сада украшен во всю длину итальянским портиком. Вчера воспользовались 26-градусной жарой, чтобы эффектно иллюминировать колоннаду галерей группами оригинальных лампионов: они были сделаны из бумаги в форме тюльпанов, лир, ваз. Это было ново и довольно красиво.

Великая княгиня Елена для каждого устраиваемого ею празднества придумывает, как мне передавали, что-нибудь новое, оригинальное, никому не знакомое. И на этот раз свет отдельных групп цветных лампионов живописно отражался на колоннах дворца и на деревьях сада, в глубине которого несколько военных оркестров исполняли симфоническую музыку. Группы деревьев, освещенные сверху прикрытым светом, производили чарующее впечатление, так же ничего не может быть фантастичнее ярко освещенной зелени на фоне тихой, прекрасной ночи.

Большая галерея, предназначенная для танцев, была декорирована с исключительной роскошью. Полторы тысячи кадок и горшков с редчайшими цветами образовали благоухающий боскет. В конце залы, в густой тени экзотических растений, виднелся бассейн, из которого беспрерывно вырывалась струя фонтана. Брызги воды, освещенные яркими огнями, сверкали как алмазные пылинки и освежали воздух. Роскошные пальмы, банановые деревья и всевозможные другие тропические растения, корни которых скрыты были под ковром зелени, казалось, росли на родной почве, и чудилось, будто кортеж танцующих пар какой-то чудодейственной силой был перенесен с дикого севера в далекий тропический лес. Невольно грезилось наяву, так как кругом дышало не только роскошью, но и поэзией. Блеск волшебной залы во сто крат увеличивался благодаря обилию огромных

зеркал, каких я нигде ранее не видал. Эти зеркала, охваченные золочеными рамами, закрывали широкие простенки между окнами, заполняли также противоположную сторону залы, занимающей в длину почти половину всего дворца, и отражали свет бесчисленного количества свечей, горевших в богатейших люстрах. Трудно представить себе великолепие этой картины. Совершенно терялось представление о том, где ты находишься. Исчезали всякие границы, все было полно света, золота, цветов, отражений и чарующей, волшебной иллюзии. Движение толпы и сама толпа увеличивались до бесконечности, каждое лицо становилось сотней лиц. Этот дворец как бы создан для празднеств, и казалось, что после бала вместе с танцующими парами исчезнет и эта волшебная зала. Я никогда не видел ничего более красивого. Но самый бал походил на все другие и далеко не соответствовал исключительной роскоши залы. Здесь не было ничего яркого, захватывающего, никаких зрелищ, сюрпризов, балетных представлений. Танцевали беспрерывно полонезы, вальсы и какие-то контрдансы, именуемые на русско-французском наречии кадрилью. Даже мазурку танцуют в Петербурге менее весело и грациозно, чем на ее родине, в Варшаве.

Перед ужином императрица, сидевшая у бассейна под навесом из экзотических растений, куда она укрывалась после каждого полонеза, чтобы хоть немного отдохнуть от царившей в зале тропической жары, знаком пригласила меня приблизиться. Я поспешил последовать ее приглашению, но в это время к бассейну подошел государь и, взяв меня об руку, отвел на несколько шагов от кресла императрицы. Здесь в течение более четверти часа он вел со мной беседу на разные интересные темы.

Сначала он сказал несколько слов о прекрасном устройстве сегодняшнего празднества. Я ответил ему, что поражаюсь, как при столь деятельной жизни он находит время для всего, даже для участия в развлечениях.

— К счастью,— возразил государь,— административная машина в моей стране крайне проста, иначе при огромных расстояниях, являющихся серьезным для всего препятствием, и при более сложной форме управления головы одного человека оказалось бы недостаточно.

Я был удивлен и польщен этим откровенным тоном. Император, который лучше, чем кто-либо другой, понимает то, что ему не высказывают, продолжал, как бы отвечая на мою мысль:

— Я говорю с вами так, потому что уверен, что вы поймете меня: мы продолжаем дело Петра Великого.

— Он не умер, государь, его гений и воля властвуют и сейчас над Россией.

Когда император разговаривает с кем-либо публично, большой круг придворных опоясывает его на почтительном расстоянии. Никто поэтому не может слышать слов государя, но взоры всех беспрерывно устремлены на него, и не монарх стесняет нас при беседе с ним, а его двор.

— Но,— продолжал государь,— эту волю очень трудно осуществлять. Общая покорность дает вам повод считать, что все у нас однообразно. Вы ошибаетесь: нет другой страны, где было бы такое разнообразие народностей, нравов, религий и духовного развития, как в России. Это разнообразие таится в глубине, единение же является поверхностным и только кажущимся. Вы видите здесь вблизи нас двадцать офицеров: из них только двое первых — русские, трое следующих — примирившиеся с нами поляки, часть остальных — немцы. Даже ханы привозят мне своих сыновей, чтобы я их воспитывал среди моих кадетов. Вот вам один из них,— сказал он, указывая на маленькую китайскую обезьяну в диковинном бархатном одеянии, расшитом золотом. Это дитя Азии было прикрыто сверху высоким, прямым остроконечным головным убором, похожим на шутовской колпак с большими округленными и загнутыми краями.

— Тысячи детей обучаются и воспитываются вместе с этим мальчиком на мои средства.

— В России, государь, все творится в огромном масштабе; здесь все колоссально.

— Слишком колоссально для одного человека. Надеюсь, вы не ограничитесь одним Петербургом? Каков план вашего дальнейшего путешествия по моей стране?

— Государь, я рассчитываю отправиться дальше тотчас же после петергофских празднеств.

— Куда же?

— В Москву и Нижний.

— Это хорошо, но вы собираетесь туда слишком рано: вы покинете Москву до моего приезда, а между тем я был бы очень рад вас там увидеть.

— Слова вашего величества заставят меня изменить свои планы.

— Тем лучше. Мы покажем вам новые работы, производимые нами в Кремле. Мне хочется приблизить архитектуру этих старинных зданий к современности. Дво-

рец слишком тесен и стал для меня неудобен [57]. Вы будете также присутствовать при любопытной церемонии на Бородинском поле: я хочу положить первый камень в основание памятника, воздвигаемого по моему повелению в память Бородинского боя.

Я хранил молчание, но, очевидно, выражение моего лица стало более серьезным. Император пристально посмотрел на меня и затем любезным тоном закончил:

— По крайней мере, хоть вид маневров вас, быть может, заинтересует.

— Государь, в России меня все интересует.

Вскоре вслед за этим разговором я здесь же, на балу, был свидетелем следующей любопытной сцены.

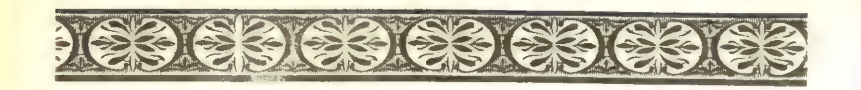
Император разговаривал с австрийским послом [58]. Молодой, недавно назначенный камер-юнкер получил от великой княгини Марии Николаевны приказание пригласить от ее имени посла протанцевать с нею полонез. В своем усердии бедный дебютант, прорвав круг придворных, о котором я уже упоминал, бесстрашно подошел к императору и при его величестве обратился к австрийскому послу:

— Граф, герцогиня Лейхтенбергская просит вас танцевать с нею первый полонез.

Император, недовольный поведением своего камер-юнкера, сказал ему громко:

— Вы только что назначены на вашу должность, так научитесь же правильно выполнять ее. Прежде всего, моя дочь не герцогиня Лейхтенбергская, а великая княгиня Мария Николаевна, а затем вы должны знать, что меня не прерывают, когда я с кем-либо разговариваю...

Оставляю свои записи, чтобы отправиться на обед к русскому офицеру, молодому графу ***, который сегодня утром познакомил меня со здешним минеральным кабинетом, наилучшим, как мне кажется, в Европе, так как уральские горные рудники по своему богатству совершенно исключительны [59]. Здесь ничего нельзя осмотреть без провожатых, да и мало дней в году, когда те или иные интересные общественные учреждения можно посетить. Летом здания, пострадавшие от зимних морозов, ремонтируются, а зимой вся публика либо мерзнет, либо танцует. Я не преувеличу, если скажу, что в Петербурге знакомишься с Россией не лучше, чем в Париже. Ведь недостаточно лишь приехать в страну, чтобы изучить ее, а здесь без протекции вы ни о чем не получите понятия. Протекция же вас тиранит и дает обо всем ложное представление, к чему здесь, в сущности, и стремятся.



Глава IX

Торжественный спектакль. — Появление монарха и казенные восторги. — Рассказ Николая о восстании декабристов. — Отречение Константина. — «Мужество перед ударами убийц». — Ненависть Николая к Конституции. — Кюстин подавлен. — Придворная пастораль. — Друг императрицы. — «Монархам чувство благодарности мало знакомо». — Холерный бунт. — Акции Кюстина поднимаются. — Льстивость, граничащая с героизмом. — Если не раб, то бунтовщик. — Иллюзия порядка и спокойствия.

Сегодня я присутствовал в опере на «гала-спектакле». Блестяще освещенный зал показался мне достаточно большим и прекрасно сконструированным. В нем нет ни балконов, ни галерей, ничто не мешает здесь архитектору в осуществлении своего плана, так как он не должен думать о местах для простой публики. Зрительный зал в Петербурге может поэтому строиться в простом и строгом стиле, как итальянские театры, в которых женщины, не принадлежащие к высшему свету, сидят в партере [60].

Благодаря исключительной любезности мне было предоставлено на сегодняшний торжественный спектакль кресло в первом ряду партера. Обычно в такие дни эти кресла предназначаются лишь для высшей знати, то есть для придворных лиц первого класса в блестящих мундирах, соответствующих их чину и званию.

Мой сосед справа, заметив по моему платью, что я иностранец, заговорил со мной по-французски с той изысканной вежливостью, которая отличает в Петербурге не только высшее общество, но, в известной степени, и людей других сословий. Здесь все вежливы: знатные люди — из желания показать свое хорошее воспитание, простые — из постоянного страха.

Я не слишком внимательно следил за спектаклем, гораздо более интересуясь зрителями. Императорская ложа — это блестящий салон, занимающий глубину зрительного зала и освещенный еще более ярко, чем остальная часть театра.

Появление императора было величественно. Когда он рядом с императрицей, в сопровождении членов царской фамилии и придворных приблизился к барьеру своей ложи, все присутствующие встали. Император с присущим ему достоинством, прежде чем сесть, приветствовал собравшихся в зале поклоном. Одновременно с ним поклонилась и императрица, но — что показалось мне недостаточным уважением к публике — вместе с ними раскланивалась и вся свита. Зал, в свою очередь, приветствовал своего монарха поклонами, аплодисментами и криками «ура». Эта преувеличенная демонстрация своих чувств носила все же явно официальный характер, что значительно понижало ее ценность. Да и что удивительного в том, что самодержавный монарх приветствуется в своей столице партером, переполненным придворной знатью?

Неизменная угодливость, которую всегда встречает император, служит причиной того, что лишь два раза в течение всей своей жизни он имел случай померяться своим личным могуществом с толпой, и оба эти раза во время народных восстаний. В России нет более свободного человека, чем восставший солдат.

Я невольно вспомнил о поведении императора при самом вступлении его на престол, и эта интересная страница истории отвлекла меня от спектакля, на котором я присутствовал. То, что я хочу рассказать здесь, сообщил мне лично император во время одной из наших бесед.

В тот день, когда Николай вступил на престол, вспыхнул мятеж в гвардии. При первом же известии о восстании в войсках император и императрица одни отправились в придворную церковь и там, на коленях у ступеней алтаря, поклялись перед господом умереть на престоле, если им не удастся восторжествовать над мятежниками. Император считал опасность серьезной, так как он уже знал, что митрополит тщетно пытался успокоить солдат: в России волнение, которое не в силах усмирить духовная власть, считается серьезным.

Осенив себя крестным знамением, император отправился, рассчитывая покорить мятежников одним своим появлением и спокойным, энергичным выражением лица. Он сам рассказал мне эту сцену, но, к сожалению, я

забыл начало рассказа, потому что был смущен неожиданным оборотом, который принял наш разговор. Я воспроизведу его поэтому лишь с того момента, который отчетливо сохранился в моей памяти.

— Государь, вы черпали вашу силу из надежного источника.

— Я не знал, что буду делать и что говорить; я следовал лишь высшему внушению.

— Чтобы иметь подобные внушения, должно заслужить их.

— Я не совершил ничего сверхъестественного. Я сказал лишь солдатам: «Вернитесь в ваши ряды!»— и, объезжая полк, крикнул: «На колени!» Все повиновались. Сильным меня сделало то, что за несколько мгновений до этого я вполне примирился с мыслью о смерти. Я рад успеху, но не горжусь им, так как в нем нет моей заслуги.

Таковы были благородные выражения, которыми воспользовался император, чтобы рассказать эту современную трагедию. Можно судить по этому рассказу о степени интереса его разговоров с иностранцами, которых он удостоит своим расположением. Рассказ этот, столь далекий от придворной пошлости, позволяет также понять силу обаяния, производимого Николаем на свой народ.

Очевидцы передавали мне, что он как будто вырастал с каждым шагом, приближавшим его к бунтовщикам. Из молчаливого меланхоличного и мелочного, каким он казался в дни юности, он превратился в героя, как только стал монархом,— обратное тому, что происходит с большинством наследных принцев.

Русский император здесь был настолько в своей роли, что трон его казался сценой для большого актера. Его поза перед восставшей гвардией была, как говорят, настолько величественна, что один из заговорщиков четыре раза приближался к нему, чтобы убить его, в то время как он обращался с речью к войскам, и четыре раза мужество покидало этого несчастного, как кимвра, покушавшегося на Мария. Сведущие люди приписывали этот мятеж влиянию тайных обществ, которые стали развиваться в России со времени похода союзников во Францию и частых поездок русских офицеров в Германию.

Я повторяю здесь лишь то, что мне пришлось слышать: факты эти темные и проверить их у меня нет возможности.

Заговорщики прибегли для возмущения армии к смехотворной лжи: они распространили слух, будто Ни-

колай насильно захватил корону у своего брата Константина, уже направлявшегося в Петербург для защиты своих прав с оружием в руках. К такому средству пришлось прибегнуть, чтобы заставить возмутившихся солдат кричать под окнами дворца: «Да здравствует конституция!» — вожаки убедили их, что жена Константина, их императрица, называется Конституцией. В глубине солдатских сердец жила, как видно, идея долга, потому что только путем подобного обмана можно было их побудить к восстанию. Константин по слабости отказался от трона: он боялся быть отравленным, в этом заключалась вся его философия. Бог знает, а может быть, и некоторые люди знают, спасло ли его отречение от участи, которой он так боялся подвергнуться.

Только в интересах легитимизма одураченные солдаты восстали против своего законного государя.

Передают, что Николай во все время, пока он находился перед войсками, ни разу не пустил своей лошади в галоп, до того он был спокоен, хотя и очень бледен. Он испытывал свою мощь, и успех этого испытания обеспечил ему повиновение масс.

Такой человек не может быть судим как обыкновенные смертные. Его голос, глубокий и повелительный, его магнетизирующий взгляд, пристально всматривающийся в привлекший его внимание предмет, но часто становящийся холодным и неподвижным благодаря привычке скорее подавлять, чем скрывать свои мысли, его гордый лоб, черты его лица, напоминающие Аполлона и Юпитера, весь облик его, более благородный, чем мягкий, похожий скорее на изваяние, чем на живого человека, — все это производит на каждого, кто бы ни приблизился к нему, могущественное воздействие. Он покоряет чужую волю, потому что в совершенстве властвует над своей собственной.

Из нашего последующего разговора я удержал в своей памяти еще следующее.

— После усмирения мятежа вы, ваше величество, должны были вернуться во дворец в совершенно другом настроении сравнительно с тем, в каком вы его покинули. Вместе с престолом вы обеспечили себе удивление всего мира и симпатии всех благородных сердец.

— Я не думал об этом. Все, что я тогда делал, слишком затем расхвалили [61]

Но государь не сказал мне, что, вернувшись к своей жене, он нашел ее пораженной нервной болезнью — кон-

вульсиями головы, от которой она затем уже никогда не могла оправиться. Эти конвульсии едва заметны и даже совсем исчезают в те дни, когда государыня спокойна и хорошо себя чувствует. Но когда она страдает морально или физически, болезнь возобновляется с новой силой. Эта благородная женщина должна была испытывать сильнейший страх, пока ее супруг так мужественно подставлял себя под удары убийц.

Увидев его невредимым, она без слов бросилась в его объятия, но государь, успокоив ее, в свою очередь почувствовал себя ослабевшим. На мгновение став простым смертным, царь, упав на грудь одного из преданнейших своих слуг, присутствовавшего при этой сцене, воскликнул: «Какое начало царствования!»

Возвращаюсь к нашей беседе. На слова государя о преувеличенных похвалах его поведению во время мятежа я воскликнул:

— Смею уверить вас, государь, что одной из главных причин моего приезда в Россию было желание увидеть монарха, который пользуется таким беспримерным влиянием на людей.

— Русский народ добр, но нужно быть достойным управлять этим народом.

— Ваше величество лучше, чем кто-либо из ваших предшественников, поняли, что нужно России.

— В России существует еще деспотизм, потому что он составляет основу всего управления, но он вполне согласуется и с духом народа.

— Государь, вы удержали Россию от подражания другим странам и вернули ее самой себе.

— Я люблю Россию и думаю, что понял ее. Когда я сильно устаю от разных мерзостей нашего времени, то забвения от всей остальной Европы ищу, удаляясь внутрь России.

— Чтобы почерпнуть новые силы в самом их источнике?

— Вы правы. Никто не может быть душою более русским, чем я. Я скажу вам то, чего не сказал бы никому другому, так как чувствую, что вы, именно вы, поймете меня правильно.

Государь остановился и пристально посмотрел на меня. Я превратился весь в слух, не проронив ни единого слова. Он продолжал:

— Я понимаю республику — это прямое и честное правление, или, по крайней мере, оно может быть таковым.

Я понимаю абсолютную монархию, потому что сам ее возглавляю. Но представительного образа правления я постигнуть не могу. Это — правительство лжи, обмана, подкупа. Я скорее отступил бы до самого Китая, чем согласился бы на подобный образ правления.

— Я всегда считал представительный образ правления переходной стадией в известных государствах и в определенные эпохи. Но, как и всякие переходные, промежуточные стадии, этот образ правления не решает вопроса, а лишь отсрочивает связанные с ним трудности.

– Государь, казалось, хотел сказать мне: «продолжайте», и я закончил свою мысль следующими словами:

— Конституционное правление есть договор о перемирии, заключенный между демократией и монархией при благосклонном содействии двух гнусных тиранов — корыстолюбия и страха. Договор этот продолжается благодаря свободомыслию говорунов, услаждающих себя своим красноречием, и тщеславию масс, оплачиваемому их красивыми словами. В конечном счете является аристократия слова, потому что это — правление адвокатов.

— Вы говорите сущую истину, – сказал император, пожимая мою руку. – Я был также конституционным монархом, и мир знает, чего мне это стоило, так как я не хотел подчиниться требованиям этого гнусного образа правления. (Я привожу дословно выражения императора.) Покупать голоса, подкупать совесть, завлекать одних, чтобы обманывать других,— я с презрением отверг все эти средства, столь же позорящие тех, кто подчиняется, сколь и того, кто повелевает. Я дорого заплатил за свое прямодушие, но, слава богу, я навсегда покончил с этой отвратительной политической машиной. Я никогда более конституционным монархом не буду. Я должен был высказать то, что думаю, дабы еще раз подтвердить, что я никогда не соглашусь управлять каким-либо народом при помощи хитрости и интриг.

Имя Польши, о которой мы оба думали во время этой замечательной беседы, произнесено, однако, не было [62].

Впечатление, произведенное на меня словами императора, было огромно; я чувствовал себя подавленным. Благородство взглядов, откровенность его речи — все это еще более возвышало в моих глазах его всемогущество. Я был, признаюсь в этом, совершенно ослеплен Человек, которому, несмотря на мои идеи о независимо-

сти, я должен был простить, что он является неограниченным властителем 60-миллионного народа, казался мне существом сверхъестественным. Но я старался не доверять своему восхищению, как наши буржуа, чувствующие, что они начинают поддаваться обаянию изящества людей старого времени. Хороший вкус заставляет их отдаваться испытываемому очарованию, но этому противятся их принципы, и они стараются казаться сдержанными и возможно более нечувствительными. Борьба, переживаемая ими, напоминает ту, которую пришлось испытать мне. Не в моем характере сомневаться в искренности человеческого слова в тот момент, когда я его слышу. Лишь путем позднейших размышлений и сурового опыта убеждаюсь я в возможности расчета и притворства. Быть может, это назовут вздором, но мне нравится такая умственная слабость, потому что она является следствием душевной силы. Мое чистосердечие заставляет меня верить искренности другого, даже если этот другой является императором России.

Этот интересный разговор, который я только что привел, происходил на балу у принцессы Ольденбургской, настолько своеобразном, что безусловно стоит описать его.

Принцесса Ольденбургская, рожденная принцесса Нассауская, близкая по своему мужу родственница императора, также пожелала устроить вечер в честь бракосочетания великой княжны Марии, но, не имея возможности соперничать роскошью с придворными балами, она решила организовать импровизированный бал на открытом воздухе на своей загородной вилле [63].

Послы всего мира (исключительные актеры для разыгрывания пасторалей), вся русская знать и сановные иностранцы собрались здесь, гуляя по аллеям сада, в далеких боскетах которого были скрыты оркестры музыки.

Тон каждому празднеству дает государь: «mot d'ordre» (лозунг) сегодняшнего вечера гласил: благопристойная наивность или элегантная простота в духе Горация [64]. Таково и было в течение всего вечера господствующее настроение всех присутствующих, в том числе и представителей дипломатического корпуса.

До одиннадцати часов вечера танцевали на открытом воздухе, но когда ночная роса в достаточной мере увлажнила головы и плечи молодых и пожилых дам, участвовавших в этой победе человеческой воли над климатом,

все перешли в маленький дворец, служащий обычно летней резиденцией принцессы Ольденбургской.

В центре виллы находилась сверкавшая золотом и огнями ротонда. В этой зале продолжался бал, между тем как не танцующие рассеялись по остальным залам дворца. Лучи света, исходящие из этого центрального пункта, распространялись далеко снаружи. Блестящая ротонда казалась мне орбитой, по которой вращались императорские созвездия, освещая своим сиянием весь дворец.

В первом этаже на террасах были устроены павильоны, в которых сервированы столы для императора и приглашенных к ужину гостей. На этом балу, с менее многочисленной публикой, чем предыдущие, царствовал вообще такой блестяще организованный кажущийся беспорядок, что вечер этот меня более занимал, чем все остальные. Несмотря на комическую принужденность, выражавшуюся на лицах некоторых гостей, обязанных все время демонстрировать сельскую простоту, это был совершенно оригинальный вечер, где все чувствовали себя свободно, хотя здесь и присутствовал неограниченный монарх. Когда монарх веселится, он не кажется более деспотом, а император на этом балу бесспорно веселился.

Я уже упоминал, что танцы устроены были на открытом воздухе. Исключительно теплое лето пришло в данном случае на помощь принцессе в осуществлении ее плана. Летний дворец находится в красивейшей части островов, и здесь, в саду, полном цветов, растущих в горшках, искусно скрытых английским газоном, был устроен большой зал — салонный паркет на газоне, окруженный изящной балюстрадой, сплошь покрытой роскошными цветами. Этот оригинальный зал, крышей которому служил небесный свод, походил на палубу корабля, разукрашенного по случаю праздника всевозможными флагами. В Петербурге роскошь и изобилие редчайших цветов восполняет отсутствие богатой растительности. Жители, явившиеся сюда из Азии, чтобы запереться, как в тюрьме, в северных льдах, прилагают все усилия к тому, чтобы помочь бесплодию почвы, на которой могут произрастать лишь сосны и березы. Искусство создает здесь в оранжереях бесчисленное множество редких кустов и растений, и так как все это является делом рук человеческих, то здесь легко расцветают и американские растения, и французские лилии и фиалки. Неприродное плодородие почвы украшает и разнообразит дворцы и

сады Петербурга, а цивилизация дает ему возможность пользоваться богатством всего мира, чтобы скрыть бедность земли и скупость полярного неба. Стоит ли поэтому удивляться хвастовству русских, для которых природа только лишний враг, побеждаемый их упорством. В основе всех их развлечений неизменно кроется радость и гордость одержанной победы.

Императрица, несмотря на свое слабое здоровье, танцевала все полонезы на «сельском балу», устроенном ее кузиной, с открытой головой и обнаженной шеей. В России каждый выполняет свое предназначение до последних сил. Долг императрицы — развлекаться до самой смерти. Она должна и будет исполнять эту обязанность, как другие рабы исполняют свои обязанности. Она будет танцевать до тех пор, пока у нее станет сил держаться на ногах.

Эта немецкая принцесса, жертва придворных развлечений, которые давят ее, как цепи узников, пользуется в России все же счастливым уделом, редким повсюду и во всех условиях и исключительным для императрицы: она имеет истинного друга. Это — баронесса, урожденная графиня. С момента замужества императрицы эти две женщины, судьба которых столь различна, почти никогда не разлучались. Но баронесса, одаренная искренним характером и преданным сердцем, никогда не пользовалась своей близостью к императрице. Она вышла замуж за офицера, которому император в высшей степени обязан, так как барон во время мятежа при вступлении Николая на престол спас ему жизнь, бескорыстно защитив его своей грудью от вражеских ударов. Подобный подвиг ничем не может быть оплачен, а потому и в данном случае, как и в большинстве других, он остался невознагражденным [65].

Впрочем, монархам вообще чувство благодарности мало знакомо: они признают лишь ту благодарность, которая должна проявляться по отношению к ним. Благодарность к кому-либо более нарушает их расчеты, чем умиляет сердце, и потому они неохотно к ней прибегают. Гораздо легче и удобнее народные массы презирать. Это относится ко всем потентатам, а к наиболее могущественным в особенности.

Мои размышления по этому поводу были, однако, непродолжительны, так как император снова захотел овладеть моими мыслями. Открыл ли он в глубине моей души какое-то предубеждение против себя, развлекал ли его

минутный разговор с человеком, столь отличным от тех, которые постоянно находятся перед его глазами,— не знаю, и сам не могу понять истинной причины его столь милостивого ко мне отношения.

Император не только привык повелевать действиями других, но умеет властвовать и над их сердцами. Быть может, ему хотелось покорить и мое сердце, а моя замкнутость и робость служили еще лишним к тому стимулом. Желание нравиться присуще императору. Вызвать у кого-либо восхищение собой — это значит заставить его повиноваться, и императору, быть может, хотелось испытать свою власть над иностранцем. Наконец, быть может, инстинктом человека, долгое время не слышавшего ни от кого слова правды, он угадал во мне человека искреннего и правдивого. Повторяю, я не знаю его истинных побуждений, но знаю лишь, что, где бы я в этот вечер ни находился, он постоянно вступал со мною в беседу.

Увидев меня, когда я вернулся из сада на веранду, он спросил:

— Чем вы были заняты сегодня утром?

— Я осматривал, государь, естественноисторический музей и видел знаменитого сибирского мамонта.

— Это — единственный экземпляр в мире [66].

— Да, государь, в России вообще встречаешь очень многое, чего не найдешь нигде на свете.

— Вы льстите мне.

— Государь, я слишком уважаю ваше величество, чтобы осмелиться льстить вам. Но я, быть может, не испытываю пред вами страха и потому свободно высказываю свою мысль, если даже истина, в нее вложенная, и походит на комплимент.

— Это — очень тонкий комплимент. Иностранцы нас положительно балуют.

— Вашему величеству угодно было, чтобы я держался с вами совершенно свободно, и это удалось вам, как и все, что вы предпринимаете: вы хоть на время излечили меня от природной робости.

Вынужденный избегать всякого намека на серьезные политические злобы дня, я все же хотел навести разговор на такой предмет, который меня столько же интересовал, и потому прибавил:

— Каждый раз, как вы позволяете мне приблизиться к вам, я все больше убеждаюсь в той силе, которая заставила мятежников в день вашего восшествия на престол пасть пред вами на колени.

— В вашей стране существуют против нас предубеждения, над которыми труднее восторжествовать, чем над восставшей армией.

— Государь, вас видят у нас слишком издалека. Если бы с вашим величеством ближе ознакомились, вас бы еще выше ценили и вы нашли бы у нас, как и здесь, множество почитателей. Уже начало царствования обеспечило вам справедливые похвалы, а во время холеры вы поднялись еще на гораздо большую высоту. При этом втором восстании вы проявили ту же власть, но сдержанную благородной преданностью человечеству. Силы никогда не покидали вас в минуты опасности.

— Вы воскрешаете в моей памяти минуты, без сомнения, лучшие в моей жизни, но казавшиеся мне тогда самыми ужасными.

— Я понимаю это, ваше величество. Чтобы покорить природу в себе и других, необходимо усилие...

— Страшное усилие,— прервал меня государь,— отчет в котором отдаешь себе лишь много позже.

—Да, но в это время чувствуешь себя вдохновленным.

— Я этого не чувствовал, а исполнял лишь свой долг. В подобных случаях никто не может знать заранее, что он скажет. Бросаешься навстречу опасности, не спрашивая себя, как из нее выйдешь [67].

— Бог вдохновлял вас, государь. Если можно было бы сравнить два столь несходных понятия, как поэзия и управление, я сказал бы, что вы действовали как поэт, повинуясь голосу свыше.

— В моих поступках не было никакой поэзии.

Я заметил, что государь не очень был польщен моим сравнением, потому что слово «поэзия» было понято им не в том смысле, какой оно имеет в латинском языке. При дворе привыкли смотреть на поэзию, как на легкую игру ума. Надо было бы долго разъяснять, что поэзия есть самый чистый и живой проблеск души, и я предпочел промолчать. Но государь, не желая, очевидно, оставить меня под впечатлением совершенной мною ошибки, не ушел, а еще долго продолжал, к общему удивлению всего двора, беседу со мной.

— Какой окончательный план вашего дальнейшего путешествия?

— После петергофских празднеств я рассчитываю отправиться в Москву, а оттуда в Нижний посмотреть ярмарку, но с таким расчетом, чтобы вернуться в Москву к приезду вашего величества.

— Тем лучше, я был бы очень рад, если бы вам удалось детально осмотреть новые кремлевские сооружения. Я объясню вам все мои планы относительно украшения этой части Москвы, которую мы считаем колыбелью империи. Но вы не должны терять времени: вам предстоит проехать огромные пространства. Расстояния являются несчастьем России.

— Не жалуйтесь на это, государь, ибо свободные пространства можно заполнить. В других странах людям не хватает земли, вы же такого недостатка никогда не почувствуете.

— У меня не хватает времени.

— Но будущее принадлежит вам.

— Меня слишком мало знают, упрекая в честолюбии. Я далек от мысли стремиться к расширению нашей территории, я хотел бы лишь сплотить вокруг себя все население России, я хотел бы победить его нищету и варварство. Желание улучшить участь русского народа — для меня несравненно выше, чем жадность к новым завоеваниям [68]. Если бы вы знали, как этот народ добр, сколько в нем кротости, как он от природы приветлив и учтив! Вы увидите его в Петергофе. Особенно я хотел бы вам показать его первого января. Но, повторяю, нелегко стать достойным управлять подобным народом.

— Ваше величество уже много сделали для России.

— Боюсь, что я не сделал всего, что я мог бы сделать.

Частые и долгие разговоры со мной государя на глазах всего общества доставили мне здесь массу новых знакомств и укрепили прежние. Многие из тех, коих я встречал и раньше, бросаются мне теперь в объятия, но лишь с тех пор, как они заметили, что я стал объектом особого монаршего благоволения. И все это люди первых придворных классов. Но такова уже, видно, натура светских людей, особенно лиц официальных,— быть сдержанными во всем, кроме честолюбивых расчетов. Чтобы сохранить, живя при дворе, чувства, возвышающиеся над желаниями толпы, необходимо обладать слишком благородной душой; увы, такие натуры встречаются теперь очень редко.

Приходится еще раз повторить: в России нет больших людей, потому что нет независимых характеров, за исключением немногих избранных натур, слишком малочисленных, чтобы оказать влияние на окружающих. Эта страна, столь отличная во многих отношениях от нашей, сближается с Францией лишь в одном: здесь, как и у нас,

нет социальной иерархии [69]. Благодаря этому пробелу в политической организации России в ней, как и во Франции, существует всеобщее равенство. Поэтому и в той, и в другой стране встречается масса людей с беспокойным умом, но у нас они волнуются открыто, здесь же политические страсти замкнуты. Во Франции каждый может достигнуть всего, пользуясь ораторской трибуной, в России — вращаясь при дворе. Самый ничтожный человек, если он сумеет понравиться государю, завтра же может стать первым в государстве. Милость земного божества является здесь надежной приманкой, заставляющей честолюбцев проделывать чудеса, точно так же, как у нас приводит к поразительным метаморфозам жажда популярности. В Петербурге с этой целью становишься самым низким льстецом, в Париже — великим оратором. Каким талантом наблюдательности должны были обладать русские царедворцы, чтобы открыть способ понравиться царю, прогуливаясь зимой по улицам Петербурга в одном мундире, без шинели. Эта геройская лесть, обращенная непосредственно к климату и косвенно к государю, стоила уже жизни многим честолюбцам. Как легко попасть в этой стране в немилость, если для того, чтобы понравиться, приходится прибегать к подобным средствам. Два вида фанатизма, две страсти, более, чем это кажется, между собой сходные — стремление к популярности и рабское отречение царедворца — творят чудеса. Первое подымает слово на вершину красноречия, второе — придает силу молчанию, но обе они ведут к одной и той же цели. Вот почему при неограниченном деспотизме умы бывают так же взволнованны, как и при республике, с той лишь разницей, что безмолвное брожение подданных абсолютного монарха сильнее волнует умы благодаря тайне, в которую оно должно облекаться. У нас жертвы, чтобы привести к каким-либо результатам, должны быть принесены открыто, здесь, наоборот, они должны оставаться неведомыми. Всемогущий деспот всего сильнее ненавидит открыто пожертвовавшего собою подданного. Каждый поступок, возвысившийся над слепым и рабским послушанием, становится для монарха тягостным и подозрительным. Эти исключительные случаи напоминают ему о чьих-то притязаниях, притязания — о правах, а при деспотизме всякий подданный, лишь мечтающий о правах, уже бунтовщик.

Прежде чем отправиться в настоящее свое путешествие, я проверил свои идеи о деспотическом образе

правления на примерах Австрии и Пруссии. Я не думал тогда, что эти государства лишь по названию являются неограниченными монархиями и что издавна установившиеся нравы и обычаи там заменяют государственные формы правления. Эти народы, управляемые деспотической властью, казались мне счастливейшими на земле, и сдерживаемый мягкими нравами деспотизм не представлялся мне таким ненавистным, каким его рисуют наши философы. Но я тогда не видел еще неограниченной монархии с народом, состоящим из рабов.

Нужно приехать в Россию, чтобы воочию убедиться в результате страшного смешения духа и знаний Европы с гением Азии. Оно тем ужаснее, что может длиться бесконечно, ибо честолюбие и страх — две страсти, которые в других странах часто губят людей, заставляя их слишком много говорить, здесь порождают лишь гробовое молчание. И это насильственное молчание создает иллюзию вынужденного спокойствия и кажущегося порядка, которые сильнее и ужаснее любой анархии, так как недовольство, ими вызываемое, никогда не прекращается и кажется вечным.

Быть может, независимый суд и подлинная аристократия внесли бы успокоение в умы русских и принесли бы счастье стране. Но я не верю, чтобы царь прибегнул когда-нибудь к этому средству для улучшения положения своих народов. Каким бы рассудительным он ни был, он никогда добровольно не согласится сделать их счастливыми.





Глава X

Улицы Петербурга. — Невский проспект. — Английский стиль и азиатский беспорядок. — Извозчики. — Символическая тележка фельдъегеря. — Военная архитектура города. — Обилие церквей. — Злословие рабов. — «Русский дух». — Замкнутость женщин. — Утрированная вежливость.

По словам патриотически настроенных русских, в Петербурге насчитывается до четырехсот пятидесяти тысяч жителей без гарнизона. Но лица, хорошо осведомленные и потому слывущие здесь злонамеренными, уверяли меня, что население, включая гарнизон, не достигает и четырехсот тысяч. Верно лишь то, что этот город дворцов со своими огромными пустыми пространствами и мощеными площадями очень похож на поле, перерезанное дощатыми заборами. Отдаленные от центра части города сплошь застроены маленькими деревянными домишками.

Потомки племен бродячих и воинственных, русские еще не успели позабыть жизни на бивуаках. Петербург — штаб-квартира армии, а не столица государства. Как ни великолепен этот военный город, европейцу он представляется нагим и пустынным.

«Расстояния — наше проклятие»,— сказал мне однажды император. Справедливость этого замечания можно проверить даже на улицах Петербурга. Так, не из чувства тщеславия разъезжают там в каретах, запряженных четверкой лошадей. Ибо поездка с визитом — это целое путешествие. Русские лошади, нервные и полные огня, уступают нашим в мускульной силе. Пара лошадей не может долго мчать тяжелую коляску по скверным петербургским мостовым. Поэтому четверка лошадей является предметом первой необходимости для всякого, желающего вести светский образ жизни. Однако далеко

не каждый имеет право на такую запряжку: этой привилегией пользуются лишь особы известного ранга.

Стоит только покинуть центр города, и вы теряетесь в едва намеченных улицах, вдоль которых тянутся постройки казарменного вида. Это — провиантские магазины, склады фуража, обмундирования и всевозможных воинских припасов. Все время кажется, что завтра предстоит большой смотр или ярмарка. Улицы поросли травой, потому что они слишком просторны для пользующегося ими населения.

Столько колоннад приставлено к фасадам, столько портиков украшает казармы, изображающие здесь дворцы, таким обилием заимствованной архитектурной пышности перегружена эта временная столица, что меньше людей, чем колонн, можно насчитать на площадях Петербурга, всегда безмолвных и печальных благодаря их размерам и безупречной правильности линий.

Главная улица Петербурга называется Невским проспектом и заслуживает несколько более подробного описания. Эта красивая улица служит местом прогулок и встреч всех бездельников города. Таких, правда, не слишком много, ибо здесь не ходят ради самого процесса гуляния. Каждый шаг имеет свою цель, независимую от удовольствия. Передать приказание, спешить к своему начальнику, засвидетельствовать нужному лицу почтение — вот что приводит в движение население Петербурга и империи.

Этот именуемый проспектом бульвар вымощен ужасающими булыжниками неправильной формы. Но здесь, как и на некоторых других главных улицах, в булыжной мостовой проложены деревянные дороги — нечто вроде паркета из восьмиугольных или кубических сосновых брусков.

Две такие полосы торцов шириной от двух до трех футов, разделенные булыжной мостовой, по которой бежит коренник, проложены с каждой стороны улицы. От домов их отделяют широкие тротуары, выложенные плитняком, на отдаленных улицах сохранились еще жалкие деревянные панели. Этот величественный проспект доходит, постепенно становясь все безлюднее, некрасивее и печальнее, до самых границ города и мало-помалу теряется в волнах азиатского варварства, со всех сторон заливающих Петербург, ибо самые пышные его улицы сходят на нет в пустыне. Великолепный город, созданный Петром Великим, украшенный Екатериной II и вытянутый

по ранжиру прочими монархами на кочковатом, почти ежегодно затопляемом болоте, окружен ужасающей неразберихой лачуг и хибарок, бесформенной гурьбой домишек неизвестного назначения, безымянными пустырями, заваленными всевозможными отбросами — омерзительным мусором, накопившимся за сто лет жизни беспорядочного и грязного от природы населения.

Калмыцкая орда, расположившаяся в кибитках у подножия античных храмов, греческий город, импровизированный для татар в качестве театральной декорации, великолепной, но безвкусной, за которой скрывается самая подлинная и страшная драма,— вот что бросается в глаза при первом взгляде на Петербург.

После полудня на Невском проспекте, на обширной площади перед Зимним дворцом, на набережных и мостах появляется довольно большое количество экипажей разнообразного вида и причудливых очертаний. Это придает некоторое оживление унылому городу, самой монотонной из всех европейских столиц.

Внутренний вид жилищ так же печален, потому что, несмотря на роскошь передних покоев, предназначенных для приема гостей и обставленных в английском стиле, отовсюду из темных углов выглядывает домашняя грязь и глубочайший, истинно азиатский беспорядок. Предмет обстановки, которым меньше всего пользуются в русском доме,— это кровать. Служанки спят в чуланах, напоминающих прежние каморки швейцаров у нас во Франции, а мужская прислуга валяется на лестницах, в прихожих и даже, говорят, в гостиных прямо на полу, подложив под голову подушку.

Сегодня утром я был с визитом у одного князя, в прошлом — большого вельможи, ныне разорившегося, дряхлого и страдающего водянкой. Он так серьезно болен, что не покидает ложа, и тем не менее у него нет постели, то есть того, что подразумевается под этим наименованием в цивилизованных странах. Живет он у своей сестры, уехавшей из города. Одинокий, в необитаемом, пустом дворце, он проводит ночи на деревянной скамье, покрытой ковром и несколькими подушками. И в данном случае дело объясняется вовсе не причудой старика. Иногда можно увидеть парадную постель — предмет роскоши, который показывают из уважения к европейским обычаям, но которым никогда не пользуются.

Славяне — по крайней мере красивые представители расы — обладают стройной и изящной фигурой, внушаю-

щей вместе с тем представление о силе. Глаза у них миндалевидные, чаще всего черные или голубые, всегда ясные и прозрачные, но взгляд скрытный и плутоватый, как у всех азиатских народов. Когда эти глаза смеются, они становятся живыми, подвижными и очень привлекательными. Русский народ, серьезный скорее по необходимости, чем от природы, осмеливается смеяться только глазами, но зато в них выражается все, чего нельзя высказать словом: невольное молчание придает взгляду необычайную красноречивость и страстность. Но чаще всего он безысходно печален — так глядит затравленный, опутанный сетями зверь.

В славянах, рожденных для того, чтобы править колесницей, видна порода, так же как и в их конях. Красота и резвость последних придают улицам живописный и оригинальный вид. Так, благодаря своим обитателям и вопреки замыслу архитекторов Петербург не похож ни на один из европейских городов.

Русские кучера держатся на козлах прямо и гонят лошадей всегда крупной рысью, но чрезвычайно уверенно. Поэтому, несмотря на исключительную скорость движения, несчастные случаи редки на улицах Петербурга. У кучеров часто нет кнута, а если и имеется, то он настолько короток, что практически бесполезен. Не прибегая даже к помощи голоса, возницы управляют лошадьми только посредством вожжей и мундштука. Вы можете бродить по Петербургу часами, не услышав ни единого кучерского окрика. Если прохожие сторонятся недостаточно быстро, форейтор издает негромкий звук, похожий на крик сурка, потревоженного в своей норе, все спасаются бегством, и коляска проносится мимо, ни на секунду не замедляя безумной скорости движения.

Экипажи по большей части содержатся плохо, небрежно вымыты, скверно окрашены, еще хуже отлакированы и в общем лишены всякого изящества. Даже коляски, вывезенные из Англии, скоро теряют свой шик на мостовых Петербурга и в руках русских кучеров. Хороша только упряжь, легкая и красивая, выделанная из превосходной кожи.

Особенно печальный вид имеют наемные лошади и их жалкие возницы. Жизнь их очень тяжела: с раннего утра до позднего вечера они стоят под открытым небом у подъезда нанявшего их лица или на местах стоянки, отведенных им полицией. Лошади весь день в запряжке, кучера — на облучке, едят тут же, не покидая ни

на минуту своего поста. Впрочем, извозчики ведут такой образ жизни только летом. Зимой для них, посреди наиболее оживленных площадей, сколачиваются дощатые сараи.

Около этих убежищ, а также у дворцов, театров и всех тех мест, где происходит какое-либо празднество, зажигают большие костры, вокруг которых отогреваются слуги. Тем не менее в январе не проходит ни одного бала без того, чтобы два-три человека не замерзло на улице. Одна дама, более искренняя, чем другие, которую я неоднократно расспрашивал по этому поводу, ответила мне таким образом: «Это возможно, но я никогда об этом не слыхала». Уклончивый ответ, стоящий признания! Нужно побывать в России, чтобы узнать, до каких размеров может дойти пренебрежение богатого к жизни бедного, и чтобы понять, какую вообще малую цену имеет жизнь в глазах человека, осужденного влачить дни под игом абсолютизма.

Если на мгновение встреча на какой-нибудь прогулке с несколькими досужими людьми создает впечатление, что в России, как и в других странах, тоже, может быть, есть люди, развлекающиеся ради развлечения и создающие себе из забавы серьезное дело, то вид фельдъегеря, мчащегося во весь опор в своей тележке, в тот же миг уничтожает подобную иллюзию. Фельдъегерь — это олицетворение власти. Он — слово монарха, живой телеграф, несущий приказание другому автомату, ожидающему его за сто, за двести, за тысячу миль и имеющему столь же слабое представление, как и первый, о воле, приводящей их обоих в движение. Тележка, в которой несется этот железный человек, самое неудобное из всех существующих средств передвижения. Представьте себе небольшую повозку с двумя обитыми кожей скамьями, без рессор и без спинок — всякий другой экипаж отказался бы служить на проселочных дорогах, расходящихся во все стороны от нескольких почтовых шоссе, постройка которых только начата в этой первобытной стране. На передней скамье сидит почтальон или кучер, сменяющийся на каждой станции, на второй — курьер, который ездит, пока не умрет. И люди, посвятившие себя этой тяжелой профессии, умирают рано.

Эти фельдъегери, которые на моих глазах ежедневно мчатся по всем направлениям в пышной столице, вызывают во мне представление о тех пустынях, куда они

направляются. Я мысленно следую за ними в Сибирь, на Камчатку, к Великой Китайской стене, в Лапландию, к Ледовитому океану, на Новую Землю, в Персию, на Кавказ.

При звуке этих исторических, почти легендарных имен мне рисуются туманные, беспредельные дали, гнетуще действующие на душу. И все-таки вид этих глухих, слепых и немых гонцов дает неистощимую пищу поэтическому воображению иностранца. Несчастные люди, обреченные на то, чтобы жить и умереть в своей тележке, придают какой-то жуткий, меланхолический интерес самым заурядным событиям повседневной жизни.

Нужно сознаться, что если абсолютизм делает несчастными народы, которые он угнетает, то для путешественников он настоящий клад, ибо заставляет их на каждом шагу удивляться. В свободных странах все становится явным и сейчас же забывается; под гнетом абсолютизма все скрывается и обо всем приходится догадываться. Поэтому замечают и запоминают малейшие подробности, тайное любопытство оживляет беседу, придавая ей особую остроту. Нет поэтов более несчастных, чем те, кому суждено прозябать в условиях широчайшей гласности, ибо, когда всякий может говорить о чем угодно, поэту остается только молчать. Видения, аллегории, иносказания — вот средства выражения поэтической истины. Режим гласности убивает эту истину грубой реальностью, не оставляющей места полету фантазии.

Я описал город, лишенный своеобразия, скорее пышный, чем величественный, скорее поражающий своими размерами, чем красотой, наполненный зданиями без стиля, без вкуса, без исторического значения. Но на счастье поэта и художника русские — народ глубоко религиозный. Церкви, по крайней мере, принадлежат всецело им. Внешняя форма молитвенных сооружений освящена традицией и составляет неотъемлемую часть культа. Суеверие не отдает эти твердыни веры во власть мании, воплощающей математические фигуры в кирпиче и камне, и упорно отстаивает их от архитектуры скорее военной, чем классической, придающей каждому русскому городу вид лагеря, существующего в течение нескольких недель на время маневров.

Другая своеобразная черта Петербурга — золоченые шпили, нарушающие монотонные линии крыш города. Наиболее примечательны из них — шпиль цитадели, колы-

бели Петербурга, и Адмиралтейская игла. Эти удивительные архитектурные украшения заимствованы, говорят, из Азии и поражают своей поистине исключительной смелостью. Они столь высоки и тонки, что просто непонятно, каким способом они держатся в воздухе.

Представьте себе огромное количество церковных глав и вокруг каждой четыре колокольни, обязательные по православному ритуалу; вообразите множество серебряных, золотых, небесно-голубых, усыпанных звездами куполов; синие или ярко-зеленые крыши дворцов; площади, украшенные бронзовыми статуями императоров и героев русской истории; водную гладь широчайшей реки, отражающей, как зеркало, все прибрежные здания. Прибавьте сюда Троицкий мост, переброшенный на понтонах в самом широком месте реки, и Петропавловскую крепость, где покоится в лишенных всяких украшений усыпальницах Петр Великий со своей семьей,— и если вы живо представите себе всю эту картину, вы поймете, почему Петербург является все-таки бесконечно живописным городом вопреки заимствованной архитектуре дурного вкуса, вопреки окружающим его болотам, вопреки белесой дымке его лучших летних дней.

Сейчас здесь стоит тропическая жара, и тем не менее жители уже запасаются топливом на зиму. Баржи, груженные березовыми дровами — единственным видом топлива в стране, где дуб считается предметом роскоши, заполняют многочисленные и широкие каналы, прорезающие город по всем направлениям. Вода в этих каналах исчезает зимой под покровом снега и льда, а летом — под бесконечным количеством барж, теснящихся к набережным.

Топливо становится редкостью в России. Дрова в Петербурге стоят не дешевле, чем в Париже. Видя, с какой быстротой исчезают леса, поневоле задаешь себе тревожный вопрос: чем будут согреваться будущие поколения? Прошу извинения за шутку, но мне часто думается, что народы, пользующиеся благами теплого климата, поступили бы очень мудро, снабдив русских достаточным количеством топлива. Тогда эти северные римляне не глядели бы на солнце с таким вожделением.

Русские похожи на римлян и в другом отношении: так же как и последние, они заимствовали науку и искусство извне. Они не лишены природного ума, но ум у них подражательный и потому скорее иронический, чем созидательный. Насмешка - отличительная

черта характера тиранов и рабов. Каждый угнетенный народ поневоле обращается к злословию, к сатире, к карикатуре. Сарказмами он мстит за вынужденную бездеятельность и за свое унижение.

Русские распространяют вокруг себя довольно неприятный запах, дающий о себе знать даже на расстоянии. От светских людей пахнет мускусом, от простонародья — кислой капустой, луком и старой дубленой кожей. Отсюда вы можете заключить, что тридцать тысяч верноподданных императора, являющихся к нему во дворец первого января с поздравлениями, и шесть или семь тысяч, которые бывают в петергофском дворце в день тезоименитства императрицы, должны принéсти с собой грозные ароматы...

Из всех виденных мною до сих пор женщин простого класса ни одна не показалась мне красивой, а большинство из них отличается исключительным безобразием и отталкивающей нечистоплотностью. Странно подумать, что это — жены и матери тех статных и стройных красавцев с тонкими и правильными чертами лица, с греческими профилями, которые встречаются даже в низших слоях населения. Нигде нет таких красивых стариков и таких уродливых старух, как в России. Между прочим, бросается в глаза одна особенность Петербурга: женщины составляют здесь значительно меньшую часть населения, чем в других столицах. Меня уверяли, что их не больше трети общего числа жителей. Вследствие того, что их так мало, они возбуждают чрезмерное внимание сильного пола и поэтому с наступлением сумерек не рискуют появляться без провожатых в менее заселенных кварталах города. Такая осторожность представляется мне достаточно обоснованной в столице насквозь военного государства, среди народа, предающегося пьянству. Русские женщины реже показываются в обществе, чем француженки. Ведь не так давно, лет сто с небольшим тому назад, они вели затворнический образ жизни, подобно своим азиатским товаркам. Сдержанное, я бы сказал, боязливое поведение русских женщин напоминает, как и многие другие русские обычаи, о происхождении этого народа и усугубляет уныние, господствующее на общественных празднествах и улицах Петербурга.

В столице очень мало кафе, нет общественных балов в нашем смысле слова, а на бульварах немного публики, которая не гуляет, а спешит куда-то со степенными лица-

ми, мало говорящими о развлечении. Однако, если страх делает здесь людей серьезными, то он же учит их необычайной вежливости. Я никогда не видел, чтобы люди всех классов были друг с другом столь вежливы. Извозчик неизменно приветствует своего товарища, который в свою очередь отвечает ему тем же; швейцар раскланивается с малярами и так далее. Может быть, эта учтивость деланная; мне она представляется по меньшей мере утрированной, но во всяком случае даже видимость любезности весьма приятна в общежитии.

Пребывание в Петербурге было бы совсем приятно для путешественника, склонного доверять словам и обладающего к тому же твердым характером. Однако твердости потребовалось бы много для того, чтобы отказываться от приглашений на всякого рода торжества и обеды — эти сущие бичи русского великосветского общества. Я старался принимать как можно меньше приглашений частных лиц, интересуясь больше придворными празднествами, которых я видел вполне достаточно. От чудес, которые ничего не говорят сердцу, быстро наступает пресыщение. Пусть утверждают, что высшее общество одинаково повсюду,— нигде придворные интриги не играют такой исключительной роли в жизни каждого человека, как в России.





Глава XI

Общение царя с народом. — Русская «Конституция». — Петергофский дворец. — Исключительное значение костюма. — Николай позирует. — Гостеприимство московитов. — Страх, парализующий мысль. — Восточный деспотизм. — Две нации в России. — Русским неведомо истинное счастье. — Лживые отзывы иностранцев. — О лицемерии. — Рабы рабов. — Империя каталогов. — Об интеллигенции. — Смертная казнь. — Шестидесятимиллионная тюрьма. — Часы сардинского посла.

Петергофский праздник нужно рассматривать с двух точек зрения: материальной и, если можно так выразиться, моральной. В зависимости от того или другого подхода торжество производит совершенно различное впечатление.

Я не видел ничего прекраснее для глаз и ничего печальнее для ума, чем это псевдонародное единение придворных и крестьян, собранных под одной кровлей, но глубоко чуждых друг другу. В общественном смысле это производит очень неприятное впечатление, ибо из ложно понятой жажды популярности император унижает знатных, не возвышая мелкий люд. Все люди равны перед богом, а для русских монарх — это бог. Он так высоко парит над землей, что не видит различий между господином и рабом, мелкие оттенки, разделяющие род человеческий, ускользают от его божественного взора. Так горы и долины, бороздящие поверхность земного шара, незаметны для глаза обитателя солнца.

Когда император два раза в год* раскрывает двери своего дворца перед привилегированными крестьянами и избранными горожанами, он этим не говорит купцу

---

* 1 января в Петербурге и в день тезоименитства императрицы, 22 июля, в Петергофе.— *Прим. автора.*

или батраку: «Ты такой же человек, как и я», но говорит дворянину: «Ты такой же раб, как и они, а я, ваш бог, равно властвую над всеми вами». Таков, в сущности, если отбросить все политические фикции, моральный смысл этого праздника, портящий в моих глазах всю его прелесть. Кроме того, я заметил, что монарху и рабам он доставлял гораздо больше удовольствия, чем придворным.

Искать подобия популярности в равенстве подданных — жестокая забава деспота. Она могла бы ослепить, пожалуй, наших предков, но не введет в заблуждение народ, достигший умственной и нравственной зрелости. Конечно, не император Николай ввел в обиход эти всенародные приемы, но тем достойнее для него было бы покончить с ними. Правда, в России ни с чем нельзя покончить без некоторой опасности для реформатора: народы, лишенные законных гарантий своих прав, ищут убежища в обычаях. Слепая преданность дедовским обычаям, отстаиваемым бунтом и ядом,— один из столпов русской «конституции», и насильственная смерть многих монархов доказывает, что русские заставляют уважать эту «конституцию» [70]. Равновесие подобной системы представляется мне неразрешимой загадкой.

Если подойти к петергофскому празднику как к великолепному зрелищу, как к живописному скоплению людей всех званий в роскошных и живописных нарядах, то он окажется выше всяких похвал. Сколько я о нем ни читал, сколько мне ни рассказывали, я не ожидал ничего подобного: действительность превзошла самую пылкую фантазию.

Представьте себе дворец, выстроенный на природной террасе, которая по высоте может сойти за гору в стране беспредельных равнин, в стране столь плоской, что при подъеме на холм в шестьдесят футов высотой горизонт расширяется чуть ли не до бесконечности [71]. У подножия этой внушительной террасы начинается прекрасный парк, доходящий до самого моря, где вытянулись в линию военные суда, иллюминованные в вечер праздника. Волшебное зрелище! Огни загораются, сверкают, растут, как пожар, и наконец заливают все пространство от дворца до вод Финского залива. В парке становится светло, как днем. Деревья освещаются солнцами всех цветов радуги. Не тысячи, не десятки, а сотни тысяч огней насчитываются в этих садах Армиды [72]. А вы любуетесь всем этим из окон дворца, переполненного толпой на-

рода, ведущего себя так, словно он всю жизнь провел при дворе.

Однако, хотя целью праздника было стереть различия между сословиями, они все же не смешиваются друг с другом в толпе. Несмотря на жестокий удар, нанесенный аристократии деспотизмом, в России еще существуют касты. В этом можно усмотреть лишнюю черту сходства с Востоком и одно из разительнейших противоречий общественного строя, созданного нравами народа, с одной стороны, и усилиями правительства — с другой. Так, на этом празднике, истинной оргии самодержавной власти, отовсюду, сквозь видимый беспорядок бала, проглядывали черты порядка, господствующего в стране. Те, кого я встречал, были то купцы, то солдаты, то крестьяне, то придворные, и все отличались друг от друга по костюму. Человек, который не имел бы других отличий, кроме личных заслуг, показался бы здесь аномалией. Не нужно забывать того, что мы находимся здесь на рубеже Азии: русский во фраке кажется мне иностранцем у себя на родине.

Бал оказался настоящим столпотворением. Он считается маскированным потому, что мужчины носят за плечами кусок шелка, именуемый венецианским плащом. Этот «плащ» комично болтается поверх мундиров. Полные народом залы старого дворца представляют собой море лоснящихся от масла голов, над которыми господствует благородная голова императора. Николай I, по-видимому, умеет подчинять себе души людей, а не только возвышаться над толпой по росту. От него исходит какое-то таинственное влияние. В Петергофе, как и на параде, как и на войне, как во все моменты его жизни, вы видите в нем человека, который царствует.

Такое позирование своей царственностью было бы настоящей комедией, если бы от этого постоянного театрального представления не зависело существование шестидесяти миллионов людей, которые живут лишь потому, что этот человек, выступающий перед вами в роли монарха, милостиво разрешает им дышать и предписывает, какими способами должно пользоваться его разрешением. Такова серьезная сторона представления. Отсюда вытекают столь важные последствия, что страх перед ними скоро заглушает желание смеяться.

Нет в наши дни на земле человека, который пользовался бы столь неограниченной властью. Вы не найдете такого ни в Турции, ни даже в Китае. Представь-

те себе все столетиями испытанное искусство наших правительств, предоставленное в распоряжение еще молодого и полудикого общества; весь административный опыт Запада, используемый восточным деспотизмом; европейскую дисциплину, поддерживающую азиатскую тиранию; полицию, поставившую себе целью скрывать варварство, а не бороться с ним; тактику европейских армий, служащую для проведения восточных методов политики; вообразите полудикий народ, которого милитаризировали и вымуштровали, но не цивилизовали,— и вы поймете, в каком положении находится русский народ.

Воспользоваться всеми административными достижениями европейских государств для того, чтобы управлять на чисто восточный лад шестидесятимиллионным народом,— такова задача, над разрешением которой со времен Петра I изощряются все монархи России.

Знаете ли вы, что значит путешествовать по России? Для поверхностного ума это значит питаться иллюзиями. Но для человека мало-мальски наблюдательного и обладающего к тому же независимым характером это тяжелый, упорный и неблагодарный труд. Ибо такой путешественник с величайшими усилиями различает на каждом шагу две нации, борющиеся друг с другом: одна из этих наций — Россия, какова она есть на самом деле, другая — Россия, какою ее хотели бы показать Европе.

Русское правительство, проникнутое византийским духом, да, можно сказать, и Россия в целом всегда смотрели на дипломатический корпус и вообще на европейцев как на завистливых и злорадных шпионов. В этом отношении между русскими и китайцами наблюдается разительное сходство: и те и другие уверены, что мы им завидуем. Они судят нас по себе.

Столь прославленное гостеприимство московитов тоже превратилось в чрезвычайно тонкую политику. Она состоит в том, чтобы как можно больше угодить гостям, затратив на это как можно меньше искренности. И наилучшей репутацией пользуются те путешественники, которые легче других даются в обман. Здесь вежливость есть не что иное, как искусство взаимно скрывать тот двойной страх, который каждый испытывает и внушает. Всюду и везде мне чудится прикрытая лицемерием жестокость, худшая, чем во времена татарского ига: современная Россия гораздо ближе к нему, чем нас хотят уверить. Везде говорят на языке просветительной философии XVIII века, и везде я вижу самый невероятный гнет.

Мне говорят: «Конечно, мы хотели бы обойтись без произвола, мы были бы тогда богаче и сильнее. Но, увы, мы имеем дело с азиатским народом». И в то же время говорящие думают: «Конечно, хорошо было бы избавиться от необходимости говорить о либерализме и филантропии, мы стали бы счастливее и сильнее, но, увы, нам приходится иметь дело с Европой».

Русские всех званий и состояний с удивительным, нужно сознаться, единодушием способствуют подобному обману. Они до такой степени изощрены в искусстве лицемерия, они лгут с таким невинным и искренним видом, что положительно приводят меня в ужас. Все, чем я восхищаюсь в других странах, я здесь ненавижу, потому что здесь за это расплачиваются слишком дорогой ценой. Порядок, терпение, воспитанность, вежливость, уважение, естественные и нравственные отношения, существующие между теми, кто распоряжается, и теми, кто выполняет, одним словом, все, что составляет главную прелесть хорошо организованных обществ, все, в чем заключается смысл существования политических учреждений, все сводится здесь к одному-единственному чувству — к страху. В России страх заменяет, вернее, парализует мысль. Когда чувство страха господствует безраздельно, оно способно создать только видимость цивилизации. Что бы там ни говорили близорукие законодатели, страх никогда не сможет стать душою правильно организованного общества, ибо он не создает порядка, а только прикрывает хаос. Где нет свободы, там нет души и правды. Россия — тело без жизни или, вернее, колосс, живущий только головой: все члены его, лишенные силы, постепенно отмирают. Отсюда проистекает глубочайшее беспокойство, какое-то трудноопределимое и тягостное чувство, охватывающее всех в России. Корни этого чувства не в смутных идеях, не в пресыщении материальным прогрессом, не в порожденной конкуренцией зависти, как у новоиспеченных французских революционеров; оно является выражением реальных страданий, симптомом органической болезни.

Россия, думается мне, единственная страна, где люди не имеют понятия об истинном счастье. Во Франции мы тоже не чувствуем себя счастливыми, но мы знаем, что счастье зависит от нас самих; в России оно невозможно. Представьте себе республиканские страсти (ибо, повторяю еще раз, под властью русского императора царствует мнимое равенство), клокочущие в безмолвии

деспотизма. Это сочетание сулит миру страшное будущее. Россия — котел с кипящей водой, котел крепко закрытый, но поставленный на огонь, разгорающийся все сильнее и сильнее. Я боюсь взрыва. И не я один его боюсь! Император испытывал те же опасения несколько раз в течение своего многотрудного царствования, тяжелого и полного забот, как в периоды мира, так и во время войны. Ибо в наши дни империи подобны машинам, ржавеющим от бездействия и изнашивающимся от работы.

Итак, эта голова без тела, этот монарх без народа дает народные празднества. Мне кажется, что прежде чем искать популярности в народе, следовало бы создать самый народ.

Право, эта страна поразительно поддается всем видам обмана. Рабы существуют во многих странах, но чтобы найти такое количество придворных рабов, нужно приехать в Россию. Не знаешь, чему больше удивляться: лицемерию или противоречиям, господствующим в этой империи. Екатерина II не умерла, ибо, вопреки открытому характеру ее внука, Россиею по-прежнему правит притворство. Искренно сознаться в тирании было бы здесь большим шагом вперед.

В этом, как и во многих других случаях, иностранцы, описывавшие Россию, помогали русским обманывать весь мир. Что может быть угодливей писателей, сбежавшихся сюда со всех концов Европы, чтобы проливать слезы умиления над трогательной фамильярностью отношений, связывающих русского царя с его подданными? Неужели престиж деспотизма так силен, что подчиняет себе даже не мудрствующих лукаво любопытных? Либо Россию еще не описывали люди, независимые по своему общественному положению или духовным качествам, либо даже самые искренние умы, попадая в Россию, теряют свободу суждений.

Что касается меня, то я охраняю себя от этих влияний отвращением, которое испытываю ко всякому лицемерию. Я ненавижу лишь одно зло, и ненавижу его так потому, что, по моему мнению, оно порождает и заключает в себе все остальные. Это ненавистное мне зло — ложь. Везде, где мне приходилось сталкиваться с ложью, я старался ее разоблачать. Отвращение к неправде придает мне желание и смелость описать это путешествие. Я предпринял его из любопытства, я рассказываю о нем по чувству долга. Любовь к истине так сильна

во мне, что заставляет даже любить современную эпоху. Если наш век и грубоват немного, то он, во всяком случае, искренней, чем его предшественник. Он отличается отвращением, которое я вполне разделяю, к притворству всякого рода. Ненависть к лицемерию — вот факел, светящий мне в лабиринте мира. Те, кто обманывают своих ближних, представляются мне отравителями, и чем выше занимаемое ими общественное положение, тем они виновнее в моих глазах.

Вот почему я вчера не мог наслаждаться от всего сердца зрелищем, ласкавшим помимо воли мое зрение. Если это зрелище и не было столь трогательно, как старались меня уверить, то оно, во всяком случае, было пышно, великолепно, оригинально. Но оно казалось мне проникнутым ложью, и этого было достаточно, чтобы лишить его для меня всякой прелести. Стремление к правде, воодушевляющее ныне французов, еще неизвестно в России.

В конце концов, что представляет собой эта толпа, именуемая народом и столь восхваляемая в Европе за свою фамильярную почтительность к монарху? Не обманывайте себя напрасно: это — рабы рабов. Вельможи с большим разбором выбирают в своих поместьях крестьян и посылают их приветствовать императрицу. Этих отборных крестьян впускают во дворец, где они изображают народ, не существующий за его стенами, и смешиваются с придворной челядью. Последняя открывает двери дворца наиболее благонадежным и известным своей лояльностью купцам, ибо подлинно русским людям необходимо присутствие нескольких бородатых личностей. Так на самом деле составляется тот «народ», которого преданность и прочие замечательные чувства русские монархи ставят в пример другим народам, начиная со времен императрицы Елизаветы. Ею, кстати сказать, и заведены, по-видимому, эти народные празднества.

Вчера некоторые придворные восхваляли при мне благовоспитанность своих крепостных. «Попробуйте-ка устроить такой праздник во Франции»,— говорили они. «Прежде чем сравнивать оба народа,— хотелось мне ответить,— подождите, чтобы ваш народ начал существовать».

Россия — империя каталогов: если пробежать глазами одни заголовки — все покажется прекрасным. Но берегитесь заглянуть дальше названий глав. Откройте книгу — и вы убедитесь, что в ней ничего нет: прав-

да, все главы обозначены, но их еще нужно написать. Сколько лесов являются лишь болотами, где не собрать и вязанки хвороста. Сколько есть полков в отдаленных местностях, где не найти ни единого солдата. Сколько городов и дорог существуют лишь в проекте. Да и вся нация, в сущности, не что иное, как афиша, расклеенная по Европе, обманутой дипломатической фикцией. Настоящая жизнь сосредоточена здесь вокруг императора и его двора.

Средний класс мог бы образоваться из купечества, но оно так малочисленно, что не имеет никакого влияния. Артистов немногим больше, но если их немногочисленность доставляет им уважение сограждан и способствует личному преуспеянию, то она же сводит на нет их социальное значение. Адвокатов не может быть в стране, где отсутствует правосудие. Откуда же взяться среднему классу, который составляет основную силу общества и без которого народ превращается в стадо, охраняемое хорошо выдрессированными овчарками?

Я не упомянул одного класса, представителей которого нельзя причислить ни к знати, ни к простому народу: это — сыновья священников. Из них преимущественно набирается армия чиновников — эта сущая язва России. Эти господа образуют нечто вроде дворянства второго сорта, дворянства, чрезвычайно враждебного настоящей знати, проникнутого антиаристократическим духом и вместе с тем угнетающего крепостных. Я уверен, что этот элемент начнет грядущую революцию в России.

Повторяю еще раз: все в России — один обман, и милостивая снисходительность царя, допускающего в раззолоченные чертоги своих рабов, только лишняя насмешка.

Смертная казнь не существует в России, за исключением случаев государственной измены. Однако некоторых преступников нужно отправить на тот свет. В таких случаях для того, чтобы согласовать мягкость законов с жестокостью нравов, поступают следующим образом: когда преступника приговаривают более чем к ста ударам кнута, палач, понимая, что означает такой приговор, из чувства человеколюбия убивает приговоренного третьим или четвертым ударом. Но смертная казнь отменена [73]. Разве обманывать подобным образом закон не хуже, чем открыто провозгласить самую безудержную тиранию?

Среди шести или семи тысяч представителей этого лженарода, скопившегося вчера вечером в петергофском

дворце, я напрасно искал хотя бы одно веселое лицо: люди не смеются, когда лгут.

Можно доверять моей оценке самодержавного образа правления, ибо я приехал в Россию именно с целью найти в ее строе рецепт против бедствий, угрожающих Франции. Если вам кажется, что я сужу Россию слишком строго, знайте, что виною тому лишь те невольные впечатления, которые я получаю ежедневно и которые каждый истинный друг человечества на моем месте истолковывал бы точно таким же образом.

Сколь ни необъятна эта империя, она не что иное, как тюрьма, ключ от которой хранится у императора. И если что-либо может сравняться с горем подданных, то только печальное положение монарха. Жизнь тюремщика в моих глазах ничем не лучше жизни заключенного. Поэтому меня всегда удивляла своеобразная умственная аберрация, из-за которой первый считает второго бесконечно более заслуживающим сострадания.

В России человек не знает ни возвышенных наслаждений культурной жизни, ни полной и грубой свободы дикаря, ни независимости и безответственности варвара. Тому, кто имел несчастье родиться в этой стране, остается только искать утешения в горделивых мечтах и надеждах на мировое господство. К такому выводу я прихожу всякий раз, когда пытаюсь анализировать моральное состояние жителей России. Россия живет и мыслит, как солдат армии завоевателей. А настоящий солдат любой страны — не гражданин, но пожизненный узник, обреченный сторожить своих товарищей по несчастью, таких же узников, как и он.

Итак, все в России сосредоточено в особе монарха. Он задает тон всему, а придворные хором подхватывают припев. Русские придворные напоминают мне марионеток со слишком толстыми веревочками.

Не верю я и в честность мужика. Меня с пафосом уверяют, что он не сорвет ни одного цветка в садах своего царя. Этого я и не думаю оспаривать. Я знаю, какие чудеса творит страх. Но я знаю также, что эти крестьяне-«царедворцы» не пропустят случая обокрасть своего сотрапезника-вельможу, если последний, чрезмерно растрогавшись поведением меньшого брата и доверившись его высокой честности, хоть на минуту перестанет следить за движениями его рук.

Вчера на придворно-народном балу в петергофском дворце у сардинского посла чрезвычайно ловко выта-

щили из кармана часы, несмотря на наличие предохранительной цепочки. Многие из присутствующих потеряли в сумятице носовые платки и другие вещи. Я лично лишился кошелька, но утешился в этой потере, посмеиваясь втихомолку над похвалами, расточаемыми честности русского народа. Его хвалители хорошо знают, чего стоят их громкие фразы, и я очень доволен тем, что также познал его. Как бы русские ни старались и что бы они ни говорили, каждый искренний наблюдатель увидит в них лишь византийцев времен упадка, обученных современной стратегии пруссаками XVII века и французами нынешнего столетия.

Я очень люблю уклоняться в сторону. Некоторая беспорядочность изложения любезна моему сердцу, влюбленному во все, что напоминает свободу. Кажется, я избавился бы от привычки к отступлениям только в том случае, если бы пришлось каждый раз просить прощения у читателя и придумывать всякие стилистические уловки, ибо тогда умственные усилия отравили бы удовольствие.





Глава XII

Петергофский праздник. — Местоположение Петергофа. — Победа человеческой воли. — Праздничная толпа. — Сказочный фейерверк. — Ночлег. — Веселье по команде. — Цесаревич Константин о войне. — Выход императора. — Катастрофа на море. — «Трудовой день» императрицы. — Ужин. — Иллюминация парка. — Смотр кадетам. — Восточная джигитовка.

Местоположение Петергофа очень живописно. От дворца вы спускаетесь с террасы на террасу по великолепной лестнице в парк, украшенный фонтанами и искусственными каскадами в стиле Версаля. Там и сям по парку разбросаны небольшие холмики и насыпи; взойдя на них, вы видите море, берега Финляндии, адмиралтейство русского флота — остров Котлин с его одетыми гранитом, едва выступающими из воды стенами, а вдалеке справа, милях в девяти, белый Петербург, кажущийся на таком расстоянии веселым и блестящим, похожим в сумерках заката на освещенный пожаром сосновый лес. Колоннады его храмов и башни колоколен напоминают осребренные пирамиды сосен. В чащи этого леса, разрезанного рукавами реки, несет свои воды Нева, величественная дельта которой под стать настоящей большой реке. Еще один обман. Положительно природа здесь в заговоре с людьми и также старается одурачить сбитого с толку путешественника.

Когда я думаю обо всех препятствиях, которые должен был преодолеть здесь человек, чтобы получить возможность жить, чтобы построить город на месте медвежьих берлог и волчьих нор, город, достойный тщеславия великого монарха и великого народа, — тогда каждый куст, каждая роза кажутся мне настоящим чудом. Если Петербург — это оштукатуренная Лапландия, то Петергоф — дворец Армиды под стеклом. Не верится, что

находишься под открытым небом, видя вокруг себя столько изящества, блеска и зная, что несколькими градусами дальше северный год разделяется на день, ночь и сумерки, длящиеся по три долгих месяца. Я всегда готов восхищаться победами человеческой воли, но из этого не следует, что я должен часто давать волю своему восхищению.

В петергофском парке можно проехать с милю, не побывав два раза на одной и той же аллее; вообразите же себе весь этот парк в огне! В этой льдистой и лишенной яркого солнечного света стране иллюминации похожи на пожары. Кажется, будто ночь хочет вознаградить людей за тусклый день. Деревья исчезают под бриллиантовыми ризами, и в каждой аллее огней больше, чем листьев. Перед вами Азия, не реальная Азия наших дней, но сказочный Багдад из «Тысячи и одной ночи» или еще более сказочный Вавилон времен Семирамиды [74].

Говорят, что в день тезоименитства императрицы шесть тысяч экипажей, тридцать тысяч пешеходов и бесчисленное множество лодок покидают Петербург и располагаются лагерем вокруг Петергофа. Это единственный день, когда я видел настоящую толпу в России. Штатский бивуак в насквозь военной стране сам по себе уже диковинка. Конечно, войска тоже принимают участие в празднестве: часть гвардии и кадетские корпуса стоят в лагерях около царской резиденции. И весь этот люд — офицеры, солдаты, купцы, крепостные, дворяне, царедворцы — бродит, перемешавшись друг с другом, в лесу, откуда мрак ночной изгнан двумя с половиной сотнями тысяч огней.

Мне назвали эту цифру, и я ее повторяю наобум, ибо для меня двести тысяч и два миллиона не составляют разницы — я не имею соответствующего глазомера. Я знаю одно: это огромное количество огней дает столько света, что перед ним меркнет естественный свет северного дня. В России император затмевает солнце. К концу лета ночи здесь вступают в свои права и быстро увеличиваются, так что без иллюминации вчера было бы темно в течение нескольких часов.

Мне передавали еще, что тысяча восемьсот человек зажигают в тридцать пять минут все огни парка. Примыкающая к дворцу часть парка освещается в пять минут. Напротив главного балкона дворца начинается канал, прямой, как стрела, и доходящий до самого

моря. Эта перспектива производит магическое впечатление: водная гладь канала обрамлена таким множеством огней и отражает их так ярко, что кажется жидким пламенем. Нужно иметь богатейшее воображение, чтобы изобразить словами волшебную картину иллюминации. Огни расположены с большой изобретательностью и вкусом, образуя самые причудливые сочетания. Вы видите то огромные, величиной с дерево, цветы, то солнца, то вазы, то трельяжи из виноградных гроздьев, то обелиски и колонны, то стены с разными арабесками в мавританском стиле. Одним словом, перед вашими глазами оживает фантастический мир, одно чудо сменяет другое с невероятной быстротой. Голова кружится от целых потоков сверкающих всеми цветами радуги драгоценных камней на драпировках и нарядах гостей. Все горит, блестит, везде море пламени и бриллиантов. Становится страшно, как бы это великолепное зрелище не закончилось грудой пепла, подобно настоящему пожару.

В конце канала, у моря, на колоссальной пирамиде разноцветных огней возвышается вензель императрицы, горящий ослепительно белым пламенем над красными, зелеными и синими огнями. Он кажется бриллиантовым плюмажем, окруженным самоцветными камнями. Все это такого огромного масштаба, что вы не верите своим глазам. «Сколько труда положено на праздник, длящийся несколько часов,— это немыслимо,— твердите вы,— это слишком грандиозно, чтобы существовать на самом деле. Нет, это сон влюбленного великана, рассказанный сумасшедшим поэтом».

Тягостное чувство, не покидающее меня с тех пор, как я живу в России, усиливается от того, что все говорит мне о природных способностях угнетенного русского народа. Мысль о том, чего бы он достиг, если бы был свободен, приводит меня в бешенство.

Не менее, пожалуй, интересны, чем самый праздник, те эпизоды, которые ему сопутствуют. В течение двух или трех ночей вся скопившаяся в Петергофе масса народа живет на бивуаке вокруг села. Женщины спят в каретах или колясках, крестьянки — в своих телегах. Все повозки, сотнями заключенные в сколоченные из досок сараи, представляют собой чрезвычайно живописный лагерь, достойный кисти талантливого художника. Этот лагерь, в котором бок о бок живут кони, господа и слуги, возникает в силу необходимости, так как в Петергофе имеется весьма ограниченное число довольно грязных

домишек и комната стоит от двухсот до пятисот рублей ассигнациями (75—160 рублей серебром).

Посланники с семьями и свитой, а также представленные ко двору иностранцы получают квартиру и стол за счет императора. Для этой цели отведено обширное и изящное здание, называемое Английским дворцом. Это здание расположено в четверти мили от императорского дворца посреди прекрасного парка, разбитого в английском стиле и оживленного прудами и ручейками. Обилие воды и холмистая, столь редкая в окрестностях Петербурга местность придают много прелести этому парку. Так как в нынешнем году число иностранцев оказалось больше обычного, для всех не нашлось места в Английском дворце. Поэтому я не ночую, но лишь обедаю там ежедневно за отлично сервированным столом в обществе дипломатического корпуса и семи- или восьмисот человек.

Для ночевки главный директор императорских театров предоставил в мое распоряжение две артистические уборные петергофского театра. Мое жилище вызывает всеобщую зависть. Я ни в чем не испытываю недостатка, если не считать кровати. К счастью, я захватил с собою из Петербурга мою походную кровать — предмет первой необходимости для путешествующего по России иностранца, если только он не предпочитает проводить ночь на полу, завернувшись в ковер.

Бивуак «штатского» населения — самое живописное пятно в Петергофе, так как в военных лагерях господствует обычное тоскливое однообразие. Во всякой другой стране такое огромное скопление людей сопровождалось бы оглушительным шумом и сумятицей. В России же все происходит чинно и степенно, все приобретает характер торжественной церемонии. При виде всех этих молодых, здоровых людей, собравшихся сюда для собственного развлечения или для развлечения других и не смеющих ни петь, ни смеяться, ни играть, ни драться, ни плясать, ни бегать, на ум приходит мысль: не партия ли это каторжников, собранных для отправки к месту назначения? Опять воспоминания о Сибири... Всему, виденному мною в России нельзя, безусловно, отказать в величии и пышности, даже во вкусе и изяществе. Недостает одного лишь — веселья. Нельзя веселиться по команде. Наоборот, команда изгоняет веселость подобно тому, как нивелир и шнур уничтожают живописность пейзажа. Все в России симметрично и приглажено, во всем царит строгий порядок, но то, что придало бы ценность этому порядку,—

некоторое разнообразие, необходимое для гармонии,— совершенно неизвестно.

Солдаты в лагерях подчинены дисциплине еще более строгой, чем в казарме. Такой суровый режим среди глубокого мира, и к тому же в день народного празднества, заставляет меня вспомнить отзыв великого князя Константина о войне: «Я не люблю войны,— сказал он однажды,— она портит солдат, пачкает мундиры и подрывает дисциплину». Великий князь не был откровенен до конца: он имел и другие основания недолюбливать войну, что и доказал своим поведением в Польше [75].

В день бала мы явились во дворец к семи часам вечера. Придворные особы, дипломатический корпус, приглашенные иностранцы и так называемый «народ» — все входят вперемежку в раззолоченные апартаменты. Для мужчин, кроме мужиков в национальных костюмах и купцов в кафтанах, обязателен, как я уже говорил, венецианский плащ поверх мундира. Правило это соблюдается весьма строго, так как бал считается маскарадом.

Сдавленные толпой, мы довольно долго ожидали появления императора и прочих особ царствующего дома. Но как только император, это солнце дворцовой жизни, появляется на горизонте, толпа перед ним раздается. Он проходит в сопровождении пышного кортежа совершенно свободно там, где, казалось бы, секундой раньше не нашлось места ни одному лишнему человеку. Как только его величество исчезает, толпа крестьян смыкается снова, подобно волнам за кормой корабля. В течение двух или трех часов государь танцует полонез с дамами императорской фамилии и свиты, причем удивительно, как толпа, не зная, в какую сторону направятся танцующие во главе с императором, все же расступается вовремя, чтобы не стеснить движение монарха.

Император беседует с несколькими бородатыми мужами в национальных костюмах, затем в десять с половиной часов подает знак, и иллюминация начинается. Я уже упоминал, с какой поистине феерической быстротой зажигаются тысячи огней.

Меня уверяли, что обычно в этот момент корабли императорского флота приближаются к берегу и отдаленными орудийными залпами вторят музыке. Вчера плохая погода лишила нас этого великолепного представления. Впрочем, один француз говорил мне, что из года в год иллюминация кораблей отменяется по тем или другим

причинам. Судите сами, кому верить — русским или иностранцу?

Вчера днем нам казалось, что вообще иллюминация не состоится из-за дурной погоды. Около трех часов дня, в то время как мы обедали, над Петергофом пронесся страшный шквал. Деревья парка закачались, их ветви касались земли. Хладнокровно наблюдая эту картину, мы были далеки от мысли, что сестры, матери и друзья многих сидящих за одним столом с нами в это время погибали на море в отчаянной борьбе со стихией. Наше беспечное любопытство граничило с веселостью, тогда как множество лодок шло ко дну вдали от берегов между Петербургом и Петергофом. Газеты будут молчать о несчастье, ибо говорить о нем — значит огорчить императрицу и обвинить императора.

Происшедшее скрывалось в строгой тайне в течение всего вечера, никто не обмолвился словом во время праздника. Да и сегодня утром при дворе не заметно никаких признаков огорчения: этикет запрещает говорить о том, чем заняты мысли всех. Но даже и вне дворца об этом решаются говорить только мимоходом, украдкой, едва ли не шепотом.

Подобные катастрофы ежегодно омрачают петергофский праздник. Он превратился бы в глубокий траур, в торжественные похороны, если бы кто-либо, подобно мне, дал себе труд задуматься над тем, во что обходится все это великолепие. Но здесь такие мысли только мне приходят в голову.

Суеверные умы подмечали вчера не одно печальное предзнаменование. Три недели стояла прекрасная погода и испортилась только в день тезоименитства императрицы. Ее вензель не желал загораться. Человек, которому поручено это важное дело — кульминационный пункт всей иллюминации,— взбирается на вершину пирамиды и принимается за работу, но ветер задувает огни, едва он успевает их зажечь; он взбирается раз за разом, теряет равновесие и летит вниз с высоты семидесяти футов. Он убит на месте, его уносят. Вензель наполовину исчезает во мраке...

Необыкновенная худоба императрицы, ее болезненный вид и потухший взгляд усугубляют мрачность этих предзнаменований. Образ жизни, который она ведет, может стать для нее смертельным. Ежедневные балы и вечера для нее губительны. Но здесь нужно беспрестанно веселиться либо умереть от тоски — другого выбора нет.

Трудовой день императрицы начинается с раннего утра смотрами и парадами. Затем начинаются приемы. Императрица уединяется на четверть часа, после чего отправляется на двухчасовую прогулку в экипаже. Далее, перед поездкой верхом она принимает ванну. По возвращении — опять приемы. Затем она посещает несколько состоящих в ее ведении учреждений или кого-либо из своих приближенных. После этого сопровождает императора в один из лагерей, откуда спешит на бал. Так проходит день за днем, подтачивая ее силы. Те, у кого не хватает храбрости или здоровья для такой ужасной жизни, попадают в немилость. Как-то, беседуя со мной об одной весьма достойной, но хрупкой даме, императрица заметила: «Она вечно болеет». Эти слова были произнесены таким тоном, что я почувствовал в них приговор над участью целой семьи. В обществе, где не довольствуются добрыми намерениями, болезнь равносильна опале. Императрица наравне с другими принуждена расплачиваться своим здоровьем за монаршее благоволение. Поговаривают, что у нее чахотка, и опасаются, как бы зима в Петербурге не оказалась роковой для ее здоровья, но ни за что на свете она не решится провести шесть месяцев вдали от императора.

При виде этой интересной, но измученной страданиями женщины, блуждающей, как призрак, на празднике, который устроен в ее честь и которого она, быть может, больше не увидит, сердце мое обливается кровью. Несмотря на всю окружающую роскошь и величие, я не могу не думать о немощности человеческой природы.

Описываемый мною бал закончился ужином, после чего все общество, обливаясь потом (в переполненных народом апартаментах стояла совершенно невыносимая жара), разместилось по придворным повозкам своеобразного вида, называемыми линейками, и отправилось в прогулку по иллюминованному парку. Царила темная и влажная ночь, но, к счастью, сырость умерялась чадом бессчисленных плошек. Вы не можете себе представить, каким зноем дышали аллеи зачарованного леса — невероятное обилие огней нагревает парк, заливая его ослепительным светом.

Линейки — дроги с двойными сиденьями на восемь человек, размещающихся спиной друг к другу. Их формы, позолота, старинная упряжь лошадей — все производит пышное и оригинальное впечатление. Число таких линеек

значительно, их хватает на всех приглашенных, кроме крестьян и купечества.

Церемониймейстер указал мне место на одной из линеек, но в общей суматохе все рассаживались куда придется. Я не нашел ни своего слуги, ни пальто и взошел в конце концов на одну из последних линеек, поместившись рядом с русской дамой. Последняя не присутствовала на балу и приехала из Петербурга вместе с дочерьми, чтобы показать им иллюминацию. Мы разговорились. По тону я узнал в ней даму из общества, хотя суждения ее были гораздо откровенней, чем это принято в придворном кругу. Она называла мне по фамилиям всех лиц, проезжавших мимо нас, так как во время этой волшебной прогулки ряды линеек часто следовали друг мимо друга по параллельным аллеям. Таким образом одна часть царского кортежа производила смотр другой.

Если бы я не боялся утомить читателя и, больше того, внушить ему некоторое недоверие к моим восторгам, я бы сказал, что никогда в жизни не видел ничего поразительнее этого залитого огнями парка, по которому в торжественном молчании следуют придворные колесницы среди толпы народа, столь же тесной, как та, что наполняла залы дворца несколько минут тому назад. Прогулка эта продолжалась с час. Между прочим мы обогнули пруд, лежащий в конце парка. Версаль и прочие чудесные создания Людовика XIV больше ста лет не давали покоя европейским монархам. Около этого пруда иллюминация показалась мне особенно замечательной. На противоположном конце пруда, вода которого казалась жидким золотом от мириадов огней, стоит небольшой дом, также иллюминованный. В нем жил Петр Великий. Больше всего меня поразил цвет воды в этом пруду. Вообще вода и деревья чрезвычайно усиливают эффекты иллюминации. Мы проезжали мимо гротов, освещенных изнутри ярким пламенем, просвечивающим сквозь пелену ниспадающей воды. Эти пылающие каскады имеют феерический вид. Императорский дворец господствует над ними и как бы является их источником. Только он один не иллюминован, но необозримое море огней стремится к нему из парка, и, отражая их своими белыми стенами, он горит, как алмаз.

Эта прогулка по иллюминованному парку была, бесспорно, прекраснее всего в петергофском празднике. Но, повторяю еще раз, все волшебные чары не могут заменить непринужденной веселости. Никто не смеется, не тан-

цует, не поет. Говорят вполголоса, развлекаются с оглядкой. Можно подумать, что русские верноподданные до того приучены к почтительности, что не забывают о ней даже в минуты веселья. Одним словом, в Петергофе свободы так же не было в помине, как и во всей России.

Я добрался до моей комнаты, то есть до моей каморки, в половине первого. Но о сне нельзя было и думать, так как начался великий исход тысяч людей из парка. В России только лошади имеют право шуметь. Мимо моего окна катился непрерывный поток экипажей и повозок всех размеров, видов и фасонов в толпе пешеходов всякого звания, пола и возраста. Обычная жизнь вступала в свои права после натянутости царского праздника. Спешащие люди не имели ничего общего с чинным народом, наполнявшим парк несколько минут тому назад. Невольно напрашивается сравнение с заключенными, сбросившими с себя цепи. Эти вновь одичавшие орды, с ужасающей стремительностью рвущиеся по направлению к Петербургу, напомнили мне картины отступления великой армии, а павшие лошади по краям большой дороги увеличивали жуткое сходство.

Едва я успел раздеться и броситься в постель, как пришлось снова встать и почти бегом поспешить во дворец, чтобы присутствовать на смотре, который должен был делать государь кадетам. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что весь двор уже в сборе и ожидает императора. Дамы были в свежих утренних туалетах, мужчины — в парадных мундирах. Все казались бодрыми и оживленными, как будто великолепие и тяготы вчерашнего вечера утомили только меня одного. Я залился краской стыда за свою леность и почувствовал, что не рожден стать русским царедворцем. Пусть цепь позолочена, она от этого не делается легче.

Я с трудом проложил себе дорогу сквозь толпу и еще не дошел до отведенного мне места, когда император уже начал обход рядов своих мальчиков-офицеров. Государыня, столь утомленная накануне, ждала его в коляске. Я болел за нее душой, однако и в ней не было заметно следов упадка сил, поразившего меня накануне. Я с завистью глядел на пожилых придворных, легко несших то бремя, под тяжестью которого я уже изнемогал. Честолюбие здесь необходимое условие жизни. Без этого искусственного стимула люди были бы всегда печальны и угрюмы.

Император лично командовал смотром. Несколько очень удачно выполненных перестроений, по-видимому, вполне удовлетворили его величество. Он изволил взять за руку одного из самых юных кадетов, подвел его к императрице, затем поднял его на уровень своего лица, то есть над головой всех остальных, и публично его расцеловал. Какую цель преследовало это демонстративное проявление монаршего добродушия — не знаю. Никто не знал или не хотел мне этого объяснить. Я расспрашивал окружающих, кто отец осчастливленного царской милостью кадета, но оказалось, что и этого никто не знает. В России из всего делают тайну.

После парада императорская чета возвратилась во дворец, где состоялся прием всех желающих им представиться. Затем, около одиннадцати часов утра, государь с супругой вышел на балкон, перед которым солдаты черкесской гвардии проделали удачную джигитовку на великолепных азиатских лошадях [76]. Красота этих роскошно и оригинально обмундированных войск отлично гармонирует с характером двора, которому вопреки всем его усилиям суждено еще надолго остаться скорее восточным, нежели европейским.

К полудню, совершенно истощив свое любопытство и не обладая всесильным стимулом честолюбия, производящим здесь такие чудеса и могущим поддержать скромные человеческие силы, я возвратился домой и в полном изнеможении растянулся на кровати.





Глава XIII

Английский коттедж. — Кюстин очарован. — Наследник в роли Чичероне. — Отзвуки польского восстания. — Осмотр дворца. — Рабочий кабинет Николая. — Поездка в Ораниенбаум. — Резиденция Меншикова. — Судьба Петра III. — Памятники прошлого.

Я неотступно просил госпожу N показать мне коттедж императора и императрицы, небольшой дом, выстроенный ими в новом готическом стиле, модном ныне в Англии. «Нет ничего труднее,— отвечала она,— как попасть в коттедж во время пребывания там их величеств, и нет ничего легче этого, когда они отсутствуют. Все-таки я попытаюсь». Я нарочно остался в Петергофе, ожидая с большим нетерпением, но без особой надежды ответа госпожи N. Наконец однажды рано утром я получил от нее записку следующего содержания: «Приходите ко мне без четверти 11. Мне разрешили в виде исключительной милости показать вам коттедж во время прогулки государя и государыни, то есть ровно в одиннадцать часов; вы знаете, как они точны». Боясь опоздать, в половине одиннадцатого я был уже у госпожи N. В одиннадцать без четверти мы сели в экипаж, запряженный четверкой лошадей, и за несколько минут до назначенного срока подъехали к коттеджу [77]. Это совсем английский дом, построенный по образцу самых красивых вилл в окрестностях Лондона на берегу Темзы и окруженный цветниками и тенистыми деревьями. Не успели мы пройти через вестибюль, задержавшись на несколько минут в гостиной, меблировка которой показалась мне слишком изысканной для общего стиля дома, как вошел лакей и шепнул несколько слов моей спутнице.

— Императрица возвратилась,— сказала она.

— Как грустно,— воскликнул я,— я ничего не успею осмотреть!

— Может быть. Спуститесь в сад через эту террасу и ожидайте меня у входа в коттедж.

Я не провел там и двух минут, как увидел императрицу, быстро сходившую с крыльца мне навстречу. Ее высокая и стройная фигура необычайно грациозна, походка быстрая, легкая и вместе с тем полная достоинства. Лицо, окаймленное белым капором, казалось спокойным и свежим. Глаза смотрели с грустью и добротой. Грациозно отброшенный с лица вуаль и накинутый на плечи прозрачный шарф дополняли чрезвычайно изящный белый утренний туалет. Императрица казалась мне точно воскресшей, и при виде ее все мрачные предчувствия, тревожившие меня на балу, рассеялись.

— Я сократила свою прогулку,— сказала она мне,— потому что узнала, что вы здесь.

— О, ваше величество, я не смел надеяться на столь высокую милость.

— Я ни словом не обмолвилась о своем намерении госпоже N. Она очень недовольна моим вторжением и говорит, что я вам помешаю. Вы, вероятно, пришли сюда с целью разгадать все наши секреты?

— Я бы ничего не имел против, ваше величество. Можно только выиграть, узнав тайны людей, умеющих с таким вкусом соединять роскошь и изящество.

— Жизнь в петергофском дворце для меня невыносима. Чтобы отдохнуть от его тяжеловесной позолоты, я выпросила у государя эту скромную обитель. Никогда я не была так счастлива, как здесь. Но коттедж уже становится слишком велик для нас: одна из моих дочерей вышла замуж, а сыновья учатся в Петербурге.

Я молча улыбнулся, очарованный. Эта женщина, столь непохожая на царицу нашего праздника, какой я ее видел накануне, разделяет, думалось мне, все мои впечатления. Так же, как и я, говорил я себе, она почувствовала всю пустоту, всю лживость показного великолепия. Я сравнивал цветники коттеджа с люстрами дворца, сиянье утреннего солнца — с огнями иллюминации, тишину этого прекрасного уголка — с шумом и сумятицей бала, женщину — с императрицей и чувствовал, что поддаюсь обаянию вкуса и здравого смысла царицы, сумевшей уйти от скуки вечного «представительства» к радостям интимной жизни простых смертных.

— Я не хочу, чтобы госпожа N осталась права,— продолжала императрица.— Вы можете подробно осмот-

реть коттедж; мой сын вам его покажет. Тем временем я займусь моими цветами и еще увижу вас перед вашим уходом.

Таков был прием, оказанный мне государыней, которая слывет надменной не только в Европе, где ее совсем не знают, но и в России. В эту минуту к нам подошел великий князь Александр Николаевич в обществе госпожи N и ее старшей дочери, молоденькой девушки лет четырнадцати, свежей, как роза, и хорошенькой, как красотки Буше[78]. Я ждал, что императрица меня отпустит, но она продолжала ходить взад и вперед перед крыльцом коттеджа, и мы следовали за ней. Ее величеству известно, что я живо интересуюсь всей семьею госпожи N, польки по происхождению. Она знает также, что один из братьев этой дамы уже несколько лет живет в Париже. Поэтому она принялась с явным участием расспрашивать меня о его образе жизни, о его чувствах, взглядах, характере. Это дало мне возможность высказать все, что внушила мне привязанность к молодому поляку. Императрица слушала меня очень внимательно.

— И такому выдающемуся человеку запрещают сюда вернуться только потому, что после польского восстания он уехал в Германию!— воскликнула госпожа N с присущей ей искренностью, от которой ее не могла отучить жизнь при дворе с раннего детства.

— Но что же он, собственно, сделал?— спросила императрица с непередаваемой интонацией нетерпения и доброты в голосе.

Столь прямо поставленный вопрос привел меня в замешательство, ибо приходилось затронуть опасную область политики с риском испортить все. Поняв мое смущение, великий князь выручил меня с замечательным тактом.

— Полноте,— воскликнул он с живостью,— разве можно спрашивать у пятнадцатилетнего мальчика, что он сделал в политике?

Эта реплика дала мне возможность оправиться от смущения, но положила конец нашей беседе. По знаку императрицы мы, то есть великий князь, госпожа N с дочерью и я, направились в коттедж.

Я предпочел бы найти в нем поменьше роскоши в убранстве и побольше предметов искусства. Нижний этаж как две капли воды похож на любое жилище богатого и светского англичанина, но нет ни одной первоклассной

картины, ни одного обломка античного мрамора, ни одной терракоты, которые указывали бы на явно выраженную склонность хозяев к шедеврам живописи и скульптуры. Отсутствие любви к искусству у тех, кому было бы так легко ее удовлетворить, всегда вызывает во мне сожаление. Пусть не говорят, что дорогие статуи или картины были бы не в стиле коттеджа. Ведь этот дом — любимый уголок его обитателей, и если кто устраивает себе жилище по своему вкусу и имеет склонность к художествам, то эта склонность обязательно проявится, хотя бы даже в ущерб гармоничности целого. Больше всего мне не понравилось в расположении и обстановке этого изящного убежища слишком рабское подражание английской моде.

Нижний этаж мы осмотрели очень бегло из опасения наскучить нашему проводнику. Вообще присутствие августейшего чичероне меня сильно стесняло. Я знаю, что высочайшим особам очень не нравится наша застенчивость: они предпочитают, чтобы с ними держали себя непринужденно. От этого сознания я чувствую себя еще хуже, рискуя произвести на них совсем невыгодное впечатление. Будучи в обществе пожилого, серьезного принца крови, я могу еще спастись беседой, но с молодым, веселым и беззаботным наследником я теряюсь окончательно.

По очень узкой, но украшенной английскими коврами лестнице мы поднялись во второй этаж, в комнаты великих княжен Марии и Ольги, обставленные с прелестной простотой.

Остановившись на верхней площадке лестницы, великий князь сказал нам с изысканной вежливостью: «Я уверен, что вы предпочитаете осмотр без меня, а я, с другой стороны, видел все это столько раз, что с удовольствием оставлю вас вдвоем с госпожой N. Я сойду к матери и подожду вас в парке». С этими словами он грациозно поклонился нам и исчез.

В верхнем этаже коттеджа находится рабочий кабинет императора, представляющий собой довольно большую комнату, библиотеку, очень просто обставленную и кончающуюся балконом, выходящим на море. Император может отдавать приказы своему флоту, не выходя из кабинета. Для этой цели имеется зрительная труба, рупор и небольшой телеграф, приводимый в действие императором собственноручно [79].

Мне бы очень хотелось осмотреть эту комнату во

всех подробностях и задать целый ряд вопросов, но я опасался, как бы мое любопытство не показалось нескромным. Кроме того, меня больше интересует общая картина, а не отдельные детали. Я путешествую для того, чтобы наблюдать и составить себе суждение о вещах в целом, а не для того, чтобы их измерить и перенумеровать. Наконец, мне оказали особую честь, разрешив осмотреть коттедж в присутствии, так сказать, его обитателей, и я хотел показать себя достойным такого доверия, избегая чрезмерно подробного осмотра. Поделившись своими мыслями с госпожой N, которая вполне меня поняла, я поспешил к императрице и наследнику, чтобы откланяться.

Выйдя из коттеджа, я сел в экипаж и отправился в Ораниенбаум, знаменитую резиденцию Екатерины II, выстроенную Меншиковым. Несчастный, как известно, был выслан в Сибирь, не успев закончить отделку дворца, который был признан слишком царственным для министра [80]. Теперь он принадлежит великой княгине Елене, невестке нынешнего императора. Расположенный в двух или трех милях от Петергофа, на продолжении того же кряжа, на котором стоит петергофский дворец, неподалеку от моря, ораниенбаумский дворец имеет внушительный вид, хотя он и выстроен из дерева. Несмотря на безрассудную роскошь своего строителя и пышность великих людей, обитавших в нем впоследствии, дворец не поражает своими размерами. Террасы, лестницы и пологие спуски, утопающие в цветах, соединяют дворец с парком и чрезвычайно его украшают. Архитектура его сама по себе довольно скромная. Великая княжна Елена со свойственным ей вкусом превратила Ораниенбаум в прелестный уголок наперекор унылой местности и воспоминаниям о происшедшей здесь трагедии.

Осмотрев дворец, я попросил показать мне остатки крепостцы, откуда Петра III перевезли в Ропшу, где он был задушен. Меня повели в уединенную рощу со следами какого-то жилья. Высохшие рвы, полуисчезнувшие валы и груды камней — современные руины, обязанные своим происхождением не столько времени, сколько политическим событиям. Но жуткая тишина и безлюдье, окружающие эти проклятые развалины, красноречивей всяких слов говорят о том, что хотели бы скрыть от нашего взора. Здесь, как и везде, официальная ложь опровергается фактами. Люди исчезают, но

их дела оставляют неизгладимый след в зеркале истории. Если бы я и не знал, что замок Петра III был разрушен, я бы догадался об этом [81]. При виде усилий, с какими здесь стараются уничтожить память о прошлом, я удивляюсь тому, что еще сохраняют кое-что. Нужно было не только разрушить крепостцу, но и срыть до основания дворец, расположенный неподалеку отсюда. Ибо каждый приезжающий в Ораниенбаум видит следы тюрьмы, где Петра III заставили подписать отречение от престола, превратившееся для него в смертный приговор.

В ораниенбаумском парке, большом и тенистом, я посетил несколько павильонов, в которых Екатерина II принимала своих возлюбленных. Некоторые из них великолепны, иные очень безвкусны. В общем, их архитектура лишена стиля, хотя они достаточно хороши для своего назначения.

Возвратившись в Петергоф, я провел третью ночь в театре и утром уехал в Петербург.





Глава XIV

Подробности петергофской катастрофы. — Ложь охраняет престол. — Нация немых. — Масляничный эпизод. — Полиция выполняет свой «долг». — Кулачное право. — Правительственный террор. — Зверская расправа на Неве. — Отсутствие протестов. — Цивилизация прикрывает варварство. — Александровская колонна.

По последним собранным мною сегодня утром сведениям о петергофской катастрофе, ее размеры превзошли мои предположения. Впрочем, мы никогда не узнаем действительных размеров этого печального события. Каждый несчастный случай рассматривается здесь как государственное дело. Во всем виноват господь бог, забывший свои обязанности по отношению к императору.

Политические суеверия, составляющие душу этого общества, делают государя ответственным за все происходящее. Когда моего пса ударят, он просит у меня защиты; когда всевышний посылает напасти на русских, они взывают к царю. Самодержец, совершенно безответственный с политической точки зрения, отвечает за все. Это — естественный результат захвата человеком божеских привилегий. Монарх, позволяющий видеть в себе больше, чем смертного, принимает на себя все беды, могущие постигнуть народ в его царствование. Из этого своеобразного политического фанатизма вытекают невероятно щекотливые последствия, о которых не имеют понятия ни в одном другом государстве. Впрочем, тайна, которою полиция считает своим долгом окружать несчастья, меньше всего зависящие от человеческой воли, не достигает цели, ибо оставляет неограниченную свободу воображению. Каждый передает одни и те же факты по-разному в зависимости от своих

интересов, опасений, взглядов или настроений, в зависимости от своего положения в обществе или при дворе. Судите же сами, в каких мы бродим потемках, если даже происшествие, случившееся, так сказать, перед нашими глазами, должно навсегда остаться невыясненным. До сих пор я думал, что истина необходима человеку как воздух, как солнце. Путешествие по России меня в этом разубеждает. Лгать здесь — значит охранять престол, говорить правду — значит потрясать основы.

Вот два эпизода, за достоверность которых я ручаюсь.

Девять человек одной семьи, живущие вместе и недавно приехавшие из провинции, неосторожно наняли лодку без палубы, слишком хрупкую для плавания по морю. Разразилась буря. Ни один не вернулся. Уже три дня обыскивают все берега, и до сегодняшнего утра не было найдено никаких следов несчастных. Заявили о них соседи, так как у них нет родственников в Петербурге. Наконец нашли их ялик, выброшенный на песчаную косу вблизи от Петербурга. Но ни одного пассажира, ни одного матроса! Итак, вот вам девять точно установленных жертв, не считая моряков. А таких небольших суденышек было очень много. Сегодня утром наложили печати на двери опустевшего домика. Он стоит рядом с тем, в котором я живу; вследствие этого обстоятельства я и мог рассказать приведенные выше факты. В противном случае я бы не знал о них, как не знаю многих аналогичных. Политический сумрак более непроницаем, чем полярное небо...

Вот второй эпизод той же катастрофы.

Трое молодых англичан (я лично знаю старшего из них) несколько дней тому назад приехали в Петербург. Их отец в Англии, мать поджидает их в Карлсбаде. В день праздника два младших брата отправились в Петергоф. Старший отказался ехать, повторяя на их уговоры, что он нелюбопытен. Те двое отчаливают на небольшой парусной яхте, крича провожающему их благоразумному брату: «До завтра». Три часа спустя оба утонули вместе со многими женщинами, несколькими детьми и двумя или тремя мужчинами, выехавшими на той же яхте. Спасся только один матрос из команды, отличный пловец. Оставшийся в живых брат близок к помешательству от отчаяния и готовится к поездке в Карлсбад, чтобы сообщить матери ужасное известие.

Вы представляете себе, сколько разговоров, споров, предположений и криков вызвала бы такая катастрофа в любой другой стране, а в особенности во Франции. Газеты бы писали, и тысячи голосов подхватывали хором, что полиция ни за чем не смотрит, что лодки никуда не годны, а лодочники — жадные акулы, что власти не только ничего не делают для предотвращения таких несчастий, но даже их усугубляют то ли по своей беспечности, то ли по корыстолюбию и т. д. и т. п. Здесь — ничего подобного... Молчание еще более страшное, чем самая катастрофа. Две-три строчки в газете, а при дворе, в городе, в великосветских гостиных — ни слова. Если же там об этом не говорят, то, значит, не говорят и нигде. Маленькие чиновники еще напуганней, чем их начальники, и если последние молчат, то первые молчат и подавно. Остаются купцы и лавочники, но это народ хитрый и лукавый, как все, кто хочет жить и процветать в этой благословенной стране. Если они и говорят о предметах важных и, следовательно, небезопасных, то только на ушко и в четырех стенах.

России приказано не говорить о том, что может взволновать государыню. Таким-то способом ей дают возможность жить и умереть, танцуя. «Ах, это огорчило бы ее! Молчите». Поэтому тонут дети, друзья, родные — и никто не смеет плакать. Здесь все слишком несчастны для того, чтобы жаловаться. Русские — прирожденные царедворцы: солдаты, священники, шпионы, тюремщики, палачи — все выполняют свой долг низкопоклонства.

Я часто повторяю себе: здесь все нужно разрушить и заново создать народ.

Пожалуй, и о потопе было бы неудобно говорить, произойди он в царствование императора Николая. Русский народ — нация немых. Словно некий волшебник превратил шестьдесят миллионов человек в автоматы, ожидающие магической палочки другого чародея, чтобы возродиться к новой жизни. Страна эта напоминает мне замок спящей красавицы: все блестит, везде золото и великолепие. Все здесь есть, не хватает только свободы, то есть жизни.

Язва замалчивания распространена в России шире, чем думают. Полиция, столь проворная, когда нужно мучить людей, отнюдь не спешит, когда обращаются к ней за помощью.

Вот пример такой нарочитой бездеятельности.

На масленице текущего года одна моя знакомая в воскресенье отпустила со двора свою горничную. Приходит ночь, девушка не возвращается. Наутро встревоженная дама посылает человека навести справки в полиции. Там отвечают, что за ночь в Петербурге не случилось ни одного происшествия, поэтому горничная, несомненно, скоро возвратится целая и невредимая. Проходит день — о девушке ни слуху ни духу. Наконец на следующий день одному из родных несчастной, молодому человеку, хорошо знающему тайные повадки полиции, приходит в голову мысль проникнуть в анатомический театр. Не успев войти, он видит на столе труп своей кузины, приготовленный для вскрытия.

Как человек русский, он сохраняет достаточно присутствия духа, чтобы скрыть свое волнение.

— Чей это труп?

— Понятия не имеем. Эту девушку позавчерашней ночью нашли мертвой на улице. Предполагают, что она была задушена, обороняясь от каких-то неизвестных, пытавшихся изнасиловать ее.

— Кто же эти «неизвестные»?

— Откуда мы знаем? Случай вообще темный, можно строить разные предположения, доказательств нет никаких.

— Как к вам попал труп?

— Нам его продала тайком полиция; поэтому смотрите, не проговоритесь.

Последняя фраза — неизбежный припев в устах русского или акклиматизировавшегося иностранца. Для русских нравов и обычаев характерно глубокое молчание, окружающее подобные ужасы.

Кузен погибшей девушки молчал как убитый, ее хозяйка не посмела жаловаться. И я, быть может, единственный человек, которому она спустя шесть месяцев рассказала об этой трагедии, потому что я иностранец и потому что, как я ей сказал, я ничего не записываю.

Вы видите, как низшие служащие русской полиции выполняют свой долг. Боюсь, что наставления этих господ сопровождаются действиями, способными навсегда запечатлеть слова в памяти несчастных провинившихся. Русский простолюдин получает на своем веку не меньше побоев, чем делает поклонов. И те и другие применяются здесь равномерно в качестве методов социального воспитания народа. Бить можно только

людей известных классов, и бить их разрешается лишь людям других классов.

Я уже писал о вежливости, распространенной среди всех классов русского населения, и о том, чего она стоит на самом деле. Здесь я расскажу лишь несколько сценок, происходящих ежедневно перед моими глазами.

Итак, извозчики при встрече друг с другом церемонно снимают шляпы. В том случае, если они лично знакомы, они подносят руку к губам и целуют ее, прищурив глаза и фамильярно улыбаясь. Это ли не вежливость? А вот другая сторона медали: пройдя несколько шагов дальше, я вижу, как какой-то курьер, фельдъегерь или некто не выше его по рангу, выскакивает из своей брички, подбегает к одному из таких благовоспитанных кучеров и начинает осыпать его ударами. Он может бить его изо всей силы кулаками, палкой, кнутом в грудь, в лицо, по голове, куда попало. И несчастный, виноватый тем, что не посторонился достаточно быстро, не оказывает ни малейшего сопротивления из почтения к мундиру и касте своего мучителя. Такая безропотность провинившегося отнюдь не всегда сокращает время экзекуции.

Я видел, как один из подобных курьеров, гонец какого-либо министра или, быть может, лакей какого-то адъютанта императора, стащил с облучка молодого кучера и колотил его до тех пор, пока не разбил все лицо в кровь. На прохожих между тем эта зверская расправа не произвела никакого впечатления, а один из товарищей истязуемого, поивший неподалеку своих лошадей, даже подбежал к месту происшествия по знаку разгневанного фельдъегеря и держал под уздцы лошадь последнего, пока тому не заблагорассудилось прекратить экзекуцию. Попробуйте в какой-нибудь другой стране попросить помощи у человека из народа для расправы с его сотоварищем. Но мундир и служебное положение человека, наносившего удары, очевидно, давали ему право на избиение извозчика. Следовательно, наказание было законным. Тем хуже для страны, скажу я, в которой существуют подобные законы.

Рассказанный только что случай произошел в лучшей части города в разгар гулянья. Когда несчастного наконец отпустили, он обтер струившуюся по щекам кровь самым спокойным образом, взобрался на облучок и продолжал вежливо приветствовать своих товарищей по ремеслу.

Каждый день я слышу дифирамбы населению Петербурга за его кроткий нрав и мирный характер. В другой стране я восторгался бы таким спокойствием и тишиной; здесь они представляются мне самыми страшными симптомами зла, поражающего страну при самодержавии. Дрожат до того, что скрывают свой страх под маской спокойствия, любезного угнетателю и удобного для угнетенного. Тиранам нравится, когда кругом улыбаются. Благодаря нависшему над головами всех террору рабская покорность становится незыблемым правилом поведения. Жертвы и палачи одинаково убеждены в необходимости слепого повиновения.

Вмешательство полиции в драку подвергает дерущихся гораздо более чувствительным неприятностям, нежели тумаки, получаемые в пылу схватки. Поэтому в таких случаях стараются производить как можно меньше шума, дабы не привлечь внимания блюстителей порядка. Забвение этого обычая приводит к весьма печальным последствиям, как я мог убедиться сегодня утром.

Я проходил по набережной канала, загроможденного по обыкновению баржами с дровами. Между грузчиками, разгружавшими одну из барж, вдруг началась ссора, вскоре перешедшая в открытую потасовку. Зачинщик драки, почувствовав, что его дело плохо, ищет спасения в бегстве и с ловкостью белки взбирается на высокую мачту судна. До этого момента сценка казалась мне довольно забавной. Оседлав рею, беглец издевается над своими менее проворными противниками. Те, видя себя одураченными, забывают, что они благовоспитанные подданные русского царя, и проявляют свою ярость дикими криками и угрозами. Привлеченные воплями сражающихся, на театр военных действий являются два постовых полицейских и приказывают главному виновнику нарушения общественной тишины спуститься с насеста. Тот отказывается повиноваться; полицейский бросается на палубу баржи и повторяет приказание; ослушник упорствует в своем неповиновении и цепляется за мачту. Тогда разъяренный представитель власти собственной персоной карабкается на мачту и выполняет это столь успешно, что ему удается схватить бунтовщика за ногу. И как вы думаете, что он делает? Он изо всех сил тянет его вниз, не заботясь о последствиях. Несчастный, отчаявшись в своей участи и решив, по-видимому, что ему не уйти от возмездия, предается на волю судьбы. Разжав руки, он камнем летит вниз

с высоты двойного человеческого роста на штабель дров, где остается неподвижным.

Можете себе представить, как тяжело было падение. Голова несчастного со всей силы стукнулась о дрова. Я услышал звук удара, хотя остановился шагах в пятидесяти от места происшествия. Мне казалось, что упавший убит на месте, все его лицо было залито кровью. Однако он был только сильно оглушен и, придя в себя, он поднялся на ноги. Насколько можно заметить под потоками крови, его лицо мертвенно бледно.

Бунтовщика уносят, хотя он оказывает отчаянное и довольно продолжительное сопротивление. К борту баржи причаливает небольшая лодка с несколькими полицейскими. Пленника связывают, скручивают ему руки за спиной и носом вниз бросают в лодку. Это второе падение, немногим легче первого, сопровождается градом ударов. Но и на этом не кончаются пытки. Первый полицейский, герой единоборства на мачте, прыгает на спину поверженного противника и начинает топтать его ногами, как виноград в давильне. Неслыханная экзекуция сперва вырывает человеческие вопли и завывания жертвы. Когда они начали постепенно затихать, я почувствовал, что силы меня оставляют, и обратился в бегство. Все равно помешать я ничему не мог, а видел слишком много.

Вот чего я был очевидцем среди бела дня на улице столицы. Вышел я с целью пройтись и отдохнуть немного от трудов путешественника, описывающего свои впечатления. Но негодование мое было слишком сильно и заставило вновь взяться за перо.

Больше всего меня возмущает то, что в России самое утонченное изящество уживается рядом с самым отвратительным варварством. Если бы в жизни светского общества было меньше роскоши и неги, положение простого народа внушало бы мне меньше жалости. Богатые здесь — не сограждане бедных. Рассказанные факты и все то, что за ними скрывается и о чем можно только догадываться, заставили бы меня ненавидеть самую прекрасную страну земного шара. Тем больше я презираю это размалеванное болото, эту отштукаренную топь. «Что за преувеличения! — воскликнут русские. — Какие громкие фразы из-за пустяков». Я знаю, что вы называете это пустяками, и в этом вас и упрекаю! Ваша привычка к подобным ужасам объясняет ваше безразличное к ним отношение, но отнюдь его не оправды-

вает. Вы обращаете не больше внимания на веревки, которыми на ваших глазах связывают человека, чем на ошейники ваших собак.

Среди бела дня на глазах у сотен прохожих избить человека до смерти без суда и следствия — это кажется в порядке вещей публике и полицейским ищейкам Петербурга. Дворяне и мещане, военные и штатские, богатые и бедные, большие и малые, франты и оборванцы — все спокойно взирают на происходящее у них на глазах безобразие, не задумываясь над законностью такого произвола. Я не видел выражения ужаса или порицания ни на одном лице, а среди зрителей были люди всех классов общества. В цивилизованных странах гражданина охраняет от произвола агентов власти вся община; здесь должностных лиц произвол охраняет от справедливых протестов обиженного. Рабы вообще не протестуют.

Император Николай составил новое уложение [82]. Если рассказанные мною факты не противоречат законам этого кодекса, тем хуже для законодателя. Если же они незаконны, тем хуже для правителя. И в том, и в другом случае ответственность ложится на императора. Какое несчастье быть только человеком, принимая на себя обязанности господа бога! Абсолютную власть следовало бы вручать одним лишь ангелам.

За точность переданных мною фактов я ручаюсь — я ничего в них не прибавил и не убавил и записал их под свежим впечатлением, когда все малейшие подробности еще не изгладились из памяти.

Нравы народа являются продуктом взаимодействия между законами и обычаями. Они изменяются не по взмаху волшебной палочки, а чрезвычайно медленно и постепенно. Нравы русских, вопреки всем претензиям этого полуварварского племени, еще очень жестоки и надолго останутся жестокими. Ведь немногим больше ста лет тому назад они были настоящими татарами. И под внешним лоском европейской элегантности большинство этих выскочек цивилизации сохранило медвежью шкуру — они лишь надели ее мехом внутрь. Но достаточно их чуть-чуть поскрести — и вы увидите, как шерсть вылезает наружу и топорщится.

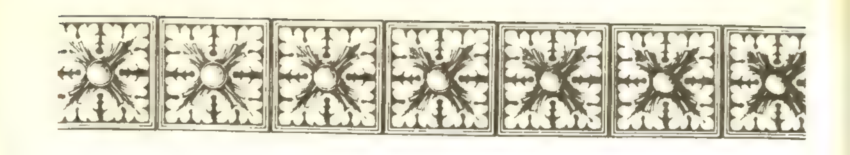
Разве из того, что дикарь обладает тщеславием светского человека, следует, что он приблизился к культуре? Я уже говорил и повторю еще раз: русские не столько хотят стать действительно цивилизованными, сколько

стараются нам казаться таковыми. В основе они остаются варварами. К несчастью, эти варвары знакомы с огнестрельным оружием. Намерения Николая подтверждают мои взгляды. Он еще до меня пришел к заключению, что время обманчивой внешности прошло для России и что все здание ее цивилизации должно быть перестроено. Он решил подвести под него новый фундамент. Петр, названный Великим, снес бы его вторично до основания, чтобы выстроить заново. Николай более ловок и осторожен. Он скрывает свои цели, чтобы тем вернее их достигнуть.

Взгляды ныне царствующего государя проявляются даже на улицах Петербурга. Он уже не довольствуется скороспелыми постройками из кое-как оштукатуренного кирпича. Камень повсюду вытесняет штукатурку, и здания солидной и массивной архитектуры скоро заставят исчезнуть ложноклассические декорации. Нужно вернуть народу первоначальный характер, дабы сделать его достойным истинной цивилизации. Чтобы народ мог достигнуть всего, на что он способен, он должен не копировать иностранцев, но развивать свой национальный, одному ему присущий дух.

В один прекрасный день семьдесят тысяч солдат и бесчисленная толпа народа во главе с императором залила огромную площадь, чтобы в благоговейном молчании присутствовать при водружении колонны, выполненной по проекту француза господина Монферрана (французы еще необходимы русским). Замысловатые машины действуют отлично, и в ту минуту, когда колоссальная колонна словно оживает и, освобожденная от пут, подымается все выше и выше, войска, и вся толпа, как один человек, и сам император падают на колени, чтобы возблагодарить бога за такое чудо и за те великие дела, которые он позволяет совершать своему народу [83].





Глава XV

Петербург в отсутствие государя. – Табель о рангах. – Борьба за чин. — Мечты о мировом господстве. — О характере русских. – Опасность войны. — Китайские церемонии. — Недоверие к иностранцам. — Формальности при отъезде за границу. – Пародия на античность. — Невские набережные. — Петербургские соборы. — Эрмитаж. — Дуэль Пушкина. — Лицемерная скорбь Николая. — Ссылка Лермонтова. — Кавказ. — Школа для русских поэтов.

Нет ничего печальнее Санкт-Петербурга в отсутствие императора. Правда, этот город вообще нельзя назвать веселым, но без государя и его двора он превращается в пустыню. Как известно, он живет под вечной угрозой наводнения, и, проходя сегодня по безлюдным набережным, по опустевшим бульварам, я говорил себе: «Петербург будет затоплен; жители бегут, и воды снова завладеют трясиной. На сей раз природа остается сильнее человека». Но дело совсем не в этом. Петербург умер, потому что император в Петергофе. Вот и все.

Только царь может населить этот бивуак, покидаемый всякий раз, когда хозяин исчезает. Только царь внушает страсти и желания автоматам, он — волшебник, чье присутствие будит Россию. Стоит ему уйти, и она погружается в сон. Когда двор уезжает, Петербург принимает вид театрального зала после спектакля. С тех пор как я возвратился из Петергофа, я не узнаю пышной столицы. Это не город, покинутый мною четыре дня тому назад. Но если бы император вернулся сегодня, завтра бы все ожило и зашевелилось, и то, что сегодня наводит скуку, стало бы завтра захватывающе интересным. Нужно быть русским, чтобы понять, какую власть имеет взор монарха. В его присутствии астматик начинает свободно дышать, к парализованному старцу возвращается способность ходить, больные выздоравливают,

влюбленные забывают свою страсть, молодые люди перестают думать о партиях. Место всех человеческих стремлений, помыслов и желаний занимает одна всепознающая страсть — честолюбие, одна всепобеждающая мысль — выдвинуться во что бы то ни стало, подняться на следующую ступень, ловя улыбку властелина. Одним словом, царь — это бог, жизнь и любовь для этих несчастных людей.

Но каким путем пришли русские к такому полнейшему самоотрицанию, к такому полному забвению человеческого достоинства? Каким средством достигли подобных результатов? Средство весьма простое — «чин». Чин, это — гальванизм, придающий видимость жизни телам и душам, это — единственная страсть, заменяющая все людские страсти. Я показал вам действие, оказываемое «чином». Теперь нужно рассказать, что он собой представляет.

Чин — это нация, сформированная в полки и батальоны, военный режим, примененный к обществу в целом и даже к сословиям, не имеющим ничего общего с военным делом. С тех пор как введена эта иерархия, человек, никогда не видевший оружия, может получить звание полковника.

Петр Великий — к нему мы всегда должны возвратиться, чтобы понять современную Россию,— Петр Великий почувствовал однажды, что некоторые национальные предрассудки, связанные с доисторическим строем, могут помешать ему в осуществлении его планов. Он заметил, что кое-кто из его стада склонен к чрезмерной независимости, к известной самостоятельности мышления. И вот, дабы покончить с этим злом, самым неприятным и тяжелым для ума проницательного и энергичного в своей области, но слишком ограниченного и не понимающего преимуществ известной доли свободы для самих правителей, этот великий мастер в деле произвола не придумал ничего лучшего, как разделить свое стадо, то есть народ, на ряд классов, не имеющих никакого отношения к происхождению соответствующих индивидуумов. Так, сын первого вельможи империи может состоять в последнем классе, а сын его крепостного, по прихоти монарха, может дойти до первых классов. Словом, каждый получает то или иное место в зависимости от милости государя. Таким-то образом, благодаря «чину», одному из величайших дел Петра, Россия стала полком в шестьдесят миллионов человек.

Петр отлично понимал, что, поскольку в стране существует аристократия, самодержавная власть в значительной мере останется фикцией. Поэтому он сказал себе: «Чтобы стать действительно самодержцем, нужно уничтожить последние остатки феодализма, а чтобы достигнуть этого, лучше всего создать карикатуру на аристократов, то есть покончить со знатью, сделав ее зависимой от меня». Дворянство не уничтожено, но преобразовано, то есть сведено на нет чем-то, занявшим его место, но не заменившим его. Достаточно стать членом новой иерархии, чтобы достигнуть со временем наследственного дворянства. Таким-то путем Петр Великий, опередив почти на целое столетие современные революции, разрушил феодальный строй.

Из подобной организации общества проистекает такая лихорадка зависти, такое напряжение честолюбия, что русский народ теперь ни к чему не способен, кроме покорения мира. Мысль моя постоянно возвращается к этому, потому что никакой другой целью нельзя объяснить безмерные жертвы, приносимые государством и отдельными членами общества. Очевидно, народ пожертвовал своей свободой во имя победы. Без этой задней мысли, которой люди повинуются, быть может, бессознательно история России представлялась бы мне неразрешимой загадкой.

Здесь возникает серьезный вопрос: суждено ли мечте о мировом господстве остаться только мечтою, способной еще долгое время наполнять воображение полудикого народа, или она может в один прекрасный день претвориться в жизнь? Эта дилемма не дает мне покоя, и, несмотря на все усилия, я не могу ее разрешить. Скажу лишь одно: с тех пор как я в России, будущее Европы представляется мне в мрачном свете. Однако я должен сознаться, что такое мнение оспаривается очень умными и наблюдательными людьми. Последние уверяют меня, что я преувеличиваю могущество Российской империи, что каждое государство имеет свой удел, что участь России — завоевать Восток и затем распасться на части. Мои оппоненты, отказывающиеся верить в блестящее будущее славян, признают вместе со мною положительные качества этого народа, его одаренность, его чувство изящного, способствующее развитию искусств и литературы. Но, по их мнению, эти качества недостаточны для осуществления тех честолюбивых замыслов, которые я предполагаю в русском правительстве. «Научный дух

отсутствует у русских,— прибавляют мои противники,— у них нет творческой силы, ум у них по природе ленивый и поверхностный. Если они и берутся за что-либо, то только из страха. Страх может толкнуть их на любое предприятие, но он же мешает им упорно стремиться к заранее намеченной цели. Гений по натуре сродни героизму, он живет свободой, тогда как страх и рабство имеют лишь ограниченную сферу действия, как та посредственность, орудием которой они являются. Русские хорошие солдаты, но плохие моряки; в общем, они скорее склонны к покорности, нежели к проявлению своей воли. Их уму не хватает импульса, как их духу — свободы. Вечные дети, они могут на миг стать победителями в сфере грубой силы, но никогда не будут победителями в области мысли. А народ, не могущий ничему научить те народы, которые он собирается покорить, недолго останется сильнейшим.

Даже физически французские и английские крестьяне крепче русских. Последние скорее ловки, чем мускулисты, скорее необузданны, чем энергичны, скорее хитры, чем предприимчивы. У них есть пассивная храбрость, но им недостает отваги и настойчивости. Армия, замечательная своей дисциплинированностью и хорошей выправкой на парадах, состоит, за исключением нескольких отборных корпусов, из солдат, чисто обмундированных на плацу, но грязно одетых в казарме. Серый, нездоровый цвет лица солдат говорит о голоде и лишениях, ибо интенданты безбожно обкрадывают несчастных. Две турецких кампании с достаточной ясностью указали на слабость колосса. Одним словом, государство, от рождения не вкусившее свободы, государство, в котором все серьезные политические кризисы вызывались иностранными влияниями, такое государство не имеет будущего. Из всего изложенного заключают, что Россия, грозная постольку, поскольку она борется с азиатскими народностями, будет сломлена в тот день, когда она сбросит маску и затеет войну с европейскими державами.

Таковы, как мне кажется, сильнейшие аргументы моих оптимистически настроенных противников, обвиняющих меня в преувеличенных страхах. Но, во всяком случае, мое мнение разделяют тоже весьма серьезные люди, укоряющие оптимистов за их ослепление и призывающие их открытыми глазами смотреть в лицо опасности и действовать, прежде чем она станет непредотвратимой. Я стою близко к колоссу, и мне не верится, что провидение

создало его лишь для преодоления азиатского варварства. Ему суждено, думается мне, покарать испорченную европейскую цивилизацию новым нашествием с востока. Нам грозит вечное азиатское иго, оно для нас неминуемо, если излишества и пороки обрекут нас на такую кару.

Не ждите от меня систематического описания путешествия. Я пишу лишь о том, что производит на меня сильное впечатление, нисколько не заботясь о перечислении всего виденного: каталогов и так слишком много, и я не стремлюсь умножить их число.

В России ничего нельзя увидеть без церемоний и сложных приготовлений. Русское гостеприимство столь уснащено формальностями, что отравляет жизнь самим покровительствуемым иностранцам. Эти формальности служат благовидным предлогом для того, чтобы стеснить движения иностранца и ограничить свободу его суждений. Вас торжественно принимают и любезно знакомят со всеми достопримечательностями, поэтому вам невозможно шагу ступить без проводника. Путешественник никогда не бывает наедине с собой, у него нет времени составить себе собственное мнение, а этого-то как раз и добиваются. Вы хотите осмотреть дворец? — к вам приставляют камергера, который ходит за вами по пятам, обращает ваше внимание на тысячи мелочей и заставляет вас восторгаться всем без разбора. Вы хотите посетить лагерь, полюбоваться живописной пестротой мундиров, познакомиться с жизнью солдат в палатках? — вас сопровождает офицер, иногда даже генерал; госпиталь? — вас эскортирует главный врач; крепость? — вам ее покажет или, вернее, вежливо скроет от ваших нескромных взоров сам комендант. И т. д. и т. п.

Наскучив этим китайским церемониалом, вы решаете лучше не видеть многого, чем без конца испрашивать разрешения,— вот первая выгода системы. Если же ваше любопытство исключительно выносливо и вам не надоедает причинять хлопоты людям, то во всяком случае вы всегда будете под пристальным наблюдением, вы сможете поддерживать лишь официальные сношения со всевозможными начальниками и вам предоставят лишь одну свободу — свободу выражать свое восхищение перед законными властями. Вам ни в чем не отказывают, но вас повсюду сопровождают. Вежливость, таким образом, превращается в способ наблюдения за вами.

Вот как вас мучают под предлогом оказания особой

чести. Такова, впрочем, участь привилегированных путешественников.

Что же касается иностранцев, не пользующихся покровительством, то они вообще ничего не видят. Эта милая страна устроена так, что, не имея непосредственной помощи представителей власти, иностранцу невозможно путешествовать по ней без неудобств и даже без опасностей. Не правда ли, вы узнаете восточные нравы под маской европейской учтивости? Своеобразная помесь Востока и Запада вообще характеризует Российскую империю и дает себя знать решительно на каждом шагу.

Чрезвычайное недоверие, которое выказывают по отношению к иностранцам представители всех решительно классов русского населения, заставляет их, в свою очередь, быть начеку. По внушаемому вами страху вы догадываетесь о той опасности, которой подвергаетесь.

Например, в Петергофе трактирщик отказался отпустить моему слуге прескверный ужин «на вынос» и потребовал уплаты вперед. Заметьте, что заведение этого осторожного субъекта находится в двух шагах от театра, где я приютился. То, что вы подносите ко рту одной рукой, нужно оплачивать другой. Если вы закажете что-либо у купца и не дадите ему задатка, он примет это за шутку и не станет на вас работать. Никто не имеет права покинуть Россию, не предупредив о своем намерении всех кредиторов. Это значит, что он должен поместить в газетах троекратное извещение о предполагаемом отъезде, причем одно объявление должно быть отделено от другого восьмидневным промежутком. Правило это соблюдается неукоснительно: даже если заплатить полиции за «сокращение формальностей», то и тогда необходимо раз или два поместить такое объявление. Почтовые лошади предоставляются также лишь по предъявлении особого аттестата, удостоверяющего, что вы никому ничего не должны.

Все эти предосторожности указывают на царствующую в стране недобросовестность, и так как до последнего времени русские почти не имели сношений с иностранцами, то, очевидно, научились они искусству обмана друг у друга.

Чем больше я восхищаюсь императором Николаем, тем, быть может, несправедливее становится мое отношение к царю Петру — так, по крайней мере, может показаться. Однако это неверно: я преклоняюсь перед его могучей волей, вызвавшей к жизни на обледенелом в течение восьми месяцев в году болоте такой город,

как Петербург. Но мой вкус возмущается при виде тех несчастных слепков с классической архитектуры, которыми он и его преемники наградили Россию и этим сделали из нее пародию на Грецию и Италию. В архитектуре ценно умение самым простым и прямым путем приспособлять здания к той цели, к которой они предназначены. Для чего, спрашивается, наставили столько пилястров, аркад и колоннад в городе, в котором можно жить, только тщательно законопатив двойные рамы в окнах? В Петербурге можно гулять лишь в подземельях, а не под воздушными портиками. Почему же вы не прокапываете туннелей под вашими дворцами? Небо – ваш враг, бегите же от него. Вам не хватает солнца, живите при свете факелов.

Набережные Петербурга относятся к числу самых прекрасных сооружений в Европе, потому что их великолепие заключается в массивности и целесообразности постройки. Глыбы гранита защищают столицу от ярости невских вод и в то же время опоясывают красавицу-реку чудесными парапетами. Почва уходит у нас из-под ног, так что же? Мы сделаем мостовую из скал, и на ней воздвигнем наш пышный город. Тысячи человек погибнут на этой работе? Не беда! Зато мы будем иметь европейскую столицу и славу великого города. Оплакивая бесчеловечную жестокость, с которой было создано это сооружение, я все же восхищаюсь его красотой.

Мое восхищение вызывает также Зимний дворец и окружающий его ансамбль зданий. Хотя лучшие памятники архитектуры Петербурга теряются среди огромных площадей, похожих больше на равнину, дворец имеет импозантный вид, а красный цвет песчаника, из которого он выстроен, приятен для глаз. Александровская колонна, главный штаб, триумфальная арка в глубине полукруга зданий, Адмиралтейство с изящными колоннами и золотой иглой, Петр Великий на своей скале, министерства, похожие скорее на дворцы, наконец, замечательный, но еще незаконченный Исаакиевский собор и три моста, переброшенные через Неву,— все это, сконцентрированное на одной площади, некрасиво, но поразительно величественно. Необъятная эта площадь состоит, собственно, из трех площадей, сливающихся в одну,— Петровской, Исаакиевской и Дворцовой. Можно критиковать отдельные детали (и немало деталей), но все в целом достойно удивления.

Я посетил несколько церквей. Казанский собор обширен и красив, но входят в него с угла. Дело в том, что алтарь должен быть обязательно обращен к востоку. Так как направление Невской «першпективы» не совпадает с этим церковным каноном, то собор выстроили боком к проспекту. Святоши победили архитекторов, и одно из прекраснейших зданий России оказалось испорченным [84].

Смольный собор — самый большой и самый великолепный в Петербурге. Он принадлежит конгрегации — чему-то вроде капитула женщин и девушек, основанному императрицей Анной. Огромные здания, архитектура которых подходит скорее для военного заведения, отведены под жилье этим дамам. Проходя по своеобразному учреждению, я спрашивал себя: что это такое — не монастырь, не дворец, а скорее всего женские казармы [85].

Неподалеку от Смольного виден небольшой Таврический дворец, в несколько недель выстроенный Екатериной для Потемкина. Красивый, но покинутый дворец постепенно разрушается — в России даже за камнями нужен уход, иначе они недолговечны [86].

Осмотрел я и картинную галерею Эрмитажа — туда попадают из Зимнего дворца по мосту, переброшенному через переулок. В Эрмитаже имеются сокровища, особенно голландской школы. Но... не люблю я живописи в России. В таком близком соседстве с полюсом освещение не благоприятствует картинам, и для глаза, ослепленного блеском снега, пропадают чудесные оттенки колорита. Конечно, зала Рембрандта прекрасна, однако я предпочитаю произведения этого мастера, виденные в Париже и других местах. Особенно портит коллекцию Эрмитажа большое количество посредственных полотен, от которых нужно отвлечься, чтобы наслаждаться шедеврами. Собирая галерею Эрмитажа, гнались за громкими именами, но подлинных произведений больших мастеров немного, подделок гораздо больше [87].

На днях я прогуливался по Невскому проспекту в обществе одного петербуржца, француза по происхождению, человека очень неглупого и хорошо изучившего петербургское общество. Беседа наша касалась различных сторон русского быта, причем мой спутник упрекал меня за слишком лестное мнение о России. Между прочим, мы коснулись и личности государя.

— Вы не знаете императора,— сказал мой собеседник,— он глубоко неискренний человек.

— По-моему, можно упрекать его в чем угодно, но только не в лицемерии,— возразил я.

— Но вспомните хотя бы поведение его после смерти Пушкина.

— Мне неизвестны подробности этого несчастного события.

— Однако вам известно, что Пушкин был величайшим русским поэтом!

— Об этом мы не можем судить.

— Но мы можем судить о его славе.

— Восхваляют его стиль,— сказал я.— Однако эта заслуга не столь велика для писателя, родившегося среди некультурного народа, но в эпоху утонченной цивилизации. Ибо он может заимствовать чувства и мысли соседних народов и все-таки казаться оригинальным своим соотечественникам. Язык весь в его распоряжении, потому что язык этот совсем новый. Для того чтобы составить эпоху в жизни невежественного народа, окруженного народами просвещенными, ему достаточно переводить, не тратя умственных усилий. Подражатель прослывет созидателем.

— Заслуженно или нет — это другой вопрос,— возразил мой собеседник,— но Пушкин завоевал громкую славу. Человек он был еще молодой и чрезвычайно вспыльчивый. Жена его, редко красивая женщина, внушала Пушкину больше страсти, нежели доверия. Одаренный душой поэта и африканским характером, он был ревнив. И вот, доведенный до бешенства стечением обстоятельств и лживыми доносами, сотканными с коварством, напоминающим сюжеты трагедий Шекспира, несчастный русский Отелло теряет всякое самообладание и требует сатисфакции у француза, господина Дантеса, которого считает своим обидчиком.

Дуэль в России — дело страшное. Ее не только запрещает закон, но и осуждает общественное мнение. Дантес сделал все возможное, чтобы избежать огласки. Преследуемый по пятам потерявшим голову поэтом, он с достоинством отказывается от поединка. Но продолжает оказывать знаки внимания жене Пушкина и наконец женится на ее сестре. Пушкин близок к сумасшествию. Неизбежное присутствие человека, смерти которого он жаждет, представляется ему сплошным оскорблением. Он идет на все, чтобы изгнать Дантеса из своего дома. Дело доходит до того, что дуэль становится неизбежной. Они встречаются у барьера, и Дантес поражает Пушкина.

Тот, кого осуждает общественное мнение, вышел победителем, а оскорбленный супруг, народный поэт, невинная жертва — погиб.

Смерть эта вызвала большое волнение. Вся Россия облачилась в траур. Пушкин, творец дивных од, гордость страны, поэт, воскресивший славянскую поэзию, первый русский поэт, чье имя завоевало внимание даже Европы, короче, слава настоящего и надежда будущего — все погибло! Идол разбит под сенью собственного храма, герой в расцвете сил пал от руки француза. Какая ненависть поднялась, какие страсти разгорелись! Вся империя взволнована. Всеобщий траур свидетельствует о славе страны, которая может сказать Европе: «Я имела своего поэта, и я имею честь его оплакивать».

Император, лучше всех знающий русских и прекрасно понимающий искусство лести, спешит присоединиться к общей скорби. Сочувствие монарха столь льстит русскому духу, что пробуждает патриотизм в сердце одного юноши, одаренного большим талантом. Сей слишком доверчивый поэт проникается восторгом к августейшему покровительству, оказанному первому среди поэтов, и, вдохновенный наивной благодарностью, осмеливается написать оду...— заметьте, какая смелость, — патриотическую оду, выразив признательность монарху, ставшему покровителем искусств. Кончается эта ода восхвалением угасшего поэта. Вот и все! Я читал эти стихи — они вполне невинны. Быть может, даже юноша мечтал о том, что сын императора со временем вознаградит второго русского поэта, подобно тому как сам император чтит память первого.

О, безрассудный смельчак! Он и в самом деле получил награду: секретный приказ отправиться для развития своего поэтического таланта на Кавказ, являющийся исправленным изданием давным-давно известной Сибири. Проведя там два года, он вернулся больной, павший духом и с воображением, радикально излечившимся от химерических бредней. Будем надеяться, что и тело его излечится от кавказской лихорадки. Ну что же, и после этого вы будете верить официальным речам императора? [88]

Мне оставалось только молчать.

Вчера я перечел несколько переводов из Пушкина. Они подтвердили мое мнение о нем, составившееся после первого знакомства с его музой. Он заимствовал свои краски у новой европейской школы. Поэтому я не могу назвать его национальным русским поэтом.



Глава XVI

Поездка в Шлиссельбург. — О чем нельзя говорить в России. Кюстин боится Сибири. — Приключения Коцебу. — Дорога в Шлиссельбург. — Восковая фигурка. — Приходится осматривать шлюзы. — Попытка проникнуть в крепость. — Нетерпение Кюстина. — Жертвы произвола не имеют могил. — Ужасы русских тюрем. — Званый обед у инженера. — Дамы занимают Кюстина. — Словесная перепалка.

В день петергофского праздника я спросил у военного министра графа Чернышева [89], каким образом я мог бы получить разрешение на осмотр Шлиссельбургской крепости. Граф мне ответил: «Я сообщу о вашем желании его величеству». В тоне, которым это было сказано, звучала осторожность, смешанная с удивлением. Ответ показался мне знаменательным. Очевидно, моя просьба, столь невинная в моих глазах, представлялась совсем иной министру. Желание осмотреть крепость, ставшую исторической с тех пор, как в ней был заточен и погиб в царствование императрицы Елизаветы Иван VI, было, конечно, неслыханной дерзостью [90]. Я понял, что нечаянно коснулся больного места, и замолчал.

Спустя несколько дней, готовясь к отъезду в Москву, я получил письмо от военного министра с сообщением, что мне разрешено осмотреть шлюзы Шлиссельбурга. Это было великолепно. Я хотел посетить государственную тюрьму, а мне милостиво разрешили познакомиться с чудом инженерного искусства. В конце письма граф Чернышев уведомлял, что главный директор путей сообщения империи получил приказание снабдить меня всеми удобствами для предстоящей поездки.

Всеми удобствами... Великий боже! Какие неприятности навлекло на меня любопытство. И какой жестокий урок скромности я получил под видом исключительной любезности. Не воспользоваться разрешением, в то время

как по всему пути посланы приказы о моей скромной персоне, значило бы подвергнуться упрекам в неблагодарности. Но, с другой стороны, изучать шлюзы со свойственной русским добросовестностью и не увидеть даже уголком глаз Шлиссельбурга, значило добровольно идти в ловушку и погубить целый день — потеря серьезная, ибо приближалась осень, а мне предстояло еще многое осмотреть в России, где я отнюдь не собирался зимовать.

Итак, здесь до сих пор нельзя касаться некоторых печальных событий времен Елизаветы Петровны, так как они набрасывают тень на законность власти нынешнего государя. Поэтому моя просьба восходит на благовозрение императора. Тот не хочет ни удовлетворить ее, ни прямо отвергнуть. Он смягчает мою бестактность и разрешает осмотр инженерных сооружений, о которых я и не помышлял. От императора это дозволение идет к министру, от министра — к главному директору, от директора — к главному инженеру и т. д. и т. д., пока наконец не доходит до некоего унтер-офицера, который должен меня сопровождать, служить мне проводником и отвечать за мою безопасность во время всего путешествия, — «милость», несколько смахивающая на янычаров, коих иногда приставляют к иностранцам в Турции. Во всяком случае этот знак внимания был скорее явным доказательством недоверия, и я чувствовал себя не слишком польщенным.

Пришлось отправиться к генерал-адъютанту, главному директору путей сообщения и проч. и проч., дабы испросить осуществление высочайшего приказания.

Директор не принимал или не был на месте. Меня просят пожаловать завтра. Не желая терять еще один день, я настаиваю. Меня просят зайти вечером. Я так и делаю, и мне наконец удается проникнуть к этой важной персоне. Сановник принимает меня чрезвычайно любезно, и через четверть часа я удаляюсь, снабженный предписанием на имя инженера Шлиссельбурга, но, заметьте, не на имя коменданта крепости. Провожая меня до передней, он обещает, что унтер-офицер будет завтра в четыре часа утра у дверей моей квартиры.

Ночь я провел без сна. Меня мучила мысль, которая вам покажется дикой, - мысль о том, что мой охранник может превратиться в моего тюремщика. А вдруг этот самый унтер-офицер по выезде из Петербурга предъявит мне приказ о ссылке в Сибирь, где мне суждено будет

поплатиться за свое неуместное любопытство? Что тогда делать, что предпринять? Конечно, сперва надо будет подчиниться, а затем, по приезде в Тобольск — если только я туда доеду,— я заявлю протест. Изысканная вежливость меня ничуть не успокаивает, скорей напротив, ибо я хорошо помню, как ласково обошелся Александр с министром, который по выходе из кабинета царя был схвачен фельдъегерем и по высочайшему повелению прямо из дворца отправлен в Сибирь, причем ему не позволили даже заехать домой [91]. И целый ряд подобных примеров приходил мне на память и терзал мое воображение.

Звание иностранца также не служит достаточной гарантией. Я вспомнил случай с Коцебу, которого в начале нынешнего столетия при аналогичных с моими обстоятельствах (мне мерещилось, что я уже на пути в Сибирь) отправили с фельдъегерем прямо из Петербурга в Тобольск. Правда, ссылка немецкого поэта длилась всего шесть недель, и в юности я смеялся над его ламентациями по этому поводу [92]. Но прошлой ночью я уже не смеялся, а от всего сердца оплакивал его участь. Дело ведь совсем не в продолжительности изгнания. Путешествие в тысяча восемьсот лье по ужасной дороге и в этом климате само по себе столь мучительно, что немногие могут его вынести. Легко нарисовать самочувствие несчастного иностранца, отторгнутого от друзей и родных и в течение шести недель обреченного думать, что он окончит свою жизнь в безымянной и бесконечной пустыне среди преступников и их тюремщиков. Такая перспектива хуже смерти и может довести до сумасшествия.

Конечно, наш посланник потребует моего возвращения, но шесть недель я буду чувствовать себя в вечной ссылке. И если, в конце концов, серьезно захотят от меня отделаться, то что им помешает распустить слух, будто я утонул в Ладожском озере? Ведь лодки опрокидываются ежедневно. Разве французский посланник сможет проверить этот слух? Ему скажут, что все поиски моего тела остались безуспешны. Он будет удовлетворен, честь нашей нации спасена, а я — на том свете.

Чем провинился Коцебу? Тем, что позволил себе писать, причем опасались, что мнения его не вполне благоприятны существующему в России порядку вещей. Кто поручится, что против меня нет таких же подозрений? Разве я тоже не одержим манией писать и думать?

Сколько бы я ни уверял, что не собираюсь предать гласности свои впечатления, мне никто не верит, и чем больше я рассыпаюсь в похвалах всему, что мне показывают, тем, должно быть, подозрительней ко мне относятся. Кроме того, я, как всякий иностранец, окружен шпионами. Следовательно, знают, что я делаю записи и тщательно их прячу. Меня, быть может, ждет в лесу засада — на меня нападут, отберут мой портфель, с которым я не расстаюсь ни на минуту, и убьют меня, как собаку.

Вот какие страхи осаждали меня всю ночь, и хотя поездка в Шлиссельбург прошла без инцидентов, мои страхи не кажутся мне совсем беспочвенными и я не чувствую себя застрахованным от неприятных случайностей. Если я так долго остановился на своих опасениях, то только потому, что они характеризуют страну. Допустим даже, что они лишь бред моего расстроенного воображения; во всяком случае, такой бред невозможен нигде, кроме Петербурга или Марокко.

Итак, вчера в пять часов утра я выехал в коляске, запряженной четверкой лошадей — два коренника с пристяжными (цугом ездят здесь только по городу, а при поездках за город применяется этот античный способ запряжки). Мой фельдъегерь поместился на козлах рядом с кучером, и мы помчались по улицам Петербурга. Центральная часть города скоро осталась позади, мы понеслись мимо мануфактур, среди которых выделяется прекрасный стекольный завод, затем мимо огромных бумагопрядилен, принадлежащих, как и большинство других фабрик, англичанам.

Человека здесь оценивают по отношению к нему правительства. Поэтому присутствие фельдъегеря в моем экипаже производило магическое действие. Даже мой кучер, казалось, вдруг возгордился оказанным мне знаком высочайшего внимания и проникся ко мне почтением, доселе в нем незаметным. Столь же чудодейственно было влияние моего спутника на всех пешеходов, извозчиков и ломовиков, разлетавшихся во все стороны, как угри от остроги рыболова. Одним мановением руки фельдъегерь удалял с нашего пути все препятствия. И я с ужасом думал, что люди повиновались бы ему так же беспрекословно, получи он приказание не охранять, но арестовать меня. Недаром русский народ говорит: «Войти в Россию — ворота настежь раскрыты, выйти из нее — почти затворены».

Вид многих деревень на берегу Невы меня удивил. Они кажутся богатыми, и дома, выстроенные вдоль единственной улицы, довольно красивы и содержатся в порядке. Правда, при более внимательном взгляде оказывается, что построены они плохо и небрежно, а их украшения, похожие на деревянное кружево, в достаточной степени претенциозны.

Я заказал подставных лошадей в десяти лье от Петербурга. Свежая четверка в полной упряжи ожидала меня в одной из деревень. Пока меняли лошадей, я вошел в дом, род русской венты, и, таким образом, впервые переступил порог крестьянского жилища в России. Я очутился в обширных деревянных сенях, занимающих большую часть дома. Доски под ногами, доски над головой, доски со всех сторон... Несмотря на сквозняк, меня охватил характерный запах лука, кислой капусты и дубленой кожи. К сеням примыкала низкая и довольно тесная комната. Я вхожу и словно попадаю в каюту речного судна или, еще лучше, в деревянную бочку. Все — стены, потолок, пол, стол, скамьи — представляет собой набор досок различной длины и формы, весьма грубо обделанных. К запаху капусты присоединяется благоухание смолы. В этом почти лишенном света и воздуха помещении я замечаю старуху, разливающую чай четырем или пяти бородатым крестьянам в овчинных тулупах (несколько дней стоит довольно холодная погода, хотя сегодня только 1 августа). Тулупам нельзя отказать в живописности, но пахнут они прескверно. На столе горит медью самовар и чайник. Чай, как всегда, отличный и умело приготовленный. Этот изысканный напиток, сервируемый в чуланах (я говорю «в чуланах», подбирая приличные выражения), напоминает мне шоколад у испанцев.

В России нечистоплотность бросается в глаза, но она заметнее в жилищах и одежде, чем у людей. Русские следят за собой, и хотя их бани кажутся нам отвратительными, однако этот кипящий туман очищает и укрепляет тело. Поэтому часто встречаешь крестьян с чистыми волосами и бородой, чего нельзя сказать об их одежде. Теплое платье стоит дорого, и его поневоле приходится долго носить. Оно становится грязным раньше, чем успевает износиться. А комнаты, в которых прежде всего стараются оградить себя от холода, по необходимости реже проветриваются, чем жилища южных народов. В общем, северяне гораздо грязнее народностей,

пользующихся благами теплого климата. Не надо забывать, что русские девять месяцев в году лишены очистительного действия воздуха.

Дорога от Петербурга до Шлиссельбурга плоха во многих местах. Встречаются то глубокие пески, то невылазная грязь, через которую в беспорядке переброшены доски. Под колесами экипажа они подпрыгивают и окатывают вас грязью. Но есть нечто похуже досок. Я говорю о бревнах, кое-как скрепленных и образующих род моста в болотистых участках дороги. К несчастью, все сооружение покоится на бездонной топи и ходит ходуном под тяжестью коляски. При той быстроте, с которой принято ездить в России, экипажи на таких дорогах скоро выходят из строя; люди ломают себе кости, рессоры лопаются, болты и заклепки вылетают. Поэтому средства передвижения волей-неволей упрощаются и в конце концов приобретают черты примитивной телеги.

По прибытии в Шлиссельбург, где меня ожидали, я был встречен инженером, управляющим шлюзами. Было холодно, пасмурно и ветрено. Мы остановились у деревянного, но комфортабельного дома инженера, и он лично ввел меня в гостиную, где предложил мне легкую закуску и с явной супружеской гордостью представил своей жене, молодой и красивой особе. Последняя сидела на кушетке и не поднялась мне навстречу. Она не произнесла ни слова, не зная французского языка, и почему-то не шевелилась, очевидно смешивая полную неподвижность с совершенной вежливостью. Вероятно, она решила быть олицетворением гостеприимства в виде разодетого в пух и прах идола. Я молча ел и согревался. Она не сводила с меня глаз, ибо отвести их значило бы нарушить неподвижность статуи, роль которой она задалась целью играть. Мой хозяин дал мне возможность в полной мере насладиться этой любопытной восковой фигуркой и, казалось, был весьма польщен произведенным ею впечатлением. Но, желая добросовестно выполнить свой долг, он в конце концов обратился ко мне со следующими словами:

— Вы должны меня извинить, но нам, пожалуй, пора идти, так как у нас мало времени для осмотра шлюзов, которые мне приказано показать вам во всех подробностях.

Я предвидел этот удар, но ничем не мог его отвратить и с покорностью дал себя водить от одного шлюза к другому, не переставая думать о темнице Ивана VI,

к которой мне не позволяли приблизиться. Количество гранитных камер, огромных гранитных же щитов, запирающих шлюзы, и плит из того же материала, которыми выстлано дно гигантского канала, вряд ли может заинтересовать, да я бы и не мог удовлетворить подобное любопытство. Достаточно сказать, что за десять лет существования шлюзов не потребовалось никакого ремонта — поразительный пример прочности сооружения в таком убийственном климате. Действительно, не жалели усилий и денег для совершенства постройки, воспользовавшись всеми изобретениями современного инженерного искусства. Все это очень интересно знать, но довольно утомительно осматривать, в особенности под эгидой создателя шедевра, так как обилие деталей подавляет профана.

Решив, что я затратил на осмотр этих чудес достаточно времени и расточил достаточно похвал, я вернулся к первоначальной цели моего путешествия и, скрывая свои намерения, чтобы тем вернее их осуществить, выразил желание увидеть истоки Невы. Кажущаяся невинность моей просьбы не могла скрыть ее нескромности. Поэтому инженер ответил уклончиво:

— Исток Невы находится при выходе из Ладожского озера в конце канала, отделяющего озеро от острова, на котором стоит крепость.

Я это знал, но продолжал настаивать:

— Все-таки мне бы хотелось увидеть одну из природных достопримечательностей России.

— Ветер слишком силен, так что нельзя будет различить подводных бурунов в месте истечения невских вод из озера. Впрочем, я сделаю все возможное, чтобы удовлетворить ваше любопытство.

С этими словами инженер приказал подать красивую лодку с шестью гребцами, и мы отправились якобы к истоку Невы, а на самом деле к стенам крепости, доступ в которую мне до сих пор преграждали с величайшей вежливостью.

Шлиссельбургская крепость стоит на плоском острове, разделяющем реку на два рукава. В то же время он отделяет реку от озера, определяя линию, где смешиваются их воды. Мы обогнули крепость, чтобы как можно ближе подойти к истоку Невы, и вскоре очутились как раз над водоворотом, но волнение скрывало его от наших глаз. Поэтому мы сделали прогулку по озеру, затем вернулись, и так как ветер немного стих, мы получили

возможность разглядеть на большой глубине несколько струй пены. Это-то и был исток Невы.

Выразив подобающее восхищение видом Шлиссельбурга, основательно изучив при помощи бинокля место, где стояла батарея, которой Петр Великий бомбардировал шведскую твердыню, и расхвалив в достаточной степени все, что меня ничуть не интересовало, я произнес самым небрежным тоном: «Давайте осмотрим крепость». «Ее положение кажется мне очень живописным»,— прибавил я довольно неудачно, ибо, когда хитришь, никогда не следует пересаливать. Инженер бросил на меня испытующий взгляд, и я почувствовал, как математик превращается в дипломата.

— В крепости, сударь, нет ничего любопытного для иностранца.

— Все любопытно в такой интересной стране, как ваша.

— Но если комендант нас не ожидает, нас не впустят.

— Вы попросите у него разрешения показать крепость иностранцу. Кроме того, он вас, я думаю, ожидает.

Действительно, по просьбе инженера нас впустили немедленно. Очевидно, мой визит считался вероятным, и о нем были соответствующим образом предупреждены. Нас встретили воинским церемониалом, провели сквозь сводчатые, довольно слабо охраняемые ворота, затем через поросший травою двор в... тюрьму?.. Увы, ничего подобного: в квартиру коменданта. Он не говорил ни слова по-французски, но, делая вид, что считает мое посещение актом вежливости со стороны иностранца, рассыпался в благодарностях, пользуясь в качестве переводчика инженером. Пришлось отвечать любезностями, беседовать с женой коменданта, владевшей французской речью немногим лучше мужа, пить шоколад, одним словом, заниматься чем угодно, только не осмотром темницы Ивана VI, ради чего я выносил всю скуку этого дня и пустился на столько хитростей. Положительно вряд ли кто стремился так в сказочный замок, как я в эту темницу.

Наконец когда истекло время, считающееся приличным для визита, я спросил у моего гида, нельзя ли осмотреть внутренность крепости. Комендант и инженер обменялись двумя-тремя словами и быстрыми взглядами, и мы вышли из комнаты.

В Шлиссельбургской крепости нет ничего, поражаю-

щего глаз. Внутри невысоких крепостных стен шведской эпохи — нечто вроде двора с огородом, где разбросано несколько низеньких строений,— церковь, дом коменданта, казарма и, наконец, темницы, замаскированные башнями, не возвышающимися над крепостными валами. Мирный вид этой государственной тюрьмы производит более страшное впечатление, чем зубцы, решетки, подъемные мосты и прочие театральные аксессуары средневековых замков. По выходе от коменданта мне показали «великолепные церковные предметы». Торжественно развернули четыре ризы, стоившие, как соблаговолил сообщить комендант, 30 тысяч рублей. Наскучив всеми этими кривляньями, я напрямик заговорил о могиле Ивана VI. В ответ на это мне показали брешь, пробитую в стене Петром I во время осады шведской крепости.

— Где могила Ивана VI? — повторил я, нимало не смущаясь.

На этот раз меня повели за церковь и указали на розовый куст: «Вот она».

Отсюда я заключил, что в России жертвы произвола могил не имеют.

— А где камера Ивана VI? – продолжал я с настойчивостью, казавшейся, вероятно, столь же странной моим собеседникам, как мне их умалчивания, колебания и увертки.

Инженер ответил вполголоса, что показать мне камеру Ивана VI невозможно, так как она находится в той части крепости, где в настоящее время помещаются государственные преступники.

Отговорка показалась мне законной, я был подготовлен к такому ответу, но что меня поразило, так это гнев коменданта. То ли он понимал по-французски лучше, чем говорил, то ли он хотел меня обмануть, притворяясь не понимающим нашего языка, то ли, наконец, он догадался, о чем идет речь, но он набросился на инженера с выговором за его нескромность, за которую, прибавил он, тот когда-нибудь жестоко поплатится. Последний, улучив момент, рассказал мне об этом нагоняе. Комендант, кроме того, весьма многозначительно предложил ему впредь воздерживаться от разговоров о «государственных делах» с иностранцами, а также не водить их в государственную тюрьму [93].

Я почувствовал, что нужно отступить, признав себя побежденным, и отказаться от посещения камеры, где, выжив из ума, окончил свои дни несчастный наследник

российского престола, потому что сочли более удобным сделать из него кретина, чем императора. Единодушие, с которым действовали все слуги русского правительства - от военного министра до коменданта крепости, их молчаливый сговор и упорство привели меня в ужас, и я почувствовал столь же непреодолимое желание поскорее уйти, сколь несколько минут до того стремился сюда проникнуть. Я испугался перспективы стать невольным обитателем этой юдоли тайных слез и страданий. И мне захотелось лишь одного — ходить, дышать, двигаться. Я забыл, что вся Россия — та же тюрьма, и тюрьма тем более страшная, что она велика и что так трудно достигнуть и перейти ее границы.

Русская крепость. Ужасные слова!.. С тех пор как я побывал в ней и испытал на себе невозможность там даже говорить о том, что, естественно, интересует каждого иностранца, я понял, что за такой таинственностью скрывается, очевидно, глубочайшая бесчеловечность. Если бы мне откровенно ответили на вопросы, которые касались событий, покрытых столетней давностью, я меньше бы думал о том, что мне не удалось увидеть. Но все выдумки и хитросплетения, все детские уловки и отговорки доказывают как раз обратное тому, в чем вас желают убедить. Мне говорили, и я этому вполне верю, что в подводных темницах Кронштадта до сих пор томятся среди прочих государственных преступников несчастные, заточенные туда при Александре[94]. Ничто не может оправдать подобную жестокость! Если бы эти страдальцы вышли теперь из-под земли, они поднялись бы как мстящие призраки и привели бы в оцепенение самого деспота, а здание деспотизма было бы потрясено до основания. Все можно защищать красивыми фразами и убедительными доводами. Но что бы там ни говорили, режим, который нужно поддерживать подобными средствами, есть режим глубоко порочный.

Жертвы этой гнусной политики теряют образ и подобие человеческое. Забытые всеми, влачат они беспросветное существование и кончают сумасшествием. Они не помнят даже своего имени, и тюремщики грубо и безнаказанно издеваются над ними, ибо во тьме этих подземелий исчезают все следы справедливости. Даже преступления некоторых узников забываются, и никто не знает, за что они наказаны. Однако их все-таки не выпускают, потому что их некому передать, с одной стороны, и с другой, предпочитают скрывать ошибку,

обрекая людей на вечную тюрьму. Чудовищная боязнь «произвести дурное впечатление», оправдываемая соображениями высшей государственной мудрости! А нас уверяют на каждом шагу, что в России нет смертной казни! Как будто заживо похоронить человека не то же что убить его.

По возвращении из крепости меня ожидало новое испытание: званый обед с представителями среднего класса. Оказывается, инженер пригласил родственников жены и нескольких помещиков из окрестностей Шлиссельбурга. Буржуазия почти отсутствует в России, ее заменяет сословие мелких чиновников и помещиков средней руки, людей незнатного происхождения, но дослужившихся до дворянства. Снедаемые завистью к аристократии, они в свою очередь являются предметом зависти для народа, и, в общем, их положение тождественно с положением французской буржуазии перед революцией. Одинаковые причины везде вызывают одинаковые результаты.

Мужчины со мной не разговаривали и почти не обращали на меня внимания. Они едва владеют французским языком и, может быть, лишь с трудом на нем читают. Поэтому они забились в угол и говорили по-русски. Все же бремя французской беседы выпало на долю двух или трех дам. Я увидел с удивлением, что они хорошо знакомы с нашей литературой, то есть с той частью, которую пропускает в России полиция. Но еще больше меня поразил резкий и язвительный тон их речей. То, что скрывалось светскими людьми под маской вежливости и о чем я лишь догадывался, здесь выступало наружу. Я убедился, что русские относятся к нам иронически и неприязненно. Они нас ненавидят, как всякий подражатель — того, кого он копирует. Их испытующие взгляды стараются подметить все наши недостатки. Заметив такое настроение, я решил со своей стороны не оставаться в долгу.

Сначала я счел себя обязанным извиниться за незнание русского языка и прибавил, что каждому путешественнику следовало бы изучить язык той страны, куда он направляется. На эту любезность я получил колкий ответ:

— Однако вы все-таки решились слушать, как русские коверкают французский язык, если только вы не предпочитаете путешествовать немым.

— На это-то я и жалуюсь. Если бы я умел коверкать русскую речь, вам бы не пришлось мучиться с французским языком.

— Прежде мы говорили только по-французски.
— В этом нет ничего хорошего.
— Не вам нас за это упрекать.
— Я всегда говорю правду.
— Значит, правду еще ценят во Франции?
— Не знаю, ценят ли, но думаю, что правду нужно любить без расчета.
— Любовь эта не в моде в наше время.
— В России?
— Нигде, а в особенности в стране, где всем правят газеты.

Я был того же мнения, но не хотел этого высказать, так как моя собеседница явно желала меня уколоть резкостью своих ответов. К счастью, случилось происшествие, прервавшее неприятный разговор. На улице послышался шум, и все общество бросилось к окну. Оказалось, что между лодочниками вспыхнула ссора, грозившая перейти в поножовщину. Но достаточно было появиться моему инженеру на балконе, чтобы сказалось магическое действие мундира. Все моментально стихло.

— Что за чудный народ! — воскликнула дама, задавшаяся целью меня «занимать». «Бедняги»,— подумал я, не склонный восхищаться чудесами, вызываемыми страхом, но предпочел не высказывать этой мысли вслух.

— У вас нельзя было бы восстановить порядок с такой легкостью,— продолжала моя неутомимая противница, пронзая меня пытливым взглядом.

— Пожалуй. Свобода имеет свои неприятные стороны, но мы пользуемся и ее благами.
— Какими?
— Их не могут понять в России.
— Мы обходимся без них.
— Легко обойтись без того, чего не знаешь.

Моя собеседница обиделась и резко переменила тему разговора.

— Скажите, это о вашей семье и о вас лично говорит мадам де Жанлис в своих «Воспоминаниях Фелиси» [95]?

Я ответил утвердительно и выразил свое изумление по поводу того, что эти книги известны в Шлиссельбурге.

— Вы смешиваете нас с самоедами,— ответила дама таким злым голосом, что я поневоле сам заразился ее настроением и начал подавать реплики в соответствующем тоне.

— О нет, государыня, но, по-моему, русские могут заниматься чем-нибудь более достойным, чем сплетни французского общества.

— Мадам де Жанлис совсем не сплетница.

— Может быть, но те из ее сочинений, в которых она грациозно рассказывает анекдоты о своих современниках, должны, мне кажется, интересовать только французов.

— Значит, вы хотите, чтобы мы не особенно высоко ставили ваших писателей?

— Я хочу, чтобы нас ценили за наши истинные заслуги.

— Но если от вас отнять ваше влияние на Европу, которое вы на нее оказали в качестве законодателей светского этикета, то что от вас останется?

Я почувствовал, что имею дело с сильным противником.

— Останутся славные страницы истории Франции, да и не только Франции, но и России, потому что ваше отечество обязано своим теперешним положением в Европе той энергии, с которой вы нам отомстили за взятие Москвы.

— Да, это верно. Вы оказали нам, хотя и против своей воли, действительно большую услугу.

— Вы, быть может, потеряли близкого человека на войне? — спросил я, думая найти источник сильнейшей неприязни к Франции, сквозившей во всех суждениях этой суровой дамы, но получил отрицательный ответ.

В таком неприятном тоне беседа продолжалась до обеда. Я пытался было навести разговор на нашу новейшую литературную школу, но увидел, что в России знают одного лишь Бальзака. Перед ним бесконечно преклоняются и довольно верно о нем судят. Почти все сочинения современных французских писателей запрещены в России, что доказывает приписываемое им влияние. Вероятно, других писателей тоже знают, ибо с таможней можно столковаться, но боятся о них говорить. Впрочем, это лишь мое предположение [96].

Наконец после томительного ожидания сели за стол. Хозяйка дома, верная принятой на себя роли статуи, пришла в движение единственный раз за весь день, перенеся свою особу с дивана на стул в столовой. Отсюда я убедился в существовании ног у идола, но губы и глаза его не шевельнулись. За столом царствовала изрядная натянутость, но обед был непродолжителен и пока-

зался мне довольно вкусным, за исключением супа, оригинальность которого перешла все границы. Представьте себе холодный отвар невероятно крепкого, пряного и насахаренного уксуса с плавающими в нем кусочками рыбы. Кроме этого адского кушанья да еще кислого кваса, национального русского напитка, все остальное я ел и пил с большим аппетитом, в особенности отличное бордо и шампанское.

В шесть часов вечера я распрощался с гостеприимными хозяевами ко взаимному и, нужно сознаться, нескрываемому удовольствию и направился в замок N, где меня ожидали. В N, расположенный в шести или восьми лье от Шлиссельбурга, я приехал еще засветло и провел остаток дня, гуляя по прекрасному парку, катаясь в лодке по Неве и в особенности наслаждаясь тонкой беседой с дамой высшего круга.

После оказавшегося столь неудачным опыта знакомства с русской буржуазией я чувствовал особенную тягу к высшему свету со всеми его пороками.

В Петербург я возвратился после полуночи, сделав за день около тридцати шести лье по знаменитым российским дорогам, – недаром лошадиный век в России исчисляется в среднем восемью или десятью годами.





Глава XVII

Прощание с Петербургом. — Догмат послушания. — Крестьянские бунты. — Внезапная задержка. — История декабриста Трубецкого. — Неугасимая ненависть Николая к декабристам. — Письмо княгини. — Мстительное преследование. — «Тюремщик одной трети земного шара». — Кюстин обманывает цензуру...

Сегодня ночью я прощался с Петербургом. Прощание — магическое слово! Оно придает неизъяснимую прелесть всему, с чем суждено расстаться. Почему Петербург никогда не казался мне таким прекрасным, как в этот вечер? Потому, что сегодня я видел его в последний раз.

В начале одиннадцатого я возвращался с островов. В этот час город имеет необычайный вид, прелесть которого трудно передать словами. Дело не в красоте линий, потому что все кругом плоско и расплывчато. Очарование — в магии туманных северных ночей, в их светлом сиянии, полном величавой поэзии.

Со стороны заката все было погружено во тьму. Город черным, словно вырезанным из бумаги силуэтом вырисовывался на белом фоне западного неба. Мерцающий свет зашедшего солнца еще долго горит на западе и освещает восточную часть города, изящные фасады которой выделяются на темном с этой стороны небе. Таким образом, на западе — город во мраке и светлое небо, на востоке — темное небо и горящие в отраженном свете здания. Этот контраст создает незабываемую картину. Медленное, едва заметное угасание света, словно борющегося с надвигающейся неумолимой темнотой, сообщает какое-то таинственное движение природе. Кажется, что едва выступающий над водами Невы город колеблется между небом и землей и готов вот-вот исчезнуть в пустоте.

Стоя посредине моста, переброшенного через Неву, я долго любовался этой красотой, стараясь запечатлеть в памяти все детали двух столь различных ликов белой петербургской ночи.

Я мысленно сравнивал Петербург с Венецией. Он менее прекрасен, но вызывает большее удивление. Оба колосса возникли благодаря страху. Но в то время как Венеция обязана своим происхождением страху, так сказать, в чистом виде, ибо последние римляне бегство предпочитали смерти и плодом их ужаса явилось одно из чудес нашего времени, Петербург был воздвигнут под влиянием страха, одетого в ризы благочестия, ибо русское правительство сумело превратить послушание в догмат. Русский народ считается очень религиозным. Допустим, но что это за религия, в которой запрещено наставлять народ? В русских церквах нет проповедей. Крестные знамения — плохое доказательство благочестия. И мне кажется, что, вопреки земным поклонам и прочим проявлениям набожности, русские в своих молитвах думают больше о царе, чем о боге.

Политические верования здесь сильнее и прочнее религиозных. Единство православной церкви лишь кажущееся. Многочисленные секты, принужденные безмолвствовать из-за тонко рассчитанного молчания господствующей церкви, прокладывают себе подземные пути. Но народы немотствуют лишь до поры до времени. Рано или поздно они обретают язык, и начинаются яростные споры. Тогда подвергаются обсуждению все политические и религиозные вопросы. Настанет день, когда печать молчания будет сорвана с уст этого народа, и изумленному миру покажется, что наступило второе вавилонское столпотворение. Из религиозных разногласий возникнет некогда социальная революция в России, и революция эта будет тем страшнее, что совершится во имя религии [97].

На Волге продолжаются крестьянские бунты и жестокие усмирения [98]. Во всем видят руку польских агитаторов — рассуждение, напоминающее доводы волка у Лафонтена [99]. Свирепость, проявляемая обеими сторонами, говорит нам о том, какова будет развязка. Вероятно, наступит она нескоро: у народов, управляемых такими методами, страсти долго бурлят, прежде чем вспыхнуть. Опасность приближается с каждым часом, но кризис запаздывает, зло кажется бесконечным. Наши внуки, быть может, еще не увидят взрыва. Однако же сегодня можно

предсказать его неизбежность, не пытаясь угадать, когда именно он разразится...

Положительно, я никогда отсюда не уеду! Сама судьба против меня. Опять отсрочка, но на этот раз вполне законная. Я уже собирался сесть в экипаж, когда вошел один из моих друзей с письмом в руке. Он настаивал, чтобы я прочел последнее сейчас же. Боже мой, что за письмо! Оно написано княгиней Трубецкой и адресованно родственнику, который должен показать его императору. Я хотел тут же переписать его, чтобы напечатать не изменив ни одного слова, но мне этого не позволили.

— Ведь письмо облетит тогда весь мир,— проговорил мой друг, испуганный произведенным на меня впечатлением.

— Это лучший довод за его напечатание.

— Что вы, это немыслимо! Дело ведь идет о судьбе целого ряда лиц. Письмо было мне передано под честным словом. Я могу только показать его вам и вернуть через полчаса.

Несчастная страна, где каждый иностранец представляется спасителем толпе угнетенных, потому что он олицетворяет правду, гласность и свободу для народа, лишенного всех этих благ!

Прежде чем познакомить вас с содержанием письма, нужно в двух словах рассказать одну печальную историю. Вы, конечно, знакомы с нею, но в общих, довольно неопределенных чертах, как вообще со всем, касающимся этой отдаленной и вызывающей только холодное любопытство страны. Таким равнодушным и потому жестоким любопытным был и я до приезда в Россию. Читайте же теперь и краснейте! Да, краснейте, потому что всякий, кто не протестует изо всех сил против режима, делающего возможным подобные факты, является до известной степени его соучастником и соумышленником.

Я отправил лошадей обратно под предлогом внезапного недомогания и поручил фельдъегерю сказать на почте, что выезжаю завтра. Отделавшись от услужливого шпиона, я сейчас же сел писать эти строки.

Князь Трубецкой, принимавший весьма деятельное участие в восстании 14 декабря, был приговорен к каторжным работам на четырнадцать или пятнадцать лет с последующей ссылкой на поселение в Сибирь, которая

населяется таким путем колониями бывших преступников. Князь должен был отбывать срок наказания в уральских рудниках. Жена князя, принадлежащая к одному из знатнейших русских родов, решила последовать за мужем в изгнание. Никакие доводы не могли поколебать ее решения. «Это мой долг,— отвечала она,— и я его исполню. Нет на земле власти, имеющей право разлучить мужа и жену. Я разделю участь моего супруга». Благородная женщина получила «милостивое» разрешение заживо похоронить себя вместе с мужем. Не знаю, какой остаток стыда заставил русское правительство оказать ей эту милость. Может быть, боялись друзей Трубецкой, людей влиятельных и знатных. Как ни обессилена здесь аристократия, она все же сохраняет тень независимости, и этой тени достаточно, чтобы внушить страх деспотизму. Это ужасное общество изобилует контрастами: многие говорят между собой столь же свободно, как если бы они жили во Франции. Тайная свобода утешает их в явном рабстве, составляющем стыд и несчастье их родины.

Как бы то ни было, княгиня уехала со своим мужем-каторжником и, что еще более удивительно, прибыла к месту назначения, сделав много сотен миль в телеге по невозможным дорогам. Можете себе представить, сколько страданий и лишений перенесла несчастная женщина! Но я не могу вам их описать, так как не знаю подробностей и не хочу сочинять ни слова — истинность всего этого рассказа для меня священна.

Подвиг княгини Трубецкой покажется тем более героическим, что до катастрофы супруги были довольно холодны друг к другу. В Петербурге у них не было детей, в Сибири родилось пятеро.

Как бы ни был виноват Трубецкой, царь давно бы его простил, будь он на самом деле таким великим монархом, каким хочет казаться. Но помимо того, что милосердие чуждо натуре Николая, оно представляется ему слабостью, унижающей царское достоинство. Он привык измерять свою силу страхом, который внушает, и сострадание кажется ему нарушением его кодекса политической морали. Одним словом, император Николай не смеет прощать, он осмеливается лишь наказывать.

Четырнадцать лет супруги прожили, так сказать, бок о бок с рудниками, ибо княжеские руки, как вы понимаете, плохо приспособлены к работе заступом и лопатой. Во всяком случае, он каторжник и должен жить там.

Вы сейчас увидите, на что положение каторжника обрекает человека и его детей.

Правда, в Петербурге нет недостатка в патриотах, которые находят жизнь приговоренных к каторге вполне сносной и жалуются на «болтунов», преувеличивающих страдания сосланных в рудники преступников. Родственники последних, говорят эти оптимисты, могут посылать им одежду и провизию. Интересно только, какие съестные припасы выдержат перевозку на сказочных расстояниях Российской империи?

Каковы бы ни были прелести сибирской жизни, здоровье княгини Трубецкой было подорвано. Да и трудно понять, как женщина, привыкшая к роскоши большого света, могла прожить столько лет в ледяной пустыне, где термометр каждый год показывает до 40 градусов мороза. Такая температура сама по себе способна стереть с лица земли человечество. Но святая женщина хотела жить — и жила. А кроме того, у нее были другие заботы.

Прошло семь лет в изгнании, ее дети стали подрастать, и она сочла своим долгом написать одному из родственников просьбу пойти к царю и вымолить у него разрешение послать ее детей в Петербург или какой-либо другой большой город, чтобы дать им подобающее образование.

Эта просьба была повергнута к стопам монарха, и достойный потомок Ивана IV и Петра I ответил, что дети каторжника — сами каторжники и всегда будут достаточно образованы.

Получив такой ответ, осужденный, его жена, его семья хранили молчание еще семь долгих лет. За них протестовали человечество, христианская религия, униженная честь, но протестовали совсем тихо и неслышно. Ни один голос не раздался против подобной «справедливости». И только теперь, когда новое бедствие обрушилось на несчастных, опять послышался вопль из глубины пропасти.

Князь отбыл срок каторги, и «освобожденные», как принято выражаться, изгнанники должны поселиться вместе со своими детьми в одной из наиболее отдаленных местностей Сибири. Место их поселения было с умыслом избрано самим императором. Это такая глушь, что она еще не обозначена на картах русского генерального штаба, самых точных и подробных географических картах на свете.

Положение княгини стало гораздо тягостней с тех пор, как ей «разрешили» поселиться в этом медвежьем углу. (Заметьте, что на языке угнетенных в интерпретации угнетателя разрешения считаются приказаниями.) В рудниках она могла согреться под землей, там у нее были товарищи по несчастью, немые утешители, свидетели ее героизма. Людские взоры видели и оплакивали ее мученичество, и не одно сердце при встрече с нею начинало биться сильнее. Словом, она в рудниках чувствовала себя окруженной сочувствовавшими ей людьми. Но как пробудить сострадание в медведях, как проложить себе дорогу сквозь дремучие леса, как растопить вечные льды беспредельной тундры, как защититься от невыносимого холода в жалкой лачуге? И как прожить с мужем и пятью детьми в сотне, а может быть, и больше миль от ближайшего человеческого жилья, если не считать надсмотрщика за ссыльнопоселенцами?

Мое преклонение вызывает не только покорность княгини воле провидения, но и те полные красноречия и нежности слова, которые она нашла в своем сердце и которые сломили сопротивление ее мужа, убедив его в том, что, страдая вместе с ним, она менее несчастна, чем была бы в Петербурге, где ее окружали бы все жизненные удобства, но где она была бы далеко от него. Это торжество преданности, увенчанное успехом (потому что князь в конце концов согласился), представляется мне чудом женской чуткости, силы и любви. Жертвовать собой — благородное и редкое качество, но заставить другого принять такую жертву — выше этого нет ничего на земле!

Ныне отец и мать, лишенные всякой помощи, сломленные столькими несчастиями в прошлом и мрачной неизвестностью в будущем, затерянные в пустыне, наказанные в своих ни в чем неповинных детях, не знают, как жить, чем поддерживать существование детей. Последние — каторжники от рождения, парии императорской России без отечества, без рода, без имени. Но их нужно кормить, одевать и обувать. Разве может мать, как бы горда, как бы возвышенна душой она ни была, разве может мать допустить, чтобы плоть от плоти ее погибла? Нет, она унижается и молит о пощаде... Сильная женщина побеждена отчаявшейся матерью. Она видит, что ее дети больны, и не может им ничем помочь, у нее нет никаких средств облегчить их страдания, вылечить их, спасти им жизнь. Отец, потрясенный горем,

позволяет ей действовать так, как подсказывает сердце. И княгиня, простив жестокость первого отказа (просить о милости – значит прощать), опять шлет письмо из Сибири. Оно адресовано семье, но предназначено императору. Для того чтобы познакомить меня с этим письмом, мне и помешали уехать. Но я не жалею об отсрочке отъезда. Я никогда не читал ничего трогательнее и проще. Такие подвиги не нуждаются в словах. Княгиня не пользуется своим положением героини, она лаконична даже тогда, когда дело идет о жизни ее детей. В нескольких строках она описывает свое положение без декламации, без жалоб. Она не унижается до красноречия — факты сами говорят за себя. Она кончает просьбой о единственной милости — о разрешении жить где-либо, где есть медицинская помощь, чтобы можно было достать лекарства для больных детей. Окрестности Тобольска, Иркутска или Оренбурга показались бы ей раем. В конце письма она не говорит об императоре, она забывает обо всем и думает только о своем муже. В ее словах дышит неподдельное и благородное чувство, которое одно могло бы заставить забыть самое тяжкое преступление. Но она невинна, а монарх, к которому она обращается, всемогущ, и только бог судит его поступки. «Я очень несчастна, — пишет она, — но если бы мне было суждено пережить все снова, я поступила бы точно так же».

Письмо княгини пришло по назначению, император его прочел: нашелся храбрый человек, осмелившийся не только отнести его к грозному монарху, но и поддержать просьбу опальной родственницы. О ней говорят с царем не иначе как о преступнице, между тем как в любой другой стране только бы гордились родственными связями с такой жертвой супружеского героизма.

И вот после четырнадцати лет мстительного преследования дайте мне выразить мое негодование! Ибо выбирать слова, говоря о подобных фактах, – значит предавать святое дело! Пусть русские возмущаются, если посмеют, но Европа должна узнать, что человек, называемый шестьюдесятью миллионами подданных всесильным самодержцем, унижается до мести. Да, только местью можно назвать такую расправу! Итак, спустя четырнадцать лет родственник княгини слышит из уст императора Николая вместо всякого ответа следующие слова: «Удивляюсь, что мне осмеливаются снова (второй раз в 15 лет!) говорить о семье, глава которой участвовал

в заговоре против меня». Вы можете сомневаться в точности передачи этих слов, я сам хотел бы сомневаться, но не могу. Мне их передало лицо, которому родственник княгини только что рассказал о своей беседе с государем. Да, наконец, доказательством является и тот факт, что письмо ничем не отразилось на участи изгнанников

Их родственники Трубецкие, люди влиятельные и родовитые, живут в Петербурге... и бывают при дворе! Вот вам самосознание и независимость русской аристократии! В стране, где царствует произвол, страх оправдывает все. Больше того, он не остается без награды. Страх, называемый для приличия благоразумием и умеренностью, есть единственная заслуга, которая никогда не забывается. Здесь встречаются даже господа, обвиняющие княгиню Трубецкую в глупости. «Разве не может она возвратиться в Петербург одна?» — говорят они. Поистине удар ослиным копытом! [100]

Теперь для меня нет больше сомнений и колебаний, я составил себе суждение об императоре Николае. Это человек с характером и волей — иначе он не мог бы стать тюремщиком одной трети земного шара, но ему совершенно чуждо великодушие. То, каким образом он пользуется своей властью, доказывает это слишком ясно. Пусть бог его простит! Я же, к счастью, его больше не увижу. Я закончу свое путешествие, но не буду присутствовать при выезде двора в Кремль и больше не буду говорить об императоре. Да и что нового могу я рассказать вам о нем? Теперь вы знаете его достаточно хорошо, чтобы получить ясное представление об этой стране. Представьте лишь себе, что случаи, подобные только что рассказанному, происходят здесь постоянно, но остаются никому не известными. Понадобилось стечение особенно благоприятных обстоятельств, чтобы до меня дошли те факты, которыми я поделился с вами, повинуясь велениям совести.

Я соберу все заметки, написанные мною со дня приезда в Россию и не отправленные в Париж из осторожности, хорошенько запечатаю всю связку и отдам на сохранение в надежные руки (последние не так-то легко найти в Петербурге). Затем я напишу письмо, так сказать, официальное, которое пошлю завтра в Париж почтой. В этом письме все, что я здесь вижу, все лица, все учреждения будут превознесены свыше всякой меры. Из него будет явствовать, как я безгранично восхищен

этой страной и всем в ней происходящим! Я уверен — вот в чем вся соль! — что и мои французские читатели, и русская полиция будут одинаково одурачены моим казенным энтузиазмом и что это и подобные ему письма, вскрытые на границе, помогут мне спокойно закончить мое путешествие.

Если же вы обо мне не услышите, знайте, что меня отправили в Сибирь. Лишь эта невольная поездка помешает мне выехать наконец в Москву. Мой фельдъегерь только что сообщил мне, что завтра утром почтовые лошади будут меня ждать у подъезда.





Глава XVIII

Путешествие на почтовых. - «Русские горы». Фельдъегерь Кюстина. — Избиение ямщика. Быстрая езда. — Пророчество опытного путешественника. - Деревенское население. - Почтовые станции. — Привлекательность русских крестьянок. — Столичные феи превращаются в ведьм. — Челядь. — Высочайшая дорога.

Путешествовать на почтовых из Петербурга в Москву — это значит испытывать несколько дней кряду ощущения, пережитые при спуске с «русских гор» в Париже. Хорошо, конечно, привезти с собою английскую коляску с единственной целью прокатиться на настоящих рессорах по этой знаменитой дороге — лучшему шоссе в Европе по словам русских и, кажется, иностранцев. Шоссе, нужно сознаться, содержится в порядке, но оно очень твердо и неровно, так как щебень достаточно измельченный, плотно утрамбован и образует небольшие, но неподвижные возвышенности. Поэтому болты расшатываются, вылетают на каждом перегоне, на каждой станции коляска чинится, и теряешь время, выигранное в пути, где летишь в облаке пыли с головокружительной скоростью урагана. Английская коляска доставляет удовольствие только на первых порах, вскоре же начинаешь чувствовать потребность в русском экипаже, более приспособленном к особенностям дороги и нраву ямщиков. Чугунные перила мостов украшены императорским гербом и прекрасными гранитными столбами, но их едва успевает разглядеть оглушенный путешественник — все окружающее мелькает у него перед глазами, как бред больного.

Внешность, осанка и характер моего фельдъегеря напоминают мне на каждом шагу дух, господствующий в его стране. Когда мы подъезжали ко второй станции, одна из наших лошадей зашаталась и, обессиленная,

упала. К счастью, кучер сумел сразу остановить остальную тройку. Несмотря на то что лето на исходе, днем стоит палящий зной и от жары и пыли нечем дышать. Я решил, что у лошади солнечный удар и что она умрет, если сейчас же не пустить кровь. Подозвав моего фельдъегеря, я достал из саквояжа футляр с ветеринарным ланцетом и предложил немедленно им воспользоваться, чтобы спасти жизнь несчастному животному. Но фельдъегерь ответил мне со злобной и насмешливой флегматичностью: «Не стоит того, ведь мы до станции доехали». С этими словами, не удостоив взглядом издыхающую лошадь, он пошел на конюшню и заказал новую запряжку. Русским далеко до англичан, издавших закон против жестокого обращения с животными. Мой фельдъегерь не поверил бы в существование такого закона.

Впрочем, зачем говорить о животных, когда и с людьми обращаются, как со скотами? Вот еще один пример. Ямщик, довезший меня до станции, где я пишу эти строки, в чем-то провинился при отъезде и навлек на себя гнев своего старшего по рангу товарища. Последний сбил его, почти ребенка по возрасту, с ног, затоптал сапогами и осыпал градом ударов. Тумаки были основательные, потому что я издали слышал, как гудела под ними грудная клетка потерпевшего. Когда же наконец истязатель утомился, избитый поднялся на ноги, не произнеся ни слова, бледный и дрожащий, поправил волосы, отвесил поклон своему грозному начальнику и легко вскочил на облучок, чтобы помчать меня со скоростью четырех или пяти миль в час. Император делает семь миль в час. Железнодорожный поезд с трудом угнался бы за его коляской. Сколько людей должно быть избито, сколько лошадей пасть, чтобы достигнуть такой поразительной быстроты передвижения! И так все сто восемьдесят миль кряду! Говорят, что невероятная скорость езды в открытой коляске вредит здоровью: немногие легкие могут безнаказанно рассекать воздух с такой стремительностью. Правда, телосложение императора таково, что он выносит все решительно, но его более хрупкий сын уже испытывает на себе вредное влияние подобных физических упражнений.

В двух часах езды отсюда я встретился с одним знакомым мне русским, посетившим одно из своих имений и возвращавшимся в Петербург. Мы остановились на минуту, чтобы обменяться несколькими словами. Осмотрев подробно мою коляску, русский вдруг разразился смехом.

— Посмотрите сюда,— сказал он, указывая на оси, рессоры, чеки и прочие части экипажа,— они не доедут до Москвы в целости и сохранности. Иностранцев, желающих путешествовать в своих экипажах, постигает всегда одна и та же участь: они выезжают, как вы, а возвращаются в дилижансе.

— Но русские мне говорили, что это лучшее шоссе в Европе, и я им поверил на слово.

— На нем не хватает некоторых мостов и некоторые участки чинятся. Не раз приходится сворачивать с шоссе, чтобы переезжать по временным мостам с торчащими во все стороны бревнами. И иностранные экипажи неизменно ломаются в таких случаях.

— Моя коляска сделана в Англии и испытана в больших путешествиях.

— Нигде не ездят с такой быстротой, как у нас. Коляски раскачиваются подобно кораблю в сильную бурю. Получается комбинированная качка — боковая и килевая, и только построенные в России экипажи могут противостоять такому испытанию.

— Вы разделяете старый предрассудок, будто тяжелые и массивные экипажи — самые прочные, но это неверно.

— Счастливого пути! Если ваш доберется до Москвы, вы будете правы. Не забудьте написать!

Едва я распростился с этим мрачным пророком, как одна из рессор лопнула. Случилось это недалеко от станции. Вот вам и первая задержка. Заметьте, что мы сделали только восемнадцать лье из ста восьмидесяти. Я предчувствовал, что предстоит отказаться от удовольствия быстрой езды и уже выучил русское слово «тише», противоположное тому, что всегда говорят русские путешественники.

По дороге уже попадались крестьянки с более красивыми лицами, чем в Петербурге. Фигуры их по-прежнему оставляют желать много лучшего, но цвет лица здоровый и свежий. Очень портит их обувь, грубые, высокие сапоги, совершенно скрадывающие формы ноги. Можно подумать, что они пользуются обувью своих мужей.

Дома похожи на виденные мною по дороге в Шлиссельбург, но не все столь же изящны. Вид у деревень однообразный. Они представляют собой два ряда бревенчатых изб, правильно расставленных на некотором расстоянии от большой дороги. Избы сложены из грубо обтесанных бревен и повернуты коньком крыши к улице.

Все они похожи одна на другую, но, несмотря на это унылое однообразие, деревни производят на меня впечатление достатка и даже некоторой зажиточности. От них веет спокойствием сельской жизни, вдвойне радующим после Петербурга. Деревенское население не кажется особенно веселым, но и не имеет такого несчастного вида, как солдаты или петербургские чиновники. Из всех русских крестьяне меньше всего страдают от отсутствия свободы: они сильнее всех порабощены, но зато у них меньше тревог [101].

Дом, в котором я пишу, отличается элегантностью, представляющей собою разительный контраст со скудостью окружающей природы. Это в одно и то же время и почтовая станция, и гостиница, похожая на дачу богатого частного лица. Потолок и стены расписаны в итальянском стиле, нижний этаж состоит из нескольких просторных зал и напоминает провинциальный французский ресторан. Мебель обита кожей, стулья с соломенными сиденьями имеют опрятный вид. Везде расставлены большие диваны, могущие заменить кровати, но я по горькому опыту знаю, как опасно ими пользоваться, и даже не рискую на них садиться. Почтовые станции такого рода, хотя и менее изысканные, устроены на протяжении всего пути из Петербурга в Москву и содержатся за счет правительства.

«В России нет расстояний», — говорят русские, и за ними повторяют все путешественники. Я принял это изречение на веру, но грустный опыт заставляет меня утверждать диаметрально противоположное: только расстояния и существуют в России. Там нет ничего, кроме пустынных равнин, тянущихся во все стороны, насколько хватает глаз. Два или три живописных пункта отделены друг от друга безграничными пустыми пространствами, причем почтовый тракт уничтожает поэзию степей, оставляя только мертвое уныние равнины без конца и без края. Ничего грандиозного, ничего величественного. Все голо и бедно, кругом одни солончаки и топи. Смена тех и других — единственное разнообразие в пейзаже. Разбросанные там и тут деревушки, становящиеся, чем дальше от Петербурга, тем неряшливее, не оживляют ландшафта, но, наоборот, усугубляют его печаль. Избы — груды бревен с деревянной крышей, крытой иногда соломой. В этих лачугах, вероятно, тепло, но вид

у них прегрустный. Напоминают они лагерные бараки, с той лишь разницей, что последние внутри чище. Крестьянские же клетушки грязны, смрадны и затхлы. Кровати в них отсутствуют. Летом спят на лавках, идущих вдоль стен горницы, зимой — на печи или на полу вокруг печи. Отсюда следует, что русский крестьянин всю жизнь проводит на бивуаке. Домашний комфорт этому народу не известен.

Головной убор крестьян очень своеобразен и по форме похож на гриб. На ногах у них по большей части самодельная плетенка, привязанная к ногам перекрещивающимися веревками. Такой обувью приятней любоваться на статуях, чем видеть ее в повседневном употреблении. Античная скульптура дает нам понятие о древности так называемого «лаптя».

Крестьянки по-прежнему встречаются редко: из десяти встречных не больше одной женщины. Костюм их обличает полное отстутствие кокетства и напоминает собою пеньюар без намека на талию. Почти все ходят босиком, только самые зажиточные щеголяют в уже описанных мною сапогах. На голове они носят платки или туго стянутые куски полотна.

Но не одни крестьянки пренебрегают своей наружностью. Я видел русских дам, путешествующих в самых невозможных туалетах. Сегодня утром на одной из станций, где я остановился позавтракать, встретил я целую семью, знакомую мне по Петербургу. Там она живет в одном из дворцов, которые русские с такой гордостью показывают иностранцам. У себя дома эти дамы были разодеты по последней парижской моде. Но на постоялом дворе, где они меня нагнали благодаря новому несчастью, приключившемуся с моей коляской, это были совсем другие женщины. Я их едва узнал, ибо феи превратились в ведьм. Представьте себе, что молодые особы, которых вы до сих пор встречали только в большом свете, вдруг появились перед вами в костюме Сандрильоны — какой там, гораздо хуже: без шляп, с грязными, похожими на салфетки, косынками на голове, в засаленных капотах, в стоптанных туфлях, шлепающих при каждом шаге. Положительно можно было поверить в колдовство.

Элегантных путешественниц сопровождал целый штат прислуги обоего пола. Эта челядь, кутавшаяся в отвратительные оборванные салопы, слонялась повсюду и производила адский шум, довершавший картину бесовского

шабаша. Все кричало, визжало, бегало взад и вперед. Везде пили, ели с жадностью, способной отбить аппетит у самого голодного человека. Между тем дамы не забывали, жеманясь и гримасничая, жаловаться мне на царствующую на станции грязь — точно они имели право претендовать на чистоту. Мне казалось, что я попал в цыганский табор. Впрочем, цыгане не выдают себя за любителей опрятности.

Я забыл упомянуть об одном довольно странном обстоятельстве, поразившем меня в начале поездки.

На всем протяжении от Петербурга до Новгорода я заметил вторую дорогу, идущую параллельно главному шоссе на небольшом от него расстоянии. Эта параллельная дорога снабжена изгородями и деревянными мостами, хотя и сильно уступает главному шоссе в красоте и в общем значительно хуже его. Прибыв на станцию, я попросил узнать у станционного смотрителя, что обозначает эта странность. Мой фельдъегерь перевел мне объяснение смотрителя. Вот оно: запасная дорога предназначена для движения ломовых извозчиков, скота и путешественников в те дни, когда император или особы императорской фамилии едут в Москву. Таким образом, августейшие путники ограждаются от пыли и прочих неприятностей, которые могли бы их обеспокоить или задержать в том случае, если бы большая дорога оставалась доступной для всех в момент высочайшего проезда. Не знаю, не посмеялся ли надо мной станционный смотритель. Впрочем, он говорил с очень серьезным видом и, по-видимому, находил вполне естественным, что государь захватывает почтовую дорогу в свое полное распоряжение в стране, где монарх — это все.

Людовик XIV, говоривший: «Франция — это я!», останавливался, чтобы дать дорогу стаду овец, и в его царствование возчик, пешеход и нищий, повстречавшись в пути с принцами крови, повторяли им наше древнее изречение: «Большая дорога принадлежит всем!» Дело не в законе, а в способе его применения. Во Франции нравы и обычаи во все времена вносили известный корректив в политическое установление. В России те же нравы и обычаи преувеличивают все недостатки последних при их применении на практике, так что следствия становятся еще хуже, чем самые принципы.

Двойная дорога кончается в Новгороде и не доходит до первопрестольной столицы России.



Глава XIX

Вынужденные остановки в пути. — Природная грация русского народа. — Унылые песни. — Качели. — Крестьянская сметливость. — Богобоязненность и плутовство. — Люди голубой крови. — Своеобразные понятия о чести. — Кюстин слушает панегирики рабству. — Торопливость придает вес. — Несчастный жеребенок. — Сны наяву. — Кровавое прошлое Твери. — Предательская роса.

В Клину меня ожидал новый невольный привал и все по той же причине: регулярно каждые двадцать миль что-нибудь ломается. Положительно, мой русский знакомый оказался пророком!

Бывают минуты, когда, не обращая внимания на мои протесты и упорное повторение русского «тише», ямщики пускают лошадей во весь опор. Тогда, убедившись в тщетности попыток их урезонить, я умолкаю и закрываю глаза, чтобы избежать головокружения. Впрочем, до сих пор мне не попалось еще ни одного неумелого возницы, а многие отличались поразительной ловкостью и искусством. Интересно, что самыми искусными коневодами оказались старики и дети, хотя должен сознаться, что, когда я в первый раз увидел в этой роли мальчугана лет десяти, сердце мое сжалось, и я запротестовал. Но фельдъегерь меня успокоил, и, решив, что он в конце концов подвергается одинаковому со мной риску, я покорился своей участи. Исключительная сноровка, нужно сознаться, необходима русскому ямщику, чтобы при такой быстроте езды лавировать между загромождающими дорогу бесчисленными повозками.

Нет ничего оригинальнее повозок, людей и животных, встречающихся на дорогах этой страны. Я нигде не видел ничего похожего. У русского народа, безусловно, есть природная грация, естественное чутье изящного, благодаря которому все, к чему он прикасается, приоб-

ретает поневоле живописный вид. Заставьте людей менее тонкой породы пользоваться жилищами, одеждами и утварью русских — и все эти вещи покажутся нам попросту чудовищными. А здесь я их нахожу странными, необычайными, но не лишенными своеобразной красоты, достойной карандаша художника. Заставьте русского носить одежду парижского рабочего — и он сделает из нее нечто приятное для глаза. Жизнь этого народа полна интереса, если не для него самого, то для наблюдателя со стороны. Контраст между слепым повиновением «властям предержащим» прикованного к земле населения и энергичной и неустанной борьбой того же самого населения со скудной природой и смертоносным климатом является неисчерпаемым источником оригинальнейших картин и глубоких размышлений.

Тишина царствует на всех праздниках русских крестьян. Они много пьют, говорят мало, кричат еще меньше и либо молчат, либо поют хором, то есть тянут меланхоличную мелодию. Национальные песни русских отличаются грустью и унынием. Любимое развлечение русских крестьян — качели, что вполне согласуется с их врожденной ловкостью. Проезжая в воскресенье через многолюдные деревни, я наблюдал, как на одних качелях стояло от четырех до восьми девушек, а на других такое же количество молодых людей, лицом к первым. Те и другие раскачивались едва-едва, почти неприметно для глаза. Такая немая игра продолжается долго, и у меня никогда не хватало терпения дождаться конца. Однако это томное времяпрепровождение лишь нечто вроде интермедии, происходящей в антрактах между настоящими качелями. Последние — удовольствие чрезвычайно смелое и даже пугающее зрителя. Достаточно сказать, что столбы, на которых подвешены качели, достигают иногда двадцати футов высоты. И вот представьте себе двух молодых людей, раскачивающихся изо всей силы, так что, кажется, качели вот-вот опишут полный круг! Положительно непонятно, как можно при таких условиях сохранить равновесие. В этих упражнениях русские обнаруживают много ловкости, грации и смелости.

Во многих селах любовался я такими играми и, наконец, увидел несколько женских лиц совершенной красоты. Краска проступает у них сквозь кожу, отличающуюся прозрачностью и необыкновенной нежностью. Прибавьте к этому зубы ослепительной белизны и — большая редкость — прелестные, поистине античные линии

рта. Но глаза, по большей части голубые, имеют монгольский разрез и, как всегда у славян, смотрят плутовато и беспокойно. Не знаю, может быть, виноват в этом наряд, может быть, это игра природы, но красивые лица реже встречаются у женщин, чем у мужчин.

Русский крестьянин трудолюбив и умеет выпутаться из затруднений во всех случаях жизни. Он не выходит из дому без топора — инструмента, неоценимого в искусных руках жителя страны, в которой лес еще не стал редкостью. С русским слугою вы можете смело заблудиться в лесу. В несколько часов к вашим услугам будет шалаш, где вы с большим комфортом и уж конечно в более опрятной обстановке проведете ночь, чем в любой деревне.

На каждом перегоне мои ямщики по крайней мере раз двадцать крестились, проезжая мимо часовен, и столь же усиленно раскланивались со всеми встречными возницами, а их было немало. И выполнив столь пунктуально эти формальности, искусные, богобоязненные и вежливые плуты неизменно похищали у нас что-либо. Каждый раз мы недосчитывались то кожаного мешка, то ремня, то чехла от чемодана, то, наконец, свечки, гвоздя или винтика. Словом, ямщик никогда не возвращался домой с пустыми руками.

Как этот народ ни жаден до денег, он не смеет жаловаться, когда его обсчитывают. От этого часто приходилось терпеть моим ямщикам, потому что фельдъегерь, которому я вручил при отъезде нужную сумму для расчетов с ними, регулярно удерживал часть прогонных денег в свою пользу. Заметив его плутовство, я начал из своего кармана возмещать убытки несчастному ямщику. И можете себе представить: пройдоха-фельдъегерь, убедившись, в свою очередь, в моем великодушии (так он назвал мое чувство справедливости), имел дерзость мне заявить, что он слагает с себя ответственность за мою особу в том случае, если я не перестану нарушать его законный авторитет своими действиями.

Впрочем, можно ли удивляться отсутствию нравственного чувства у простого народа в стране, где знать смотрит на самые элементарные правила честности как на законы, годные для плебеев, но не касающиеся людей голубой крови? Не подумайте, что я преувеличиваю: это горькая правда. Отвратительной аристократической спесью, диаметрально противоположной истинной чести, проникнуто большинство самых влиятельных

дворянских родов в России. Недавно одна знатная дама сделала мне очень ценное, но невольное признание. Ее слова меня настолько поразили, что я ручаюсь за буквальную их передачу. Выраженные моею собеседницею чувства довольно широко распространены здесь среди мужчин, но редко встречаются у женщин, сохранивших лучше, чем их мужья и братья, традиционные, истинно благородные понятия.

— Мы не можем составить себе ясное представление о ваших порядках,— сказала она.— Меня уверяют, будто у вас могут посадить в тюрьму знатнейшую особу за долг в двести франков. Это возмутительно! Видите ли, вот в чем разница между Россией и Францией: у нас не найдется ни одного купца, ни одного поставщика, который осмелился бы отказать нам в кредите на неограниченный срок. С вашими аристократическими воззрениями,— прибавила она,— вы, вероятно, гораздо лучше чувствуете себя в России. У французов старого режима с нами гораздо больше точек соприкосновения, чем с любыми другими народами Европы.

Не могу вам передать, какое мне понадобилось самообладание, чтобы громко не запротестовать против мнимого единомыслия, которым гордилась моя собеседница. Все же, несмотря на вынужденную сдержанность, я не мог отказать себе в удовольствии заметить, что человек, считающийся у нас ультрароялистом, сошел бы в Петербурге за самого отъявленного либерала. В заключение я сказал: «Если вы меня уверяете, что среди вас есть господа, не считающие нужным оплачивать свои долги, то я не могу поверить вам на слово».

— И совершенно напрасно. Многие из нас обладают несметными богатствами, но они разорились бы в пух и прах, если бы вздумали как-нибудь расплатиться со всеми своими кредиторами.

Вначале такие утверждения казались мне бахвальством дурного тона или даже ловушками, расставленными моей доверчивости. Но собранные впоследствии сведения убедили меня в их справедливости.

Меня уверяют также, что нравственное чувство почти не развито у русских крестьян. Они будто бы почти не имеют понятия о семейных обязанностях. И мои личные впечатления чуть ли не каждый день подтверждают это. Один большой барин рассказал мне, что принадлежащий ему крепостной, хорошо знающий какое-то ремесло, отправился с его разрешения в Петербург на

заработки. Спустя два года крестьянин получил на несколько недель отпуск, который он пожелал провести в деревне, где жила его жена. В назначенный день он возвращается в Петербург.

— Ну ты доволен, что повидался с семьей? — спрашивает его барин.

— Очень доволен, ваше сиятельство, – наивно отвечает крепостной, – жена мне двух ребят принесла. Хорошо, теперь в семье больше народу стало.

Несчастные люди! У них нет ничего своего — ни дома, ни детей, ни жены. Даже их сердце им не принадлежит — они не ревнивы. Да и кого им ревновать? Ведь любовь для них не больше чем случайность. И такова жизнь самых счастливых людей в России, то есть рабов! Я часто слышал, как им завидуют вельможи — и, может быть, не без основания.

– У них нет никаких забот, – говорили мне,— все заботы о них и об их семьях лежат на нас. (Один бог знает, во что превращаются эти заботы, когда крепостной становится старым и, следовательно, беспомощным.) Ведь они и их дети обеспечены всем необходимым и поэтому во сто раз менее достойны сожаления, чем ваши свободные крестьяне!

Я молча выслушивал эти панегирики рабству, но про себя думал: правда, у них нет забот, но нет и собственности — и, значит, нет ни привязанности, ни счастья, ни морального чувства, нет ничего, что бы компенсировало материальные невзгоды жизни, ибо только частная собственность делает человека существом общественным, только она одна является основой семьи.

Зло — всегда зло, скажут мне. Человек, ворующий в Москве, такой же вор, как и мошенник, занимающийся этим делом в Париже. Но это я и оспариваю. Нравственность каждого индивида зависит в значительной степени от общего воспитания, получаемого данным народом. Отсюда вытекает, что провидением установлена страшная и таинственная круговая порука между правительством и управляемыми и что как в хорошем, так и в дурном в истории обществ бывают моменты, когда над государством совершается суд и выносится приговор, как над отдельным человеком.

Добродетели, пороки и преступления — понятия относительные и в применении к рабам и свободным имеют разное значение. Поэтому, когда я изучаю русский народ, я могу констатировать как факт, не влеку-

щий за собой того осуждения, которое он вызвал бы в наших условиях, что в общем у этого народа нет гордости, благородства и тонкости чувства и что эти качества заменяются у него терпением и лукавством.

«Русский народ добр и кроток!» — кричат одни. На это я отвечаю: «Я не вижу в том особого достоинства, а лишь привычку к подчинению». Другие мне говорят: «Русский народ кроток лишь потому, что он не смеет обнаружить свои истинные чувства. В глубине души он суеверен и жесток».— «Бедный народ! — отвечаю я им.— Он получил такое дурное воспитание».

Чем больше я живу в России, тем яснее вижу, как заразительно презрение к слабым. Это чувство кажется здесь столь естественным, что те, кто его больше всех осуждают, начинают в конце концов сами его разделять. В России быстрая езда превращается в страсть, которая служит предлогом к совершению всякого рода бесчеловечных поступков. Мой фельдъегерь эту страсть разделяет в полной мере и заражает ею меня. Поэтому я часто становлюсь невольным сообщником его жестокостей. Например, он выходит из себя, когда ямщик слезает с козел, чтобы поправить упряжь, или когда он останавливается в пути по иным причинам.

Вчера, в начале перегона, фельдъегерь несколько раз угрожал побоями мальчику, правившему нашими лошадьми, за аналогичные проступки, и я разделял нетерпение и гнев моего «охранителя». Вдруг из ближайшей конюшни выбежал жеребенок всего нескольких дней от роду и, приняв, очевидно, одну из наших кобыл за свою мать, с жалобным ржаньем поскакал за коляской. Молодой ямщик, уже виновный в проволочке, хотел было остановиться, чтобы помочь жеребенку, которого каждую секунду грозил изувечить экипаж. Но фельдъегерь грозно приказывает ехать дальше, и ямщик, как подобает русскому, беспрекословно повинуется и продолжает гнать лошадей. Я подтверждаю суровое распоряжение фельдъегеря. Надо поддерживать авторитет власти, говорю я себе, даже тогда, когда она неправа. Мой курьер не отличается особым рвением: если я его обескуражу, он махнет на все рукой и из помощника превратится в беспомощную обузу. Кроме того, здесь в обычае ездить быстро, я не могу проявлять меньше нетерпения, чем другие путешественники. Не спешить — это значит терять свое достоинство. Чтобы иметь вес в этой стране, нужно торо-

питься. Пока я успокаивал себя подобными рассуждениями, наступила ночь.

Конечно, я должен был бы вмешаться и прекратить мучения жеребенка и мальчугана. Один ржал изо всей силы, другой безмолвно утирал слезы кулаком, страдая за своего любимца. А я равнодушно молчал при виде этой двойной пытки. Она продолжалась долго, потому что перегон был большой.

Только прибыв на следующую станцию, наш раб, то есть несчастный ямщик, освободившись наконец от ярма железной дисциплины, созвал все село на спасение жеребенка. Накинув недоуздок, его подвели к его приемной матери, но у бедняги уже не было сил сосать. Одни говорили, что он оправится, другие, что он надорвался и издохнет. (Я уже начал понимать отдельные слова.) Услышав этот приговор, молодой ямщик, представив себе, очевидно, участь, ожидающую того, кому был поручен надзор за жеребятами, лишился, казалось, языка от ужаса, точно чувствуя на себе удары, предназначенные незадачливому товарищу. Никогда я не видел на лице у детей выражения такого безысходного отчаяния. Но из уст его не вырвалось ни одной жалобы, ни одного упрека жестокому фельдъегерю. А тот, не обращая ни малейшего внимания ни на жеребенка, ни на бедного мальчугана, со степенным видом занялся своими обязанностями, связанными со столь важным делом, как перемена лошадей.

Должен сказать, что в тот момент, когда мы выехали со станции и навсегда покинули беднягу ямщика с его жеребенком, я не чувствовал никаких угрызений совести. Они пришли позднее, когда я стал размышлять над этим происшествием. Отсюда можно заключить, как быстро портится человек, вдыхая отравленный деспотизмом воздух. Да что я говорю! В России деспотизм — на троне, но тирания — везде. И я, француз, считающий себя добрым по природе человеком, кичащийся своей древней культурой, я при первой возможности совершить акт произвола поддаюсь искушению и проявляю отвратительную жестокость. Парижанин вел себя, как варвар!

Я не спал всю ночь. Вереница неясных, смутных мыслей медленно тянулась в моем усталом мозгу. Бег уносивших меня лошадей был, казалось, гораздо быстрее, чем работа притупленного сознания: у тела выросли крылья, мысль налилась свинцом. Степи, болота с чахлыми сосенками и уродливыми березками, деревни, города про-

носились у меня перед глазами, как фантастические, нереальные образы, и я не мог отдать себе отчета в том, что привело меня сюда, почему я должен присутствовать при этом движущемся зрелище, где смена впечатлений так стремительна, что дух не поспевает за телом. Эти странные сны наяву сопровождались монотонными песнями моих ямщиков. Русский народ, говорят, очень музыкален, но до сих пор я еще ничего достойного внимания не слышал, а певучая беседа, которую вел в ту ночь кучер со своими лошадьми, звучала похоронно: речитатив без ритма, жалобные звуки, которыми человек поверял свои горести животному, единственному верному другу, хватали за душу и наполняли ее невыразимой грустью.

Копыта моих лошадей застучали по понтонному мосту. Мы переезжали реку с громким именем Волга. На ее берегу в лунном сиянии вырисовывался город. Неизбежные римские фронтоны и оштукатуренные колоннады белели в неверном сумраке северной ночи. Дорога огибала город, показавшийся мне огромным. Это — Тверь, имя, вызывающее в памяти бесконечные семейные раздоры, наполнявшие историю России до татарского нашествия. Я слышу, как брат проклинает брата; раздаются воинственные клики; я присутствую при резне, Волга окрашивается кровью. Из глубины Азии появляются татарские орды, и кровь снова льется бесконечными потоками[102]. Но я, зачем я вмешался в эти толпы, жаждущие грабежа и убийства? Что мне делать в этой дикой, жестокой стране? Не лучше ли махнуть рукой на Москву, приказать ямщику повернуть лошадей и, пока еще не поздно, поспешить домой в Париж?

Покуда мои мысли принимали столь грустный и малодушный оборот, наступило утро. Я очнулся и заметил коварную шутку северной ночи: коляска моя оставалась открытой всю ночь, и вот моя одежда насквозь промокла от росы, волосы точно пропитались испариной и все вещи купались в воде. Глаза болели и словно подернулись пеленой. Я вспомнил одного князя, ослепшего в двадцать четыре часа после проведенной в открытом поле ночи. Это случилось в Польше под той же широтой... *

* Я едва не подвергся той же участи. Болезнь глаз усилилась во время моего пребывания в Москве и мучила меня еще долго. Только по возвращении с нижегородской ярмарки она перешла в хроническую офталмию, от которой я страдаю до сих пор.

Стоит посмотреть на то, как я прячу свои писания! Ведь даже самой невинной страницы было бы достаточно, чтобы отправить меня в Сибирь. Поэтому я тщательно запираюсь, когда пишу, и если фельдъегерь или кто-либо из почтовых служащих стучится в дверь, я сначала убираю бумаги и делаю вид, что занят чтением, а затем уже впускаю непрошеного посетителя. Этот листок я запрячу под подкладку шапки. Конечно, все эти предосторожности, я надеюсь, излишни, но все-таки лучше их принимать. Одно это дает понятие о русском правительстве.





Глава XX

Панорама Москвы. — Разочарование при въезде в город. — Кремль. — Жилище призраков. — Город палачей и их жертв. — Кузнецкий мост. — Уличная толпа. — Цари не жалуют бывшую резиденцию. — О железных дорогах. — Английский клуб. — Русский философ о религиозной свободе. — Гулянье у Новодевичьего монастыря. — Казаки.

Случалось ли вам, приближаясь с суши к какому-либо порту Ла-Манша или Бискайского залива, увидеть мачты судов, стоящих за прибрежными дюнами? Песчаные валы скрывают город, пристани, набережные, даже самое море, и перед вами только лес мачт с ослепительно белыми парусами, реями, пестрыми флагами, развевающимися вымпелами и пышными яркими орифламмами всех цветов радуги. Чудодейственное появление эскадры среди твердой земли вас несказанно поражает. И вот точно такое же впечатление произвела на меня Москва, когда я впервые ее завидел. Огромное множество церковных глав, острых, как иглы, шпилей и причудливых башенок горело на солнце над облаками дорожной пыли, в то время как самый город и линия горизонта скрывались в дрожащем тумане, всегда окутывающем дали в этих широтах. Чтобы ясно представить себе все своеобразие открывающейся передо мной картины, надо напомнить, что православные церкви обязательно заканчиваются несколькими главами. Их число различно, но никогда не бывает меньше пяти, что имеет символическое значение: они служат наглядным выражением церковной иерархии. Прибавьте к этому, что главы церквей отличаются поразительным разнообразием форм и отделки и напоминают то епископскую митру, то китайскую пагоду, то минарет, то усыпанную каменьями тиару, то попросту грушу. Они то покрыты чешуей, то

усеяны блестками, то позолочены, то раскрашены яркими полосами. Каждая глава увенчана крестом самой тонкой филигранной работы, а кресты, то позолоченные, то посеребренные, соединены такими же цепями друг с другом. Постарайтесь вообразить себе эту картину, которую даже нельзя передать красками, а не то что нашим бедным языком! Игра света, отраженного этим воздушным городом, настоящая фантасмагория среди бела дня, которая делает Москву единственным городом, не имеющим себе подобного в Европе.

Но по мере приближения к городу впечатление от волшебного зрелища постепенно тускнеет, и когда останавливаешься у чрезвычайно земного и реального Петровского дворца, выстроенного Екатериной II в псевдоготическом стиле, неуклюжего, квадратного в плане и перегруженного украшениями дурного вкуса здания, то совершенно забываешь фантастический город. Чем дальше, тем сильнее разочарование, так что, въезжая в ворота Москвы, вы начинаете уже сомневаться в том, что перед тем видели своими глазами. Вы спали, думается вам, и грезили. И вот, проснувшись, очутились в самой прозаической и тоскливой обстановке на свете, в огромном городе без памятников архитектуры, то есть без единого произведения искусства, действительно заслуживающего такого названия. При виде этой грузной и неудачной копии Европы вы с изумлением спрашиваете себя, куда девалась Азия, чье видение только что маячило перед вашими глазами. Издали Москва — создание фей, мир химер и призраков, но вблизи она — большой торговый город, хаотический, пыльный, плохо вымощенный, плохо застроенный, слабонаселенный. Конечно, это произведение рук сильных и энергичных, но вместе с тем плод разума, лишенного воображения и понятия о прекрасном.

Без архитектурного гения, без таланта, без вкуса к скульптуре можно громоздить камни, можно сооружать огромные по размерам здания, но нельзя создать ничего гармоничного, ничего великого по пропорциям. Искусство, достигая вершин совершенства, одушевляет камень — в этом его тайна, этому учит Греция. В архитектуре, как и в других видах искусства, впечатление прекрасного рождается из совершенства отдельных деталей и их тонкого и умелого соподчинения общему плану. Во всей России нет ничего, что производило бы такое впечатление.

И тем не менее в том хаосе штукатурки, кирпича и бревен, который носит название Москвы, две точки неизменно приковывают к себе взоры — это церковь Василия Блаженного[103] и Кремль, тот Кремль, который не удалось взорвать самому Наполеону!

Я никогда не забуду дрожи ужаса, охватившего меня при первом взгляде на колыбель современной русской империи. Кремль стоит путешествия в Москву! Это не дворец, каких много, это целый город, имеющий, как говорят, милю в окружности. И город этот, корень, из которого выросла Москва, есть грань между Европой и Азией. При преемниках Чингисхана Азия в последний раз ринулась на Европу; уходя, она ударила о землю пятой — и отсюда возник Кремль.

Знаете ли вы, что такое стены Кремля? Слово «стены» вызывает в уме представление о чем-то слишком обыкновенном, слишком мизерном. Стены Кремля — это горный кряж. По сравнению с обычными крепостными оградами его валы то же, что Альпы рядом с нашими холмами. Кремль — это Монблан среди крепостей. Если б великан, именуемый Российской империей, имел сердце, я сказал бы, что Кремль сердце этого чудовища.

Его лабиринт дворцов, музеев, замков, церквей и тюрем наводит ужас. Таинственные шумы исходят из его подземелий; такие жилища не под стать для нам подобных существ. Вам мерещатся страшные сцены, и вы содрогаетесь при мысли, что сцены эти не только плод вашего воображения. Раздающиеся там подземные звуки исходят, грезится вам, из могил. Бродя по Кремлю, вы начинаете верить в сверхъестественное.

Кремль — вовсе не то, чем его обыкновенно считают. Это вовсе не национальная святыня, где собраны исторические сокровища империи. Это не твердыня, не благоговейно чтимый приют, где почиют святые, защитники родины. Кремль — меньше и больше этого. Он попросту жилище призраков.

Башни, башни всех видов и форм: круглые, четырехугольные, многогранные; приземистые и взлетающие ввысь островерхими крышами; башни и башенки, сторожевые, дозорные, караульные; колокольни, самые разнообразные по величине, стилю и окраске; дворцы, соборы, зубчатые стены, амбразуры, бойницы, валы, насыпи, укрепления всевозможного рода, причудливые ухищрения, непонятные выдумки, какие-то беседки бок о бок с кафедральными соборами. Во всем виден беспорядок и произвол, все

выдает ту постоянную тревогу за свою безопасность, которую испытывали страшные люди, обрекшие себя на жизнь в этом фантастическом мире. Все эти бесчисленные памятники гордыни, сластолюбия, благочестия и славы выражают, несмотря на их кажущееся многообразие, одну-единственную идею, господствующую здесь над всем,— это война, питающаяся вечным страхом. Кремль бесспорно есть создание существа сверхчеловеческого, но в то же время и человеконенавистнического. Слава, возникшая из рабства,— такова аллегория, выраженная этим сатанинским памятником зодчества.

Хотя каждая башенка, каждая отдельная деталь имеют свою индивидуальность, все они говорят об одном и том же: о страхе, вооруженном до зубов. Жить в Кремле — это значит не жить, но обороняться. Гнет порождает возмущение, возмущение вызывает меры предосторожности, последние, в свою очередь, увеличивают опасность восстания. Из этой длинной цепи причин и следствий, действий и противодействий возникло чудовище — деспотизм, который построил для себя в центре Москвы логовище — Кремль!

В искусстве нет термина, которым можно было бы охарактеризовать архитектуру Кремля. Стиль его дворцов, тюрем и соборов — не мавританский, не готический, не римский и даже не чисто византийский. У Кремля нет прообраза, он не похож ни на что на свете. На нем лежит отпечаток, если можно так выразиться, архитектуры царского стиля.

Иван Грозный — идеал тирана, Кремль — идеал дворца для тирана. Царь — это тот, кто живет в Кремле. Кремль — это дом, где живет царь. Я не люблю новоизобретенных слов, в особенности тех, которыми пользуюсь я один, но «архитектура царского стиля», или «царская архитектура»,— выражение необходимое, ибо ни одно другое не вызовет в уме человека, знающего, что такое «царь», соответствующих представлений. В Москве уживаются рядом два города: город палачей и город жертв последних. История России показывает нам, как эти два города возникли один из другого и как они могли существовать друг подле друга.

Покинутая царями и большинством родовитых бояр, превратившихся в угодливых царедворцев, Москва за неимением лучшего превратилась в город торговый и промышленный. Она гордится ростом своих фабрик. Ее шелка с честью соперничают на русском рынке с тканями

Востока и Запада [104]. Средоточие ее торговли — Китай-город и улица, носящая название Кузнецкого моста, где расположены самые богатые лавки,— относится к числу достопримечательностей развенчанной столицы. Я упоминаю об этом потому, что усилия русского народа освободиться от дани, уплачиваемой им чужеземной промышленности, могут иметь важные политические последствия для Европы.

Первое, что меня поразило в Москве, это настроение уличной толпы. Она показалась мне более веселой, более свободной в своих движениях, более жизнерадостной, чем население Петербурга. Люди, чувствуется, действуют и думают здесь более самопроизвольно, меньше повинуются посторонней указке. В Москве дышится вольнее, чем в остальной империи. Этим она сильно отличается от Петербурга, чем, по-моему, и объясняется тайная неприязнь монархов к древнему городу, которому они льстят и которого они боятся и избегают, как ни призрачна, в сущности говоря, московская «свобода». Из причин этой странной особенности Москвы я выдвигаю на первый план обширность и характерные черты территории.

Москва как-бы погребена в беспредельных равнинах страны, столицей которой она являлась. Отсюда печать оригинальности на ее зданиях, отсюда независимость и свободный вид ее жителей, отсюда, наконец, забвение царями бывшей резиденции. Цари, ее деспоты и тираны в прошлом, смягченные модой, которая превратила их в императоров и, больше того, в благовоспитанных джентльменов, цари, как я уже говорил, избегают Москвы. Они предпочитают Петербург, несмотря на все его неудобства, потому что им необходимо поддерживать постоянные сношения с Западной Европой. Россия, какой ее сделал Петр Великий, не доверяет своим собственным силам, чтобы жить и просвещаться. В Москве ведь нельзя в семь дней получать импортированные из Парижа анекдоты и быть в курсе всех сплетен большого света и эфемерной литературы Европы. Как ни ничтожны, на ваш взгляд, эти мелочи, они тем не менее необычайно интересуют русский двор и, следовательно, Россию.

Если бы снежный покров — то мерзлый, то талый — не выводил железные дороги из строя на шесть или восемь месяцев в году, русское правительство, безусловно, превзошло бы все прочие в лихорадочной постройке этих

путей сообщения, уменьшающих размеры земного шара. Но сколько бы ни умножали линии рельсов, как бы ни увеличивали быстроту передвижения, обширность территории всегда была, есть и останется величайшим препятствием для обмена идей, ибо сушу нельзя избороздить по всем направлениям [105]. Море — другое дело: оно только на первый взгляд разделяет людей, но в сущности их сближает.

Конечно, будь Москва морским портом или по крайней мере крупным центром тех металлических путей, что, подобно электричеству, служат проводниками человеческих мыслей в наш нетерпеливый век, я не был бы вчера в английском клубе [106] свидетелем любопытного обычая. Военные всякого возраста, светские люди, пожилые господа и безусые франты истово крестились и молчали несколько минут перед тем, как сесть за стол. И делалось это не в семейном кругу, а за табльдотом, в чисто мужском обществе! Те, кто воздерживался от этого религиозного обряда (таких тоже было немало), смотрели на первых без малейшего удивления. Как видите, от Москвы до Парижа действительно добрых восемьсот лье!

Клуб помещается в большом и красивом дворце. Все устроено очень хорошо, на широкую ногу. Но меня поразило не это — в любом нашем клубе вы увидите то же самое,— а набожность московского общества. Сидя в саду клуба, я беседовал с москвичом, введшим меня в клуб, человеком широко образованным и независимым в своих суждениях. Беседа велась свободно и вскоре приняла очень поучительное и интересное направление. От общих соображений мы перешли к положению религии в России, и я попросил моего просвещенного собеседника познакомить меня с культурным уровнем тех, кто учит в России слову божьему.

Такая просьба показалась бы в Петербурге чрезвычайно нескромной. Но в Москве, я чувствовал, можно было рискнуть на это из-за той таинственной свободы, которая там царствует, хотя трудно было определить, в чем именно она заключается. Нужно прибавить, что иногда эта вера в московскую свободу оплачивается довольно дорогой ценой... Ответ русского философа, проведшего несколько лет на Западе и вернувшегося оттуда с весьма либеральными взглядами, можно резюмировать в следующих выражениях:

— В православных церквах проповеди всегда занимали очень скромное место. А в России и духовная,

и светская власти энергично противились богословским спорам. Как только появлялось желание обсуждать спорные вопросы, разделявшие Рим и Византию, обеим сторонам предписывали замолчать. В сущности, предметы спора столь незначительны, что раскол продолжает существовать только благодаря невежеству в религиозных вопросах. В некоторых мужских и женских учебных заведениях преподаются кое-какие богословские предметы, но их только терпят и время от времени запрещают. Факт покажется вам совершенно непонятным и необъяснимым, но тем не менее это так: русский народ религии не учат. Следствием этого является множество сект, о существовании которых правительство знать не разрешает. Одна из них допускает многоженство. Другая идет дальше — и на словах, и на деле проводит общность жен и мужей.

Нашим священникам запрещено писать даже исторические хроники. Наши крестьяне поэтому толкуют библию вкривь и вкось, выхватывая отдельные тексты, и новые секты, весьма разнообразные по своему содержанию, возникают беспрестанно. Когда поп спохватывается, ересь обычно оказывается уже глубоко вкоренившейся. Если теперь поп поднимает шум, сектантов ссылают в Сибирь целыми деревнями. Это, понятно, разоряет помещика, у которого есть достаточно средств заставить священника молчать. В тех случаях, когда, несмотря на все старания, правительство узнает о ереси, количество ее приверженцев уже столь многочисленно, что бороться с нею поздно. Насильственные меры приведут к огласке, но не уничтожат зла, а действовать убеждением — значит открыть дорогу спорам — наихудшему злу в глазах самодержавного правительства. Поэтому прибегают к замалчиванию, то есть не лечат болезнь, но, наоборот, способствуют ее распространению.

Русская империя погибнет от религиозных разногласий,— заключил мой собеседник.— Поэтому завидовать нашей религиозности может только тот, кто, как вы, судит по поверхности, не зная нас на самом деле.

Таково мнение одного из самых проницательных и искренних русских.

Иностранец, давно живущий в Москве и вполне достойный доверия, рассказывал мне, что несколько лет тому назад он обедал у одного петербургского купца, который представил ему трех своих жен — не наложниц, но законных жен. Купец оказался тайным адептом

одной из вновь возникших сект. Думаю, что государство вряд ли признает законными его детей от этих жен, но его христианская совесть была спокойна. Если бы я услышал подобную историю из уст русского, я поостерегся бы ее повторить, так как русские любят рассказывать небылицы доверчивым иностранцам.

Я присутствовал на народном гулянье около Новодевичьего монастыря. Действующими лицами были солдаты и мужики, зрителями — люди из общества, весьма приверженные к подобного рода развлечениям. Палатки и балаганы с напитками были разбиты вокруг кладбища: культ мертвых служит предлогом для народной забавы. Гулянье происходило в день какого-то святого, которого мощам и иконам исправно поклонялись в промежутках между возлияниями кваса [107]. В тот вечер было выпито совершенно невероятное количество этого национального напитка.

Восемь церквей заключает ограда монастыря. Под вечер я зашел в главный храм. Он показался мне внушительным, чему сильно содействовал царивший в нем полумрак. Монахини с большим старанием украшают алтари своих часовен и очень удачно справляются с этой задачей — наиболее легкой, без сомнения, из их обетов. Что же касается других, более трудных, то они, как меня уверяют, соблюдаются довольно плохо, ибо, если верить лицам, хорошо осведомленным, поведение московских инокинь оставляет желать много лучшего.

Палатки, битком набитые гуляющими, были отравлены обычным букетом ароматов. Запахи кожи, спиртных напитков, кислой капусты, пива, сала от солдатских сапог, мускуса и амбры от господ смешивались самым невыносимым образом и не давали возможности дышать. Величайшее удовольствие русских — пьянство, другими словами — забвение. Несчастные люди! Им нужно бредить, чтобы быть счастливыми. Но вот что характеризует добродушие русского народа: напившись, мужики становятся чувствительными и вместо того, чтобы угощать друг друга тумаками, по обычаю наших пьяниц, они плачут и целуются. Любопытная и странная нация! Она заслуживает лучшей участи.

На гулянье присутствовало множество казаков. Молчаливой стеной окружали они певцов, исполнявших заунывные песни донских казаков, и лишь изредка подхватывали припев. Казаки, говорят, отличаются кротким нравом, но на войне одно их имя наводит ужас.

Происходит это от того, что они невероятно невежественны и их начальники умеют искусно пользоваться их темнотой. Когда я вспоминаю, какими баснями позволяли себе офицеры обманывать своих подчиненных, все во мне возмущается и я негодую на правительство, унижающееся до подобных уловок или, во всяком случае, оставляющее их безнаказанными. Дело в том, что, как я слышал из надежного источника, многие казацкие генералы обращались в кампании 1814 и 1815 годов к своим войскам с такими речами: «Бейте врагов без страха, режьте их как можно больше! Убьют вас в бою — не бойтесь: через три дня будете дома у жен и детей. Бог воскресит вас, воскресит с плотью и кровью. Чего ж вам бояться?» И казаки, привыкшие верить своим офицерам, как богу, понимали эти обещания буквально и бились с хорошо знакомой нам храбростью, то есть при малейшей возможности избежать опасности улепетывали как мародеры, но умели встретить смерть как солдаты, если она была неминуема [108]. Обязанность начальника — заставить свои войска презирать смерть. Но добиться такого результата гнусным обманом — значит лишить их героизм всякого значения. Если война оправдывает все, как утверждают некоторые, то что оправдывает войну? Можно ли без ужаса и отвращения представить себе, каково нравственное состояние народа, которого войска направлялись такими средствами в бой каких-нибудь двадцать пять лет тому назад? Рассказанный факт случайно дошел до моего сведения, но сколько таких же или еще худших «военных хитростей» остались мне неизвестны? Однажды прибегнув к обману для того, чтобы управлять людьми, трудно остановиться на скользком пути. Новая кампания — новая ложь. И государственная машина продолжает работать.





Глава XXI

Сухарева башня. — Единообразие и педантичность. — Россия поражена скукой. — Загородная вилла. — Непостоянство русских. — «Первые актеры в мире». — Московский «свет». — Политический протест выливается в кутежи и дебоши. — «Шалости» москвичей. — Необычайное толкование монастырского устава. — Распущенность нравов. — Еще о крепостном праве. — Грядущая революция.

Я хотел отвлечься от страшного Кремля, притягивавшего меня, как магнит, и осмотрел Сухареву башню. Стоит она на возвышенности у одних из московских ворот. Первый этаж представляет собой огромную цистерну, питающую водой почти всю Москву. Вид этого висящего на большой высоте озера, по которому можно кататься в лодочке — так оно велико, производит необычайное впечатление. Архитектура здания, довольно современного к тому же, тяжела и сумрачна. Но византийские своды, массивные лестницы и оригинальные детали создают величественное целое [109]. Византийский стиль вообще продолжает жить в Москве. Это, собственно, единственный стиль, из которого, при умелом применении, может вырасти национальная русская архитектура, ибо он одинаково подходит как к жаркому, так и к холодному климату.

Мне показали университет, кадетский корпус, Екатерининский и Александровский институты, Вдовий дом и, наконец, Воспитательный дом для найденышей. Все эти учреждения огромны и помпезны. Русские страшно гордятся столь большим числом прекрасных общественных зданий, которые можно показывать иностранцам. Но я лично удовлетворился бы меньшим великолепием, потому что ничего не может быть скучнее прогулки по этим горделиво-монотонным палатам, где все поставлено на

военную ногу и человеческая жизнь сведена к роли часового колеса. Спросите у других, что представляют собой эти высокополезные и пышные рассадники офицеров, матерей семейств и наставниц: не мне об этом распространяться. Знайте только, что эти наполовину политические, наполовину благотворительные учреждения показались мне образцами порядка, заботливости и чистоты. Это делает честь их начальникам, равно как и высшему начальнику империи. У нас утомляет распущенность и разнообразие. Здесь подавляет совершенное единообразие во всем и замораживает педантичность, неотделимая от идеи порядка, вследствие чего вы начинаете ненавидеть то, что, в сущности, заслуживает симпатии. Россия, этот народ-дитя, есть не что иное, как огромная гимназия. Все идет в ней как в военном училище, с той лишь разницей, что ученики не оканчивают его до самой смерти.

Вся Европа наших дней поражена скукой. Доказательство тому — образ жизни нашей молодежи. Но Россия страдает от этой болезни больше, чем другие страны. Трудно дать понятие о пресыщенности, царствующей в высших слоях московского общества. Нигде болезни духа, порожденные скукой, этой страстью людей, страстей не имеющих, не казались мне столь серьезными и столь распространенными, как в России, в ее высшем свете. Общество здесь, можно сказать, начало со злоупотреблений. Когда порок уже не помогает человеку избавиться от скуки, которая гложет его сердце, тогда человек идет на преступление. И это случается иногда в России.

Общество в Москве приятное. Смесь патриархальных традиций и современной европейской непринужденности, во всяком случае, своеобразна. Гостеприимные обычаи древней Азии и изящные манеры цивилизованной Европы назначили здесь друг другу свидание и сделали жизнь легкой и приятной. Москва, лежащая на границе двух континентов, является привалом между Лондоном и Пекином. Дух подражания еще не стер последних следов национальных особенностей. Когда образец далеко, то копия кажется оригиналом.

В Москве достаточно небольшого числа рекомендательных писем, чтобы познакомить иностранца со множеством людей, выдающихся либо богатством, либо положением, либо умом. Поэтому дебют путешественника здесь не труден. Я был приглашен отобедать на даче,

расположенной в черте города. Но, чтобы добраться до нее, пришлось с милю ехать вдоль каких-то прудов и пересекать поля, похожие на степи. А приближаясь к самой вилле, я увидел за парком густой и темный еловый лес, начинающийся непосредственно за городом: лесное уединение в двух шагах от Москвы.

Я вошел в деревянный дом — новая странность! В Москве и богатый и бедный спят под деревянным кровом в бревенчатом, обшитом досками срубе. Зато внутри дощатые «избы» богачей соперничают в роскоши с самыми пышными дворцами Европы. Та, в которой меня принимали, показалась мне удобной и прекрасно обставленной, хотя владелец живет в ней только летом, зиму же проводит в центральной части Москвы. Обедали мы в саду и, в довершение оригинальности, под тентом. Разговоры, хотя и очень оживленные и вольные (общество состояло из одних мужчин), были вполне приличны, что является большой редкостью даже у народов истинно цивилизованных. Среди присутствовавших были люди, много повидавшие на своем веку и много читавшие. Их суждения показались мне вѐрными и тонкими. Русские обезьянничают во всем, что касается светских обычаев, но те из них, которые мыслят (такие, правда, наперечет), превращаются в интимной беседе снова в своих предков-греков, наделенных наследственной тонкостью и остротою ума. Обед пролетел очень быстро, хотя на самом деле он был довольно длинен. Заметьте, что своих сотрапезников я видел впервые, а хозяина дома — во второй раз. Воспоминание об этом обеде относится к числу самых приятных впечатлений всего моего путешествия.

Перед тем как описать Москву, мне кажется нелишним охарактеризовать русских в общих чертах, поскольку я успел с ними познакомиться во время краткого пребывания у них на родине. Но хотя мое пребывание и было непродолжительно, зато я внимательно наблюдал и постоянно сравнивал виденные факты. Разнообразие объектов наблюдения может до известной степени компенсировать недостаток времени для путешественника, поставленного, как я, в исключительно благоприятные условия. Вообще я человек, склонный к восхищению. Тем большего доверия заслуживаю я, следовательно, в тех случаях, когда не восхищаюсь.

В целом русские, по моему мнению, не расположены к великодушию. Они не верят в него и, имей они сме-

лость, отрицали бы самое существование такого чувства. Во всяком случае, они его презирают, потому что лишены внутреннего мерила для него. У русских больше тонкости, чем деликатности, больше добродушия, чем доброты, больше снисходительности, чем нежности, больше прозорливости, чем изобретательности, больше остроумия, чем воображения, больше наблюдательности, чем ума, но больше всего в них расчетливости. Они работают не для того, чтобы добиться полезных для других результатов, но исключительно ради награды. Творческий огонь им неведом, они не знают энтузиазма, создающего все великое. Лишите их таких стимулов, как личная заинтересованность, страх наказания и тщеславие,— и вы отнимете у них всякую способность действовать. В царстве искусств они рабы, несущие службу во дворце. Горные высоты гения им недоступны. Целомудренная любовь к прекрасному их не удовлетворяет.

Истинное величие духа черпает награду в самом себе. Но если оно ничего не просит, оно требует многого, ибо оно стремится сделать людей лучше. Здесь же оно сделало бы их худшими, потому что его сочли бы только маской. Милосердие называется слабостью у народа, ожесточенного террором. Беспощадная строгость заставляет его сгибать колени, крайность, наоборот, придает ему дерзость. Убедить его нельзя, его можно только поработить. Он восстает против доброты и подчиняется жестокости, принимаемой им за силу. Все это делает мне понятным принятый императором способ управления, но не вызывает моего одобрения, ибо истинная задача правительства — воспитывать народ и повышать его нравственный уровень.

Когда русские хотят быть любезными, они становятся обаятельными. И вы делаетесь жертвой их чар вопреки своей воле, вопреки всем предубеждениям. Сначала вы не замечаете, как попадаете в их сети, а позже уже не можете и не хотите от них избавиться. Выразить словами, в чем именно заключается их обаяние, невозможно. Могу только сказать, что это таинственное «нечто» является врожденным у славян и что оно присуще в высокой степени манерам и беседе истинно культурных представителей русского народа.

Такая обаятельность одаряет русских могучей властью над сердцами людей. Пока вы находитесь в их обществе, вы порабощены всецело. И обаяние тем сильнее, чем больше вы убеждены, будто вы для них все то, чем они

являются для вас. Вы забываете о времени, о свете, о делах, об обязанностях, об удовольствиях. Ничто не существует, кроме настоящего мгновения, никого, кроме того лица, с кем вы в данную минуту разговариваете и кого вы всем сердцем любите. Желание нравиться, доведенное до таких крайних пределов, неизменно одерживает победу. Но желание это совершенно естественно и отнюдь не может быть названо фальшью. Это природный талант, который инстинктивно стремится к проявлению. Чтобы продлить иллюзию, быть может, нужно сделать только одно — остаться, не уходить. Но с отъездом исчезает все, кроме воспоминания, которое вы уносите с собою. Уезжайте, уезжайте скорее — это наилучший исход. Русские — первые актеры в мире. Их искусство тем выше, что они не нуждаются в сценических подмостках. Все путешественники упрекали их в непостоянстве, и упрек этот вполне заслужен. Вас забывают, едва успев распрощаться. Этот недостаток я приписываю помимо известной легкомысленности отсутствию солидного образования. Они боятся, как бы более продолжительное знакомство не обнаружило их внутренней пустоты,— осторожность, очень распространенная по всему свету среди людей высшего круга. Ведь с наибольшими стараниями скрывают не порочность, а пустоту. Не страшно прослыть извращенным, но унизительно показаться ничтожным.

Все сказанное относится как к дружбе, так и к любви, как к мужчинам, так и к женщинам. Портрет одного русского характеризует всю нацию, подобно тому как один солдат дает представление о целом батальоне. Нигде влияние единства образа правления и единства воспитания не сказывается с такой силой, как в России. Все души носят здесь мундир.

Ни в одном обществе, если не считать польского, я не встречал таких обаятельных людей. Новая черта сходства между братскими народами! Сколько бы их ни разделяли временные раздоры, природа сближает их помимо воли. Если бы политические соображения не заставляли одного из них угнетать другого, они бы узнали и полюбили друг друга.

Но те же милые люди, такие одаренные, такие очаровательные, впадают иногда в пороки, от которых воздерживаются самые грубые характеры. Трудно себе представить, какую жизнь ведут молодые люди московского «света». Эти господа, носящие известные во всей Евро-

пе фамилии, предаются самым невероятным излишествам. Положительно непонятно, как можно вынести в течение шести месяцев образ жизни, который они ведут из года в год с постоянством, достойным лучшего применения. Такое постоянство в добродетели привело бы их, без сомнения, прямо в рай. В России климат уничтожает физически слабых, правительство — слабых морально. Выживают только звери по природе и натуры сильные как в добре, так и в зле. Россия — страна необузданных страстей и рабских характеров, бунтарей и автоматов, заговорщиков и бездушных механизмов. Здесь нет промежуточных степеней между тираном и рабом, между безумцем и животным. Золотая середина здесь неизвестна, ее не признает природа: лютый мороз и палящий зной толкают людей на крайности.

Однако, несмотря на подчеркиваемые мною контрасты, все русские похожи друг на друга в одном отношении: все они легкомысленны, живут только настоящим и забывают сегодня то, о чем думали вчера. С поразительной легкостью они все принимают и покидают с такой же непринужденностью. Они живут и умирают, не замечая серьезных сторон человеческого существования. Ни хорошее, ни дурное не имеет для них реальности. Они могут плакать, но неспособны быть несчастными. За четверть часа беседы с ними перед вашим взором проходит вся вселенная: дворцы, пустыни, отшельники, блестящие толпы, величайшее счастье, безграничное страдание. Их быстрый и пренебрежительный взгляд равнодушно скользит по всему, что столетиями создавал человеческий гений. Они считают себя выше всего на свете, потому что все презирают. Их похвалы звучат как оскорбления. Они хвалят с завистью, они падают ниц, но всегда с неохотой перед тем, кто, по их мнению, является идолом моды. Но от первого дуновения ветерка набегает облачко и заволакивает картину, облачко рассеивается — и картины уже нет. Прах, дым и хаос — ничего другого не могут дать эти непостоянные умы.

Только крайностями деспотизма можно объяснить царствующую здесь нравственную анархию. Там, где нет законной свободы, всегда есть свобода беззакония. Отвергая право, вы вызываете правонарушение, а отказывая в справедливости, вы открываете двери преступлению. Происходит то же, что с пограничной цензурой, которая только способствует ввозу разрушительной литературы, потому что никому нет охоты рисковать из-за безобид-

ных книг. Отсюда следует, что изо всех европейских городов Москва — самое широкое поле деятельности для великосветского развратника. Русское правительство прекрасно понимает, что при самодержавной власти необходима отдушина для бунта в какой-либо области, и, разумеется, предпочитает бунт в моральной сфере, нежели политические беспорядки. Вот в чем секрет распущенности одних и попустительстве других. Понятно, порча нравов в Москве имеет и другие источники и причины, говорить о которых сейчас не время и не место. Самые смелые картины наших бытописателей кажутся бледными копиями тех оригиналов, которые ежедневно проходят у меня перед глазами с тех пор, как я живу в России.

Недобросовестность печально отражается на всем, и в особенности на коммерческих делах. Здесь же от нее страдают даже развратники, которые часто становятся жертвами своеобразного мошенничества. Постоянные колебания ценности денег благоприятствуют всевозможным проделкам. Столь же зыбки и обещания в устах у русского. Его кошелек всегда что-нибудь да выигрывает на неверно понятых словах или на неустойчивой цене денег. Эта всеобщая смута распространяется и на любовные сделки, так как каждая из сторон, зная двуличность другой, желает получить плату вперед. Из-за такого взаимного недоверия часто проистекает невозможность заключения сделки, несмотря на то что обе договаривающиеся стороны ничего против таковой не имеют. В других странах даже бандиты держат слово и у них имеется свой кодекс чести. Русские же куртизанки и их клиенты уступают в этом отношении разбойникам.

Невоздержанность (я говорю не только о пьянстве среди простонародья) достигает здесь таких пределов, что, например, один из самых популярных людей в Москве, любимец общества, ежегодно недель на шесть исчезает неизвестно куда. На расспросы о его местопребывании отвечают: «Он уехал покутить и попьянствовать», и такой неожиданный ответ никому не кажется странным.

Меня познакомили с любопытным типом, достойным, как мне сказали, внимательного изучения. Это молодой человек весьма знатного рода, князь N, единственный сын чрезвычайно богатых родителей. Но он проживает вдвое больше того, что имеет, и столь же нерасчетливо обращается со своим умом и здоровьем. По восемнадцати часов в сутки проводит он в кабаках. Кабак —

его стихия, там он царит, там он расточает свои недюжинные духовные силы. Гувернером у него очень почтенный старый аббат, француз-эмигрант; поэтому он отлично образован. У него живой и необычайно проницательный ум, острый и оригинальный язык, но и слова его, и действия отличаются циничностью, которая везде, кроме Москвы, была бы совершенно нестерпима. На его красивом и приятном, но всегда неспокойном лице отражается противоречие между жизнью, которую он ведет, и теми задатками, которые в него вложила природа. Распутные привычки оставили на нем следы преждевременного увядания.

Его всегда окружает толпа молодых людей, учеников и подражателей, старающихся превзойти друг друга в излишествах. Хотя они и уступают своему лидеру в уме, однако у всех есть черты семейного сходства. Вы с первого взгляда узнаете в них русских. Я хотел бы дать вам несколько деталей их образа жизни, но перо выпадает у меня из рук, ибо пришлось бы рассказать о связях этих развратников не только с погибшими женщинами, но и с молодыми монахинями, весьма своеобразно понимающими монастырский устав. К чему, скажете вы, приподнимать завесу над такими печальными фактами? Может быть, меня ослепляет мое стремление к истине, но, по-моему, зло торжествует именно тогда, когда оно остается скрытым, в то время как зло разоблаченное уже наполовину уничтожено. Наконец, разве я не задался целью нарисовать как можно более верную картину нравов этой страны? Только одно поставил я себе за правило: не упоминать имен лиц, желающих остаться неизвестными. Что же касается князя N, то он до того презирает общественное мнение, что даже хочет, как он мне сам признался, чтобы я изобразил его во всей красе. Когда же я ответил, что ничего не пишу о России, он был заметно разочарован.

Итак, я чувствую себя обязанным рассказать вам об ужасном преступлении, о котором я случайно узнал. Дело идет ни больше ни меньше как об убийстве одного молодого человека монахинями Н-ского монастыря. Рассказ об этом чудовищном случае я услышал из уст князя N на большом обеде в присутствии целого ряда пожилых и почтенных чиновников, людей с весом и положением, которые с необычайной снисходительностью отнеслись не только к этой истории, но и к немалому числу других, столь же безнравственных и скабрезных. Поэтому я впол-

не уверен в ее правдивости, подтвержденной к тому же многими сподвижниками молодого князя.

Вот в общих чертах то, что я услышал. Некий молодой человек прожил (разумеется, тайно) целый месяц в Н-ском женском монастыре и в конце концов начал тяготиться избытком своего счастья, наскучив в свою очередь и монахиням, коим он был обязан и всеми радостями, и последовавшей за ними пресыщенностью. Казалось, он умирал. Тогда монахини, желая от него отделаться, но боясь в то же время скандала, который, несомненно, вызвала бы его смерть после пребывания в монастыре, решили покончить с ним своими силами, благо он все равно должен был отправиться на тот свет. Сказано — сделано... Через несколько дней разрезанный на куски труп несчастного нашли в колодце. Дело не получило никакой огласки.

Если поверить тем же, по-видимому, хорошо осведомленным лицам, правило затворничества совсем не соблюдается во многих монастырях Москвы. Один из друзей князя демонстрировал вчера мне и целой компании распутников четки послушницы, забытые будто бы ею утром в его комнате. Другой хвастался своим трофеем — молитвенником, принадлежащим, как он уверял, сестре М-ской общины, славящейся своей богобоязненностью. И вся аудитория была в восторге!

Я бы никогда не кончил, если бы вздумал пересказать все выслушанные мною за этим обедом истории подобного же рода. У каждого был свой скандальный анекдот, и все эти рассказы вызывали только взрывы смеха. Веселье, возбуждаемое льющимся рекой шампанским, становилось все шумнее и вскоре перешло в пьяную суматоху, среди которой только князь N и я сохраняли нормальный вид: он потому, что может пить сколько угодно, я же потому, что совсем не могу пить...

Вдруг московский ловелас поднялся со своего места и с повелительным видом торжественно потребовал молчания. К величайшему моему удивлению, его требование было немедленно исполнено и воцарилась тишина. Мне вспомнились поэтические описания бурь, усмиряемых звуком голоса древних богов! И вот юный бог наших дней вносит предложение подать от имени всех куртизанок Москвы петицию соответствующим властям такого содержания: ввиду того что женские монастыри выступают опасными конкурентами «светских общин» и подрывают доходы последних до такой степени, что дело ста-

новится убыточным, бедные жрицы любви позволяют себе почтительнейше просить тех, кому этим ведать надлежит, о взыскании с названных монастырей известного налога, дабы «светские отшельницы» не были вынуждены покинуть свою профессию и всецело предоставить таковую святым инокиням. Это предложение ставится на голосование и принимается единогласно при громких приветственных кликах. Потребовав бумаги и чернил, юный сумасброд тут же с невозмутимым видом пишет на отличном французском языке прошение – документ, настолько неприличный, что я не могу его здесь цитировать. Но копия его у меня имеется.

Вот чему я был свидетелем вчера в одном из самых популярных ресторанов Москвы, причем, конечно, я еще избавил вас от многих деталей, не поддающихся в наше время передаче на бумаге. Вслед за тем я получил от вождя компании гуляк, избравших этот трактир своей главной квартирой, приглашение принять участие в их увеселительной прогулке за город, которая должна была продлиться два дня. Под предлогом поездки в Нижний я отказался от этой чести и, лично прибыв в штаб князя N, чтобы принести ему мои извинения, сделался свидетелем следующей сцены: человек двенадцать полупьяных молодых людей шумно рассаживались в три коляски, запряженные каждая четверкой лошадей. Их предводитель, стоя во весь рост в экипаже, распоряжался с очень серьезным и важным видом, и приказания его выполнялись беспрекословно. У него в ногах стояло ведро или, вернее, лохань со льдом, наполненная бутылками шампанского. Этот передвижной погреб представлял собой провизию, необходимую, как мне объяснил уважаемый шеф, для освежения горла, иссушаемого дорожной пылью. Бутылки две-три были уже откупорены его адъютантом, и молодой повеса щедрой рукой предлагал всем провожающим отведать драгоценного напитка, ибо это было лучшее шампанское, какое только можно было достать в Москве. В обеих руках князь держал по бокалу, которые исправно наполнялись его прилежным помощником. Из одного он пил сам, протягивая другой каждому желающему. Слуги его были в раззолоченных ливреях, а кучер, молодой, недавно вывезенный из деревни парень, одет совсем замечательно. Поверх рубахи дорогого персидского шелка на нем был кафтан тончайшего кашемира, обшитый великолепным бархатом, а на ногах — сафьяновые сапожки торжок-

ской выделки, шитые серебром и золотом и ослепительно сверкавшие на солнце. При этом он был так напомажен и надушен, что даже на открытом воздухе на расстоянии нескольких шагов от коляски можно было задохнуться от ароматов, испускаемых его волосами, бородой и одеждой. Угостивши всю ресторанную челядь, князь протянул бокал пенистой влаги своему разодетому кучеру. Несчастный мужик растерялся и не знал, что ему делать. «Пей! — сказал ему тогда его господин (мне перевели его слова).— Пей, мошенник! Не тебе, дурак, даю я шампанское, а лошадям. Потому что у лошадей нет резвости, когда кучер трезв!» И вся компания приветствовала эту выходку хохотом, аплодисментами и криками «ура». Кучер не заставил себя просить, и когда князь дал сигнал к отъезду, он успел уже осушить третий кубок. Перед тем как уехать, князь обратился ко мне и снова самым изысканным образом выразил свое сожаление по поводу моего отказа принять участие в их прогулке. При этом он показался мне столь distingué *, что я забыл, где я, и вообразил себя в Версале времен Людовика XIV. Наконец кортеж тронулся и вскоре исчез в облаке пыли. Можете себе представить, как эти господа развлекаются в своих поместьях!

Так как я поставил себе задачу дать полную картину нравов этой страны, то я должен прибавить еще несколько штрихов, характеризующих золотую молодежь Москвы. Один из ее представителей заявил в моем присутствии, что он и его братья — сыновья гайдуков и кучеров его отца, и заставил своих собутыльников выпить за здоровье этих неведомых родителей. Другой претендует на честь быть братом (по отцовской линии) всех горничных своей матери. Конечно, в этих утверждениях много вранья и бахвальства, но самое фанфаронство подобного сорта в достаточной степени показательно.

Если верить этим господам, женщины буржуазных слоев населения Москвы ведут себя не лучше дам большого света. Во время городской ярмарки, куда уезжают их мужья, офицеры местного гарнизона всячески стараются не покидать города: это — период легких свиданий. Дамы посещают любовников обыкновенно в сопровождении почтенных родственниц, охране которых мужья вверяют своих жен. Дело даже доходит до того, что молчание

---

* Благовоспитанный (*франц.*).

этих дуэний оплачивается. Подобные похождения, конечно, нельзя назвать любовью.

В противоположность свободным народам, нравы которых по мере развития демократии становятся все более пуританскими, если не более чистыми, в России испорченность смешивают с либерализмом. Выдающиеся распутники пользуются здесь такой же популярностью, какой у нас представители оппозиционного меньшинства. Князь N начал повесничать лишь после ссылки на Кавказ, где он провел три года и расстроил свое здоровье. Такой каре он подвергся по выходе из корпуса за то только, что разбил несколько стекол в петербургских магазинах. Правительство усмотрело в этой шалости политический поступок и своей чрезмерной строгостью сделало из молодого шалопая испорченного человека, погибшего для страны и для семейной жизни.

К таким последствиям приводит деспотизм, самый аморальный из всех существующих образов правления. Здесь всякий бунт кажется законным, даже бунт против разума. Там, где общественный порядок основан на гнете, каждый беспорядок имеет своих мучеников и героев. Каждый ловелас, каждый донжуан превращается в борца за свободу только потому, что он подвергается правительственным гонениям, и всеобщее негодование обращено не против наказываемых, но против судей.

В Россию я привез предрассудок, который теперь не разделяю: вместе со многими умными людьми я думал, что самодержавие черпает свою силу в господствующем вокруг него равенстве. Но это равенство — только иллюзия. Я говорил себе: когда один человек всемогущ, все остальные равны, то есть одинаково ничтожны. В этом, конечно, мало радости, но есть и некоторое утешение. Такое рассуждение слишком логично и потому опровергается фактами. На земле нет абсолютной власти, но есть власти тиранические и полные произвола. Как они ни сильны, им не водворить абсолютного равенства между подданными. И сколь ни всесилен русский царь, в России больше неравенства, чем в любом другом европейском государстве. Подъяремное равенство здесь правило, неравенство — исключение, но при режиме полнейшего произвола исключение становится правилом. Между кастами, на которые разделяется население империи, царит ненависть, и я напрасно ищу хваленое равенство, о котором мне столько наговорили.

Не верьте медоточивым господам, уверяющим вас, что русские крепостные — счастливейшие крестьяне на свете, не верьте им, они вас обманывают. Много крестьянских семейств в отдаленных губерниях голодает, многие погибают от нищеты и жестокого обращения. Все страдают в России, но люди, которыми торгуют, как вещами, страдают больше всех. Помещики, утверждают далее апологеты рабства, должны в своих интересах заботиться о принадлежащих им крестьянах. Но разве все люди правильно понимают свои интересы? У нас человек, плохо ведущий свои дела, теряет состояние, вот и все. Но если имущество состоит из многого множества человеческих жизней, то от неумелого или расточительного обращения с ним целые деревни мрут с голода. Правда, когда дело становится слишком вопиющим, правительство назначает опеку над дурным помещиком. Но эта всегда запоздалая мера не воскрешает мертвых. Трудно представить себе бездну страданий, скрывающихся в глубине России под покровом тиранического гнета!

Военная дисциплина, примененная ко всём областям правительственной деятельности, является могучим орудием, поддерживающим произвольную власть монарха гораздо действительнее, нежели фикция равенства. Но разве это страшное орудие не обращается часто против тех, кто им пользуется? Вот бедствие, постоянно угрожающее России: народная анархия, доведенная до крайностей в том случае, если народ восстанет. Если же он не восстанет — продолжение тирании, более или менее жестокой, смотря по времени и обстоятельствам.

Дабы правильно оценить трудности политического положения России, должно помнить, что месть народа будет тем более ужасна, что он невежествен и исключительно долготерпелив. Правительство, ни перед чем не останавливающееся и не знающее стыда, скорее страшно на вид, чем прочно на самом деле. В народе — гнетущее чувство беспокойства, в армии — невероятное зверство, в администрации — террор, распространяющийся даже на тех, кто терроризирует других, в церкви — низкопоклонство и шовинизм, среди знати — лицемерие и ханжество, среди низших классов — невежество и крайняя нужда. И для всех и каждого — Сибирь. Такова эта страна, какою ее сделала история, природа или провидение.

И с таким немощным телом этот великан, едва вышедший из глубин Азии, силится ныне навалиться всей своей тяжестью на равновесие европейской политики и господствовать на конгрессах западных стран, игнорируя все успехи европейской дипломатии за последние тридцать лет. Наша дипломатия сделалась искренней, но здесь искренность ценят только в других.

Ужасные последствия политического тщеславия! Эта страна — несчастная жертва честолюбия, вряд ли ей понятного, кипящая, как в котле, истекающая кровью и слезами, — хочет казаться спокойной другим, чтобы быть сильной. Вся израненная, она скрывает свои язвы...





Глава XXII

Отъезд из Москвы. — Троице-Сергиевский монастырь. — Разговор о поляках. — Любознательность фельдъегеря. — Вторая битва с клопами.— Осмотр лавры. — Роскошь церковного убранства. — «Стыдливость» монахов.

Для поездки в Нижний я нанял тарантас на рессорах, чтобы поберечь свою коляску. Но этот экипаж местного производства оказался немногим прочнее моего, на что обратил мое внимание один москвич, пожелавший меня проводить.

— Вы меня пугаете,— сказал я ему,— потому что мне надоели починки на каждой станции.

— Для продолжительного путешествия я бы советовал вам запастись другим экипажем, но такую небольшую поездку он выдержит.

Эта «небольшая поездка» измеряется, однако, включая крюк для посещения Троице-Сергиевского монастыря и Ярославля, четырьмя сотнями лье, причем, как меня уверяют, лишь полтораста придется сделать по отвратительным дорогам. По принятому русскими способу измерять расстояния видно, что они живут в стране, не уступающей по размерам всей Европе, если даже оставить в стороне Сибирь.

Действительно, дорога оказалась ужасной — и не только на протяжении трети всего пути. Если верить русским, все дороги у них летом хороши. Я же нахожу их из рук вон плохими. Лошади вязнут по колена в песке, выбиваются из сил, рвут постромки и каждые двадцать шагов останавливаются. А выбравшись из песка, вы попадаете в море грязи, из которой торчат пни и огромные камни, ломающие экипажи и калечащие лошадей.

По такой же дороге мне пришлось прокатиться для того, чтобы попасть в Троице-Сергиевский мона-

стырь, историческую обитель, лежащую на расстоянии двадцати лье от Москвы[110]. Я расположился там на ночь, когда мне доложили, что меня хочет видеть знакомый, выехавший из Москвы спустя несколько часов после моего отъезда. Этот господин, безусловно заслуживающий доверия, подтвердил уже слышанные мною известия, а именно, что в Симбирской губернии недавно было сожжено правительством 80 деревень в результате крестьянского бунта. Русские приписывают эти волнения польским интригам.

— Какой смысл полякам жечь Россию? — спросил я у лица, сообщившего мне эти новости.

– Никакого,— отвечал мой знакомый,— если не считать того, что они хотят навлечь на себя гнев русского правительства. Они боятся, как бы их не оставили в покое.

— Вы напоминаете обвинения, раздававшиеся в начале нашей революции против аристократов: доказывали, будто они сами жгут свои замки.

– Я вижу, вы мне не верите — и совершенно напрасно. Я внимательно наблюдаю события и знаю по опыту, что всякий раз, как император склоняется к милости, поляки устраивают новые комплоты. Они посылают к нам переодетых эмиссаров и инсценируют заговоры, за отсутствием реальных преступлений, с единственной целью разжечь ненависть русских и вызвать новые кары на головы своих соотечественников. Одним словом, они боятся, как бы мягкость русского правительства не повлияла на их крестьян, которые, привлеченные благодеяниями государя, в конце концов могли бы полюбить «врагов».

— Конечно, я вам не верю. Кроме того, почему бы вам не простить поляков в виде наказания? Вы бы оказались тогда и более искушенными политиками, и более великодушными людьми, чем они. Но вы их ненавидите, и, кажется мне, чтобы оправдывать свою злобу, обвиняете их во всех постигающих вас неприятностях. Обвинения в интригах — только предлог для новых преследований.

— Вы судите так, потому что не знаете ни русских, ни поляков.

— Обычный припев ваших соотечественников, когда им приходится выслушивать горькие истины. Поляков узнать легко, они откровенно вам обо всем говорят. Я скорее доверяю словоохотливым людям, которые все

выбалтывают, чем молчальникам, говорящим лишь то, о чем их никто не просит распространяться.

— Однако во мне вы, по-видимому, вполне уверены.

— В вас лично — да. Но когда я вспоминаю, что вы русский, я раскаиваюсь в своей неосторожности, то есть в своей откровенности, хотя и знаком с вами больше десяти лет.

— Могу себе представить, как вы с нами рассчитаетесь, когда вернетесь домой!

— Если бы я вздумал написать о вас, пожалуй, вы оказались бы правы. Но поскольку я, как вы утверждаете, не знаю русских, то я уж остерегусь наобум высказаться об этой непостижимой нации.

— Это лучшее, что вы можете сделать.

— Без сомнения. Но знайте, что уличить скрытных людей в скрытности — значит сорвать с них маску.

— Вы слишком саркастичны и слишком проницательны для таких варваров, как мы.

С этими словами мой добрый знакомый сел в экипаж и ускакал галопом, а я вернулся к прерванным записям. Теперь я прячу их между листами оберточной бумаги. Я уже говорил, как я боюсь внезапного обыска и как скрываю от фельдъегеря свою страсть к корреспонденции. Недавно я убедился, что он заходит ко мне в комнату, предварительно спросив разрешение у моего Антонио. Итальянец может потягаться в лукавстве с русскими. Антонио служит у меня камердинером уже пятнадцать лет. У него голова современного римлянина и благородное сердце его древних предков. Я бы не рискнул отправиться в Россию с обыкновенным слугою и, уж во всяком случае, не отважился бы тогда писать. Но, имея Антонио в качестве контрмины против фельдъегеря с его шпионством, я чувствую себя до известной степени в безопасности.

Известные своим беспристрастием москвичи уверили меня, что я найду в монастыре очень сносное место ночлега. Действительно, монастырское подворье, расположенное вне ограды лавры, оказалось довольно внушительным зданием с просторными и по внешнему виду вполне подходящими для жилья комнатами. Но, увы, внешность была обманчива. Не успел я улечься с обычными предосторожностями, как убедился, что на этот раз они меня не могут спасти, и вся ночь прошла в ожесточенной битве с тучами насекомых. Каких там только ни было! Черные, коричневые, всех форм и, боюсь, всех

видов. Смерть одного, казалось, навлекала на меня месть всех его собратий, бросавшихся туда, где пролилась кровь павшего на поле славы. Я сражался с отчаянием в душе, восклицая: «Им не хватает только крыльев, чтобы довершить сходство с адом!» Эти насекомые остаются в наследство от паломников, стекающихся к Троице со всех концов Российской империи, и размножаются в невероятном количестве под сенью раки святого Сергия. По-видимому, на них и их потомстве почиет небесное благословение, ибо плодятся они здесь так, как нигде на свете. Видя, что вражеские легионы не убывают, несмотря на все мое рвение, я совершенно пал духом. А вдруг, мерещилось мне, в этой омерзительной армии имеются невидимые эскадроны, присутствие которых обнаружится только при дневном свете? Мысль, что окраска вооружения скрывает их от моих глаз, привела меня в исступление. Кожа моя горела, кровь стучала в висках, я чувствовал, что меня пожирают невидимые враги. В эту минуту я предпочел бы, пожалуй, иметь дело с тиграми, чем с полчищами этой мелкой твари. Я вскочил с постели, бросился к окну и распахнул его. Это дало мне краткую передышку, но кошмар преследовал меня повсюду. Стулья, столы, потолок, стены, пол — все казалось живым и буквально кишело.

Мой камердинер вошел ко мне раньше обычного часа. Несчастный пережил те же муки, и даже большие, потому что, за отсутствием походной кровати, он пользуется набитым соломой мешком, который располагается на полу, дабы избежать диванов и прочих местных предметов обстановки с их традиционными приложениями. Глаза бедного Антонио были, как щелочки, лицо распухло. Увидя столь печальную картину, я воздержался от расспросов. Без слов указал он мне на свой плащ, ставший из голубого, каким он был вчера, каштановым. Плащ словно двигался на наших глазах, во всяком случае, он покрылся подвижным узором, напоминая оживший персидский ковер. От такого зрелища ужас охватил нас обоих. Вода, воздух, огонь — все оказавшиеся в нашей власти стихии были пущены в ход. Наконец, кое-как очистившись, я оделся и, притворившись, что позавтракал, отправился в монастырь. Там меня поджидала новая армия неприятелей, состоявшая на сей раз из легкой кавалерии, расквартированной в складках одежды монахов. Эти отряды меня нимало не испугали. После ночной битвы с гигантами, стычки среди бела дня с разведчиками

казались сущими пустяками. То есть, говоря без метафор, укусы клопов и страх перед вшами так меня закалили, что на тучи блох, скакавших у нас в ногах повсюду, куда бы мы ни шли, я обращал столь же мало внимания, как на дорожную пыль. Мне даже было стыдно за свое равнодушие. Это утро и предшествовавшая ему ночь снова разбудили во мне глубокое сострадание к несчастным французам, попавшим в плен после пожара Москвы. Из всех физических бедствий паразиты представляются мне самым тягостным и печальным. Нечистоплотность — нечто большее, чем может показаться с первого взгляда: для внимательного наблюдателя она свидетельствует о нравственном падении, гораздо худшем, чем телесные недостатки. Она является как бы результатом и душевных, и физических недугов. Это и порок, и болезнь в одно и то же время.

Несмотря на дурное настроение, я во всех деталях осмотрел знаменитую лавру. Она, в общем, не имеет внушительного вида, свойственного нашим древним готическим монастырям. Конечно, люди стекаются к обителям не для того, чтобы любоваться архитектурными красотами. Но, с другой стороны, наличие последних не умаляет их святости и не лишает заслуг набожных пилигримов.

На плоской и незначительной возвышенности стоит город, окруженный мощными зубчатыми стенами. Это и есть монастырь. Подобно Москве, его позолоченные главы и шпили горят на солнце и издали манят паломников. По гребню стен идет крытая галерея. Я обошел по ней вокруг всего монастыря, сделав около полумили. Всего в лавре девять церквей, небольших по размерам и теряющихся в общей массе построек, разбросанных без всякого плана. Все православные церкви похожи одна на другую. Живопись неизменно византийского стиля, то есть неестественная, безжизненная и поэтому однообразная.

Все прославленные в истории России личности делали богатые вклады в этот монастырь, казна которого полна золота, бриллиантов, жемчуга. Весь мир, можно сказать, вложил свою лепту в его несметные богатства, но во мне они вызвали скорее изумление, граничащее со столбняком, нежели восторг. Императоры и императрицы, набожные царедворцы, ханжествующие распутники и истинно святые подвижники, соперничая друг с другом в расточительности, одаряли, каждый по-своему, знаменитую обитель. И, на мой взгляд, простые одеж-

ды, и деревянная утварь святого Сергия затмевают все великолепные сокровища, включая богатейшие церковные облачения, принесенные в дар самим Потемкиным.

Рака с мощами Сергия ослепляет невероятной пышностью. Она — из позолоченного серебра великолепной отделки. Ее осеняет серебряный балдахин, покоящийся на колоннах того же металла,— дар императрицы Анны. Французам досталась бы здесь хорошая добыча. Неподалеку от раки покоится прах цареубийцы и узурпатора Бориса Годунова и останки членов его семьи [11]. Есть много и других знаменитых могил.

Несмотря на мои настоятельные просьбы, мне не пожелали показать библиотеку. На все доводы я получал (через переводчика) один и тот же ответ: «Запрещено». Эта стыдливость гг. монахов, прячущих сокровища знания и выставляющих напоказ суетные богатства, показалась мне весьма странной. Очевидно, заключил я, их книги покрыты более толстым слоем пыли, чем их драгоценности.





Глава XXIII

Ярославль. — Патриотическое тщеславие. — Грусть под личиной иронии. — Губернатор и его семья. — Французский салон в Ярославле. — Преображенский монастырь. — Монашеское благочестие адъютанта. — Соседство Камчатки и Версаля. — Деревенские самодержцы. — Господство бюрократии. — О тайных обществах.

Предсказания моего московского знакомого начали сбываться, хотя я еще не проделал и четверти пути. Я приехал в Ярославль в экипаже, в котором не оставалось ни одной целой части. Здесь его отремонтируют, но я сомневаюсь, чтобы он довез меня до цели моего путешествия.

Вдруг наступила осенняя погода: холодный дождь в один день прогнал «бабье лето», и, говорят, тепло не вернется до будущего года. Я так привык к жаре и сопровождающим ее прелестям вроде пыли, мух и комаров, что не смею верить в счастливое избавление от них.

Ярославль — важный транзитный пункт внутренней торговли России. Он расположен на Волге, естественной магистрали империи и столбовой дороге ее навигации [112]. К Волге тяготеет вся обширная система каналов, составляющая предмет законной гордости русских и источник процветания страны. Ярославль, как и все русские провинциальные города, необычайно разбросан и кажется безлюдным. Его улицы поражают своей шириной, площади похожи на пристани, а дома отделены друг от друга огромными пустырями, в которых теряется население. Его архитектура того же стиля, который господствует от одного конца империи до другого. Следующий диалог покажет вам, как высоко ценят русские свою так называемую классику.

Один очень неглупый московский житель заявил мне однажды, что не увидел ничего нового для себя в Италии.

— Вы говорите серьезно?! — воскликнул я.

— Вполне серьезно,— был ответ.

— Мне кажется, однако, что каждый увидевший в первый раз в своей жизни Италию переживает нечто вроде духовного переворота — такое исключительное впечатление производит красота этой страны, гармоничность и величие ее архитектуры.

— Неужели вы не понимаете,— вспылил русский, что мы, жители Москвы и Петербурга, не можем так восторгаться итальянской архитектурой, как вы! Ведь у нас имеются ее образцы на каждом шагу, в любом из наших городов!

Этот взрыв патриотического тщеславия едва не заставил меня рассмеяться. Впрочем, я имел благоразумие подавить приступ веселости и промолчал. Но про себя думал: с таким же успехом вы можете заявить, что не желаете глядеть на Аполлона Бельведерского, потому что у вас есть гипсовый слепок с него. Мне хотелось сказать моему просвещенному собеседнику, что влияние татар пережило свергнутое иго. Разве вы прогнали их для того, чтобы им подражать? Недалеко вы уйдете вперед, если будете хулить все вам непонятное. Вы не понимаете совершенства. Как я ни старался скрыть эти сердитые мысли, их, очевидно, можно было прочитать на моем лице. Мой спесивый путешественник их, очевидно, разгадал, потому что больше ко мне не обращался, если не считать нескольких небрежно оброненных замечаний насчет того, что, мол, в Крыму растут оливковые деревья, а в Киеве — шелковица.

Презрение к тому, чего они не знают, кажется мне доминирующей чертой русского национального характера. Вместо того чтобы постараться понять, русские предпочитают насмехаться. С тех пор как я изучаю Россию, эту страну, вписавшую последней свое имя в великую книгу европейской истории, я вижу, что ирония выскочки может стать уделом целого народа.

Позолоченные и раскрашенные главы церквей, которых в Ярославле почти столько же, сколько домов, блестят издалека, как их московские прообразы, но город сильно уступает в живописности древней столице. Он стелется по плоской равнине и, вопреки своему торговому значению, кажется мертвым и печальным. Еще печальней окружающая его серая пустыня с рассыпанными кое-где

чахлыми рощицами, и широкая, как озеро, медленно катящая свои серые волны река, и свинцовое тускло-серое небо. Тоскливая, наводящая невыразимое уныние картина!

Чем ближе подъезжаешь к Ярославлю, тем красивее становится население. Я не уставал любоваться тонкими и благородными чертами лиц крестьян. Если отвлечься от широко представленной калмыцкой расы, отличающейся курносыми носами и выдающимися скулами, русские, как я не раз отмечал, народ чрезвычайно красивый. Замечательно приятен и их голос, низкий и мягкий, вибрирующий без усилия. Он делает благозвучным язык, который в устах других казался бы грубым и шипящим. Это единственный из европейских языков, теряющий, по-моему, в устах образованных классов. Мой слух предпочитает уличный русский язык его салонной разновидности. На улице — это естественный, природный язык; в гостиных, при дворе — это язык, недавно вошедший в употребление, навязываемый придворным волей монарха.

Грусть, скрытая под личиной иронии, наиболее распространенное здесь настроение, особенно в гостиных, ибо в последних больше, чем где-либо, нужно скрывать печаль. Отсюда саркастический, насмешливый тон всех разговоров. Народ топит свою тоску в молчаливом пьянстве, высшие классы — в шумном разгуле. Таким образом, один и тот же порок обнаруживается в разных формах у раба и у господина. Последний, впрочем, имеет еще одно средство от скуки: честолюбие — алкоголь для души. Во всех классах, правда, проявляется врожденное изящество, какая-то естественная деликатность, которую не уничтожили ни варварство, ни заимствованная цивилизация. Но надо признаться, что этому народу не хватает одного очень существенного душевного качества — способности любить. Отсутствие сердца есть удел всех классов здешнего общества, и хотя это обнаруживается различно, смотря по положению того или другого лица, но в основе это всегда одно и то же чувство, вернее, отсутствие чувства.

Я завел вас в лабиринт противоречий. Происходит это потому, что я показываю вам вещи такими, какими они мне представляются на первый и второй взгляд, предоставляя вам возможность согласовать мои заметки и сделать самостоятельные выводы. Я убежден, что путь собственных противоречий есть путь познания истины.

Посещение Ярославля я считал одним из самых инте-

ресных этапов всей моей экспедиции в Россию для ознакомления с бытом и нравами страны. Вот почему я запасся в Москве большим числом рекомендательных писем к виднейшим обитателям Ярославля. Я должен рассказать о моем визите к начальнику губернии. Ненависть, которую сумел возбудить против себя губернатор, внушает мне к нему, если можно так выразиться, благожелательное любопытство. По моему мнению, иностранцы должны более справедливо судить людей, чем соотечественники, так как они не разделяют предубеждений последних.

Утром, часов в одиннадцать, за мной заехал сын губернатора — в полной парадной форме, в карете, запряженной четверкой цугом с форейтером на правой лошади передней пары. Такой пышный выезд, снаряженный совсем на петербургский лад, очень смутил и разочаровал меня. Очевидно, подумал я, придется иметь дело не с чисто русским боярином, не со старозаветным московитом, а с вылощенным европейцем, с царедворцем-космополитом эпохи Александра I, не раз и не два побывавшим на Западе [113].

— Отец жил в Париже,— сказал мне юноша.— Он будет весьма польщен принять у себя француза.

— Когда именно ваш отец жил во Франции?

Молодой человек промолчал и, по-видимому, был сильно смущен моим вопросом, казавшимся мне таким естественным и простым. Сначала я не мог понять его замешательства. Только впоследствии я узнал, в чем было дело, и оценил его исключительную деликатность — чувство редкое во всех странах и у людей всех возрастов. Оказывается, господин N, ныне занимающий пост ярославского губернатора, проделал в свите императора Александра кампании 1813 и 1814 годов, и об этом-то не хотел говорить мне его сын. Тактичность эта напоминала мне другой случай противоположного характера. Однажды в небольшом германском городке я обедал у посла маленького германского княжества. Представляя меня своей жене, хозяин упомянул о том, что я француз.

— Значит, он наш враг,— вмешался их сын, мальчик лет тринадцати или четырнадцати.

Этот маленький немец не учился в русской школе.

Войдя в большую и роскошную гостиную, где меня ожидал губернатор, его жена и многочисленное семейство, я мог вообразить, что нахожусь в Лондоне или скорее в Петербурге, так как хозяйка дома по русскому обычаю сидела на небольшом возвышении, отделенном трельяжем

от остальной комнаты. Губернатор встретил меня чрезвычайно вежливо и, сказав несколько приветственных слов, провел через гостиную, мимо всех своих родственников мужского и женского пола, в зеленый уголок, где я, наконец узрел его супругу. Она усадила меня в глубине сего святилища и сказала, улыбаясь:

— Скажите, мсье де Кюстин, Эльзеар по-прежнему пишет басни?

Мой дядя, граф Эльзеар де Сабран, с детства прославился в версальском обществе своим поэтическим талантом и, вероятно, стал бы известен и широкой публике, если бы друзьям удалось убедить его издать собрание его басен — нечто вроде поэтического кодекса на все случаи жизни. Каждое событие, каждое происшествие вдохновляло его музу на аллегории, всегда остроумные и часто глубокие. Изящный, легкий стих и оригинальный замысел придавали им особенную прелесть. Конечно, когда я входил во дворец ярославского губернатора, я меньше всего думал о талантливом дяде-баснописце, ибо всецело был поглощен предстоящим визитом и надеждой увидеть наконец истинно русского человека в России. Поэтому я ответил супруге губернатора удивленной улыбкой, говорившей: «Это похоже на сказку. Разъясните мне загадку?»

Объяснение не заставило себя ждать.

— Я была воспитана, - сказала мне госпожа N, - подругой мадам де Сабран, вашей бабушки, и много слышала от нее о доброте и выдающемся уме мадам де Сабран, об уме и таланте вашего дяди, о вашей матушке. Она мне часто говорила даже о вас, хотя и покинула Францию до вашего рождения. Она последовала в Россию за семьей Полиньяк, эмигрировавшей в начале революции, и после смерти герцогини Полиньяк уже со мной не расставалась [114].— С этими словами госпожа N познакомила меня со своей гувернанткой, пожилой дамой с тонким и чрезвычайно привлекательным лицом, говорившей по-французски лучше меня.

Очевидно, с моей мечтой о боярах и на этот раз дело обстояло плохо. Мне положительно казалось, что я в комнате моей бабушки. Правда, ни ее самое, ни ее супруга не было налицо, но меня окружали как будто ее друзья, ученики и почитатели, и можно было подумать, что хозяйка дома вот-вот появится на пороге. Конечно, я меньше всего был подготовлен к такого рода эмоциям. Из всех пережитых во время путешествия по России сюрпризов этот

был самым неожиданным. Супруга губернатора рассказала мне о том, как она была поражена, увидевши мою подпись на записочке, при которой я послал ее мужу адресованное ему рекомендательное письмо. Необычайность этой встречи в стране, где я считал себя никому не ведомым чужестранцем, придала с самого начала интимный, почти дружеский характер нашей беседе. Удивление и радость были, по-видимому, искренни, по крайней мере, я не мог заметить никакой деланности и аффектации. Никто меня не ожидал в Ярославле, куда я решил поехать чуть ли не накануне отъезда из Москвы, и, в конце концов, трудно было предположить, что губернатора предупредили о предстоящем моем прибытии специальным курьером. Для такой чести я был все-таки недостаточно важной персоной.

Все члены семьи губернатора ухаживали за мной наперебой и осыпали похвалами мои книги. Их цитировали и вспоминали массу давно забытых мною деталей. Деликатность и естественность, с какими приводились эти цитаты, были бы мне приятны, если бы мне меньше льстили. Я не видел особенного основания возгордиться своей известностью, ибо то небольшое количество книг, которое проникает через цензурные рогатки, долго живет в памяти читателей.

В день моего визита в доме губернатора собралась вся семья его супруги, сестры которой с мужьями и детьми гостили у них в доме. Кроме того, у губернатора часто обедают некоторые из его подчиненных. Наконец, сыну (тому самому, который меня привез) еще положен был по возрасту гувернер. Таким образом, за семейным столом оказалось двадцать человек присутствующих. Обед, которому предшествовало нечто вроде завтрака, сервированного в гостиной и называемого, если мне не изменил слух, «zacusca», был отличный, но без ненужной изысканности. Вообще русские обеды мне нравятся. Они не угнетают чрезмерной продолжительностью, и, встав из-за стола, гости быстро расходятся. Кто идет погулять, кто возвращается к деловой работе. Обед здесь не трапеза, заканчивающая трудовой день. Когда я прощался, хозяйка дома была так любезна, что пригласила меня провести вечер с ними. Я принял это приглашение, сочтя отказ неучтивым, как мне ни хотелось отдохнуть в одиночестве. Подобное гостеприимство — милая тирания. Но разве я мог поступить иначе? За мной присылают четверку лошадей, вся семья старается меня развлечь, меня осыпают

знаками внимания. Мыслимо ли тут устоять? Тем более что мое патриотическое сердце радовалось, ибо вся эта очаровательная любезность идет из старой Франции, чей призрак стоит у меня перед глазами. Словно я дошел до пределов цивилизованного мира, чтобы найти отзвуки французского духа XVIII века, того духа, который давно исчез на родине.

Один из зятьев губернатора вызвался показать мне во всех подробностях Преображенский монастырь, резиденцию ярославского епископа. Как и все православные монастыри, эта обитель представляет собой подобие приземистой цитадели, в стенах которой настроено множество церквей и небольших домов всевозможных стилей, за исключением хорошего. Общее впечатление от этих зданий довольно мизерное. Беспорядочно разбросанные на обширном зеленом лугу белые постройки не создают никакого ансамбля [115].

Во время осмотра монастыря больше всего поразила меня набожность моего проводника. С необыкновенным жаром прикладывался он лбом и губами ко всем предметам, выставленным на почитание верующим. Между тем, судя по его салонным разговорам, я никогда не мог бы заподозрить в нем такого монашеского благочестия. Кончилось тем, что он предложил мне последовать его примеру и облобызать мощи святого, которого раку открыл нам монах. Раз пятьдесят успел он перекреститься и перецеловал двадцать с лишним икон и прочих реликвий. У нас ни одному монаху не пришло бы в голову проделать такое количество земных поклонов, коленопреклонений, крестных знамений и т. д., сколько их умудрился сделать в присутствии иностранца этот русский князь, бывший адъютант императора Александра.

Вечером, часов в девять, я вернулся к губернатору. Началось с музыки: один из братьев губернаторши играл очень недурно на виолончели. Аккомпанировала ему его жена, особа чрезвычайно приятная. Благодаря этому дуэту, а также национальным песням, исполненным с большим вкусом, вечер пролетел очень быстро.

Распростившись с радушными хозяевами, с которыми мне еще предстояло встретиться на нижегородской ярмарке, я возвратился к себе в гостиницу, очень довольный проведенным в милом обществе днем. Крестьянская изба, в которой я ночевал позавчера (что это была за ночь!), и сегодняшний салон — Камчатка и Версаль на расстоянии трех часов пути. Контрасты до того резки

в этои стране, что, кажется, крестьянин и помещик не принадлежат к одному и тому же государству.

Но я упрекаю русское правительство не столько в злоупотреблениях знати, сколько в отсутствии у аристократии политической власти, пределы которой были бы точно и твердо очерчены конституционными законами. Аристократия, политически признанная, всегда казалась мне благодетельной, тогда как аристократия, основанная только на несправедливости привилегированных, является гибельной, потому что ее компетенция неопределенна и ничем не регулируется. Русские помещики — владыки, и владыки, увы, чересчур самодержавные в своих имениях. Но, в сущности, эти деревенские самодержцы представляют собой пустое место в государстве. Они не имеют политической силы. У себя дома помещики позволяют себе всевозможные злоупотребления и смеются над правительством, потому что всеобщее взяточничество сводит на нет местные власти, но государством они не правят. Царь — единственный источник их влияний на государственные дела, лишь от его милости зависит их политическая карьера. Только превратившись в царедворца, дворянин становится государственным деятелем. Но положение придворного льстеца всегда непрочно. Жизнь при дворе несовместима с возвышенным духом, с независимостью ума, с истинно гуманными и патриотическими чувствами, с широкими политическими замыслами, одним словом, со всем тем, что присуще подлинным аристократическим сословиям в тех государствах, которые организованы таким образом, чтобы долго жить и умножать свои владения. В общем, русская форма правления соединяет в себе все недостатки демократии и деспотизма, не имея ни одного из достоинств того и другого режима.

Россией управляет класс чиновников, прямо со школьной скамьи занимающих административные должности, и управляет часто наперекор воле монарха. Каждый из этих господ становится дворянином, получив крестик в петлицу, и, вооружившись этим волшебным значком, превращается в помещика, получает землю и крепостные души. Выскочки в кругу власть имущих, они и пользуются своей властью, как подобает выскочкам. На словах они сторонники всяких новшеств, а на деле деспоты из деспотов. Они претендуют на роль просветителей народа, но в действительности являются мишенью для насмешек всех, от великих до малых. Каждый, испытавший на себе

нестерпимую спесь этих новоиспеченных дворян, дорвавшихся по табели о рангах до орденов и поместий, вознаграждает себя за унижение бичующим сарказмом. Свои помещичьи права они используют с невероятной жестокостью, делающей их объектом проклятий несчастных крестьян [116]

Из недр своих канцелярий эти невидимые деспоты, эти пигмеи-тираны безнаказанно угнетают страну. И, как это ни звучит парадоксально, самодержец всероссийский часто замечает, что он вовсе не так всесилен, как говорят, и с удивлением, в котором он боится сам себе признаться, видит, что власть его имеет предел. Этот предел положен ему бюрократией — силой, страшной повсюду, потому что злоупотребление ею именуется любовью к порядку, но особенно страшной в России. Когда видишь, как императорский абсолютизм подменяется бюрократической тиранией, содрогаешься за участь страны, где расцвела пышным цветом административная система, насажденная империей Наполеона в Европе [117].

Этот перманентный заговор ведет свое начало, как меня уверяют, от эпохи Наполеона. Прозорливый итальянец видел опасность, грозящую революционизированной Европе со стороны растущей мощи русского колосса, и, желая ослабить страшного врага, он прибегнул к силе идей. Воспользовавшись своей дружбой с императором Александром и врожденной склонностью последнего к либеральным установлениям, он послал в Петербург, под предлогом желания помочь осуществлению планов молодого монарха, целую плеяду политических работников — нечто вроде переодетой армии, которая должна была тайком расчистить путь для наших солдат. Эти искусные интриганы получили задание втереться в администрацию, завладеть прежде всего народным образованием и заронить в умы молодежи идеи, противные политическому символу веры страны, вернее, ее правительства. Таким образом, великий полководец, наследник французской революции и враг свободы всего мира, издалека посеял в России семена раздора и волнений, ибо единство самодержавного государства казалось ему опасным оружием в руках русского милитаризма. С той эпохи и зародились тайные общества, сильно возросшие после того, как русская армия побывала во Франции, и участились сношения русских с Европой. Россия пожинает теперь плоды глубоких политических замыслов противника, которого она как будто сокрушила.

Незаметному влиянию этих застрельщиков наших армий, а также их детей, учеников и последователей я приписываю в значительной степени рост революционных идей, наблюдающихся в русском обществе и даже в войсках, и те заговоры, которые до сих пор разбивались о силу существующего правительства. Быть может, я ошибаюсь, но мне кажется, что ныне царствующий император восторжествует над этими идеями, истребляя или удаляя до последнего человека их носителей и приверженцев.





Глава XXIV

По дороге в Нижний. — Русские ямщики. — Небезопасное путешествие. — Переезд через Волгу. — Самоотречение и покорность. — Сибирь. — Россия в квадрате. — Находчивость русских. — Еще о национальных напевах. — Трехколесный экипаж. — Сибирская дорога. — Унылые пейзажи. — Встреча с колодниками.

Вчера утром я выехал из Ярославля в Нижний Новгород. Дорога идет вдоль Волги, причем оба берега реки резко отличаются один от другого. Один представляет собой бесконечную низменность, едва возвышающуюся над уровнем реки, другой — отвесную стену, нередко в сто или сто пятьдесят футов высотой, представляющую собой край плоскогорья, отлогими склонами уходящего от реки. Многочисленные притоки Волги прорезают своими долинами обрывистый берег. Долины эти очень глубоки, и дорога, бегущая по краю плоскогорья, не огибает их, чтобы не делать крюков в милю и больше, а пересекает крутыми спусками и подъемами.

Русские ямщики, такие искусные на равнине, превращаются в самых опасных кучеров на свете в гористой местности, какою, в сущности, является правый берег Волги. И мое хладнокровие часто подвергалось жестокому испытанию из-за своеобразного способа езды этих безумцев. В начале спуска лошади идут шагом, но вскоре, обычно в самом крутом месте, и кучеру, и лошадям надоедает столь непривычная сдержанность, повозка мчится стрелой со все увеличивающейся скоростью и карьером, на взмыленных лошадях, взлетает на мост, то есть на деревянные доски, кое-как положенные на перекладины и ничем не скрепленные — сооружение шаткое и опасное. Одно неверное движение кучера — и экипаж может очутиться в воде. Жизнь пассажира зависит от акробатической ловкости возницы и лошадей.

После троекратного повторения вышеописанной азартной игры я запротестовал и потребовал у ямщика, чтобы он пустил в ход тормоз, но оказалось, что нанятый мною в Москве экипаж не имеет этого приспособления. Пришлось отпрячь одну из лошадей и заменить ее постромками тормоз. Такая операция проделывалась по моему настоянию всякий раз перед косогором, казавшимся мне опасным, для целости непрочной и валкой повозки. Ямщики, по-видимому, были сильно поражены столь необычными предосторожностями. Правда, они, как и всегда в подобных случаях, ничем не проявляли своего удивления, и все мои приказания, передаваемые через фельдъегеря, с которым я объяснялся по-немецки, выполнялись беспрекословно, но недоумение было написано на их лицах. Присутствие представителя власти придавало мне больший вес в глазах народа. Я не советовал бы иностранцам отваживаться на путешествие по России, в особенности по отдаленным от центра губерниям, без такого телохранителя.

По благополучном миновании самого глубокого места оврага встает еще более трудная задача — взобраться на противоположный скат лощины. Для этого у русских кучеров есть только одно средство — брать препятствие с налета. Если дорога сносная, подъем недлинен и экипаж легок, лошади галопом выносят наверх. Но если грунт песчаный, что бывает часто, а подъем длинен и лошадям не взлететь на него одним духом, то они скоро выбиваются из сил и останавливаются. Кучер стегает их кнутом, они добросовестно рвутся вперед, но экипаж начинает катиться назад с риском свалиться в канаву. В таких случаях я всегда вспоминаю гордое изречение русских патриотов: «В России нет расстояний».

Подобные инциденты происходят постоянно. При первых признаках замешательства все выходят из экипажа, слуги налегают плечом на повозку и толкают колеса и через каждые три-четыре шага дают лошадям отдохнуть, подкладывая поленья под колеса. Затем все начинается сначала. Лошадей тянут за уздечку, понукают их криками, натирают им ноздри уксусом, чтобы облегчить дыхание, и осыпают градом ударов кнута. При помощи всех перечисленных операций, сопровождаемых дикой бранью, вы наконец с невероятными усилиями достигаете вершины «страшной» горы. В других странах вы бы даже не заметили подъема.

Путешественника подстерегает в России опасность,

которую вряд ли кто предвидит: опасность сломать голову о верх экипажа. Риск этот очень велик, и опасность вполне реальна: коляску так подбрасывает на рытвинах и ухабах, на бревнах мостов и пнях, в изобилии торчащих на дороге, что пассажиру то и дело грозит печальная участь: либо вылететь из экипажа, если верх опущен, либо, если он поднят, проломать себе череп. Поэтому в России необходимо пользоваться коляской, верх которой как можно дальше отстоит от сиденья. Недавно от толчков повозки у меня разбилась бутыль с зельтерской водой, отлично упакованная в сене, а вы знаете, как прочны эти сосуды.

Ночь я провел в станционном доме, ибо рессоры моего тарантаса настолько тверды, а дорога так ухабиста, что больше двадцати четырех часов непрерывной езды я не могу выдержать без сильнейшей головной боли. Поэтому, предпочитая дурной ночлег воспалению мозга, я останавливаюсь на ночь где попало, лишь бы была крыша над головой. Труднее всего найти на таких импровизированных привалах, как, впрочем, где бы то ни было в России, чистое белье. Я уже упоминал, что путешествую с собственной кроватью, но я не мог взять с собой достаточного запаса постельного белья, а простыни, которые мне дают на станциях, всегда имеют подержанный вид. Не знаю, кому предоставлена привилегия воспользоваться ими в первый раз. Оказывается, накануне, в двенадцатом часу ночи, почтмейстер посылал за бельем для меня курьера в ближайшую деревню, до которой от станции свыше мили. Я, конечно, запротестовал бы против такого излишнего усердия со стороны фельдъегеря, но узнал об этом случае только сегодня утром. Из окна моей конуры я мог любоваться в неверном свете русской ночи неизбежным римским портиком с деревянным выбеленным фронтоном и оштукатуренными колоннами. Все почтовые станции построены здесь в этом стиле, ставшем положительно моим кошмаром. Классическая колонна — клеймо, отличающее в России все общественные здания.

Вчера мы переезжали через Волгу на пароме. Погода стояла отвратительная, дул резкий и пронзительный ветер, и косой холодный дождь хлестал по ветхому судну. Казалось, оно вот-вот зачерпнет воды и пойдет ко дну. Я вспомнил, что в Петербурге никто не торопится спасать людей, упавших в Неву, и говорил себе: если ты начнешь тонуть, никто не бросится в воду, чтобы тебя спасти, никто не закричит, не взволнуется. У русских такой печальный и пришибленный вид, что они, вероятно, отно-

сятся с одинаковым равнодушием и к своей, и к чужой гибели. Жизнь человеческая не имеет здесь никакой цены.

В России существование окружено такими стеснениями, что каждый, мне кажется, лелеет тайную мечту уехать куда глаза глядят, но мечте этой не суждено претвориться в жизнь. Дворянам не дают паспортов, у крестьян нет денег, и все остаются на месте, сидят по своим углам с терпением и мужеством отчаяния. Самоотречение и покорность, считающиеся добродетелями в любой стране, превращаются здесь в пороки, ибо они способствуют неизменности насильственного порядка вещей.

Здесь дело идет вовсе не о политической свободе, но о личной независимости, о возможности передвижения и даже о самопроизвольном выражении естественных человеческих чувств. Рабы ссорятся только вполголоса, под сурдинку, ибо гнев является привилегией власть имущих. Чем больше я вижу людей, сохраняющих видимость спокойствия при таком режиме, тем сильнее я их жалею. Покой или кнут — такова дилемма для каждого. Роль кнута для знати исполняет Сибирь, а Сибирь не что иное, как Россия в квадрате.

Я пишу эти строки в дремучем лесу, вдали от человеческого жилья. Невозможная дорога — сыпучий песок и бревна — опять повредила мой тарантас. И пока мой камердинер с помощью крестьянина, которого само небо нам послало, занимается ремонтом на скорую руку, я, униженно сознавая свою бесполезность и чувствуя, что мои попытки помочь только бы им помешали, занялся более свойственным мне делом и вот пишу, чтобы доказать всю ненужность умственной культуры в тех случаях, когда человек, лишенный всех благ цивилизации, принужден один на один бороться с дикой первобытной природой.

Только здесь, в глубине России, можно понять, какими способностями был наделен первобытный человек и чего лишила его утонченность нашей цивилизации. Повторяю еще раз: в этой патриархальной стране цивилизация портит человека. Славянин по природе сметлив, музыкален, почти сострадателен, а вымуштрованный подданный Николая — фальшив, тщеславен, деспотичен и переимчив, как обезьяна. Лет полтораста понадобится для того, чтобы привести в соответствие нравы с современными европейскими идеями, и то лишь в том случае, если в течение этого длинного ряда лет русскими будут управлять только просвещенные монархи и друзья прогресса, как ныне принято выражаться. Теперь же глубокая рознь между со-

словиями делает общественную жизнь в России аморальной и невыносимо тяжелой. Будущее покажет, может ли военная слава вознаградить русский народ за все невзгоды, причиняемые ему общественным и политическим строем.

Видя, как трудится наш спаситель-крестьянин над починкой злополучной повозки, я вспоминаю часто слышанное мною утверждение, что русские необычайно ловки и искусны, и вижу, как это верно.

Русский крестьянин не знает препятствий, но не для удовлетворения своих желаний (несчастный слепец!), а для выполнения полученного приказания. Вооруженный топором, он превращается в волшебника и вновь обретает для вас культурные блага в пустыне и лесной чаще. Он починит ваш экипаж, он заменит сломанное колесо срубленным деревом, привязанным одним концом к оси повозки, а другим концом волочащимся по земле. Если телега ваша окончательно откажется служить, он в мгновение ока соорудит вам новую из обломков старой. Если вы захотите переночевать среди леса, он вам в несколько часов сколотит хижину и, устроив вас как можно уютнее и удобнее, завернется в свой тулуп и заснет на пороге импровизированного ночлега, охраняя ваш сон, как верный часовой, или усядется около шалаша под деревом и, мечтательно глядя ввысь, начнет вас развлекать меланхоличными напевами, так гармонирующими с лучшими движениями вашего сердца, ибо врожденная музыкальность является одним из даров этой избранной расы. Но никогда ему не придет в голову мысль, что по справедливости он мог бы занять место рядом с вами в созданном его руками шалаше.

Долго ли будет провидение держать под гнетом этот народ, цвет человеческой расы? Когда пробьет для него час освобождения, больше того — час торжества? Кто знает? Кто возьмется ответить на этот вопрос?

Печальные тона русской песни поражают всех иностранцев. Но она не только уныла — она вместе с тем и мелодична и сложна в высшей степени. Если в устах отдельного певца она звучит довольно неприятно, то в хоровом исполнении приобретает возвышенный, почти религиозный характер. Сочетание отдельных частей композиции, неожиданные гармонии, своеобразный мелодический рисунок, вступление голосов — все вместе производит сильное впечатление и никогда не бывает шаблонным. Я думал, что русское пение заимствовано Москвой из Византии, но меня уверили в его туземном проис-

хождении. Этим объясняется глубокая грусть напевов, даже тех, которые живостью темпов претендуют на веселость. Русские не умеют восставать против угнетения, но вздыхать и стонать они умеют...

На месте императора я запретил бы подданным не только жаловаться, но и петь, так как песня их есть замаскированная жалоба. Эти скорбные звуки — те же признания и могут превратиться в обвинения. При деспотическом режиме даже искусство, в том случае, если оно имеет чисто национальный отпечаток, теряет свой безобидный характер и становится скрытым протестом. Отсюда, конечно, склонность русского правительства и знати к иностранным литературам, к заморским искусствам и художникам и к не имеющей корней на родине заимствованной поэзии. У порабощенных народов боятся глубоких душевных движений, вызываемых патриотическим чувством. Поэтому все национальное, даже музыка, превращается в орудие протеста. В России голос человека изливает в песне жалобы небу и просит у него частицу счастья, недоступного и недостижимого на земле. Итак, если вы достаточно сильны для того, чтобы угнетать людей, вы должны быть последовательны и сказать им: не смейте петь! Ни в чем так не сказываются страдания народа, как в унылости его развлечений. Русские могут только искать утешения, они не могут веселиться. Удивляюсь, что никто до меня не обратил внимания властей на их упущение: разве можно было разрешить русским времяпрепровождение, обличающее всю безмерность их скорби?

Продолжаю свои записи на последней станции перед Нижним. Добрались мы до нее на трех колесах — место четвертого заняла длинная сосновая жердь, пропущенная под осью заднего колеса и привязанная к передку повозки,— приспособление, приводящее меня в восторг своей простотой и остроумием.

Дорога из Ярославля в Нижний на большом протяжении похожа на широкую, прямую парковую аллею. С обеих сторон идут две другие аллеи поуже, покрытые зеленым ковром и обсаженные березками. Дорога эта отличается мягкостью, потому что путешественник почти все время едет по траве, если не считать болотистых участков, которые приходится пересекать по зыбким бревенчатым мосткам. Последние таят в себе немало опасностей и для коляски, и для лошадей.

Вчера перед тем, как потерпеть очередную аварию, мы неслись карьером по малолюдному тракту.

— Какая прекрасная дорога,— обратился я к моему фельдъегерю.

— Ничего нет удивительного,— заметил тот,— ведь это большая сибирская дорога.

Вся кровь во мне застыла. Сибирь! Она преследует меня повсюду и леденит, как птицу взгляд василиска. С какими чувствами, с каким отчаянием в душе бредут по этой проклятой дороге несчастные колодники! А я, скучающий путешественник, еду по их следам в поисках смены впечатлений!

Что за страна! Бесконечная, плоская, как ладонь, равнина без красок, без очертаний; вечные болота, изредка перемежающиеся ржаными полями да чахлым овсом; там и сям в окрестностях Москвы прямоугольники огородов — оазисы земледельческой культуры, не нарушающие монотонности пейзажа; на горизонте — низкорослые жалкие рощи и вдоль дороги — серые, точно вросшие в землю, лачуги деревень и каждые тридцать — пятьдесят миль — мертвые, как будто покинутые жителями города, тоже придавленные к земле, тоже серые и унылые, где улицы похожи на казармы, выстроенные только для маневров. Вот вам в сотый раз Россия какова она есть.

По этой стране без пейзажей текут реки огромные, но лишенные намека на колорит. Они катят свои свинцовые воды в песчаных берегах, поросших мшистым перелеском, и почти неприметны, хотя берега не выше гати. От рек веет тоской, как от неба, которое отражается в их тусклой глади. Зима и смерть, чудится вам, бессменно парят над этой страной. Северное солнце и климат придают могильный оттенок всему окружающему. Спустя несколько недель ужас закрадывается в сердце путешественника. Уж не похоронен ли он заживо, мерещится ему, и он хочет разорвать окутавший его саван, бежать без оглядки из этого сплошного кладбища, которому не видно ни конца, ни края.

Подавленный такими невеселыми думами, ехал я по большой сибирской дороге. Вдруг, вглядевшись вперед, я заметил вдалеке, на одной из боковых аллей дороги, кучку вооруженных людей, сделавших привал под деревьями.

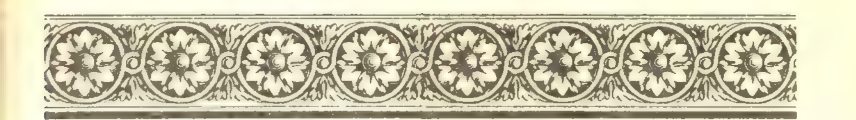
— Что это за отряд?— спросил я фельдъегеря.

— Это казаки, конвоирующие сосланных в Сибирь преступников,— был ответ.

Значит, это не миф, не газетная выдумка! Передо мною настоящие изгнанники во плоти и крови, несчастные страдальцы, пешком идущие в страшную сибирскую тайгу, где им суждено погибнуть вдали от всего, что им дорого. Может быть, я видел или увижу их матерей, их жен. Ведь это не преступники, это поляки, герои долга и самоотверженности. Слезы душили меня, когда мы поравнялись с несчастными, около которых я даже не осмелился остановить экипаж из страха навлечь подозрение моего аргуса. Мне стало стыдно за свое малодушие, и гнев вытеснил из сердца сострадание. «Вон из страны,— говорил я себе,— где присутствие какого-то жалкого курьера заставляет меня скрывать мои лучшие и самые естественные чувства!»

Партия ссыльных состояла из шести человек, которых сопровождало двенадцать всадников. Но хотя эти люди были закованы в кандалы, в моих глазах они были невинны, ибо при деспотическом режиме виновен только тот, кто карает. Верх моей коляски был поднят, и чем ближе мы подъезжали к группе ссыльных и их конвоиров, тем внимательнее наблюдал за мной фельдъегерь. При этом он усиленно убеждал меня в том, что эти ссыльные — простые уголовные преступники и что между ними нет ни одного политического. Я хранил угрюмое молчание, и его старания опровергнуть мои затаенные мысли показались мне чрезвычайно знаменательными – очевидно, он их читал на моем лице. Чудовищная проницательность слуг абсолютизма! Все занимаются здесь шпионством из любви к искусству, даже не рассчитывая на вознаграждение.





Глава XXV

Нижний Новгород. — Ярмарка. — Смесь языков и одежд. — Скопление народа. — Поиски пристанища. — Сделка состоялась. — Третья битва с клопами. — Столкновение с фельдъегерем. — Ярмарочные здания. — Чайный город. — Город железа. — Персидская деревня. — Крепостные коммерсанты. — Уроки честности. — Дороговизна. — Вспышки протеста. — Ярмарочные развлечения.

Местоположение Нижнего Новгорода красивее всего виденного мною в России. Перед вами не низкие холмы, пологими скатами бегущие вдоль реки, но настоящая гора, образующая могучий мыс при слиянии Волги и Оки. Обе эти реки одинаково величественны, ибо в месте своего впадения в Волгу Ока ничем не уступает последней и теряет свое речное «я» только потому, что верховье ее значительно ближе. На этой-то горе выстроен Нижний Новгород, господствующий над необъятной, как море, равниной, а у подножия горы происходит величайшая в мире ярмарка. На шесть недель в году торговля двух богатейших частей света назначает себе свидание в тесном треугольнике между Окой и Волгой. Место это просится на картину по естественной красоте ландшафта. А между тем древний город Нижний, вместо того чтобы любоваться обеими могучими реками, словно бежит от них и прячется за горой. Такая странность поразила императора Николая, который, говорят, увидев впервые этот город, воскликнул: «В Нижнем природа сделала все, что могла, а люди все испортили!» Чтобы исправить ошибку основателей города, теперь под горой на берегу реки строится предместье, которое растет из года в год и скоро затмит нагорную часть Нижнего. Древний кремль (в каждом русском городе имеется свой кремль) отделяет старый город от нового.

Ярмарка происходит на противоположном берегу реки, на трехугольной низменности между нею и Волгой[118]. Оба берега соединены плашкоутным мостом и являют резкий контраст: один, как колоссальная пирамида, гордо возвышается над всей именуемой Россией равниной, другой, тот, где имеет место ярмарочный торг, стелется на уровне реки, которая ежегодно его затопляет. Этот на редкость живописный контраст бросился в глаза Николаю. С присущей ему проницательностью он понял, что Нижний — это один из важнейших пунктов его империи, и полюбил город, ставший местом встречи купцов из отдаленнейших стран и приобретший первостепенное торговое значение. Оценив коммерческую роль Нижнего, царь не щадит затрат на всяческое его украшение и, говорят, отпустил на это дело семнадцать миллионов рублей, причем лично контролирует все работы.

Нижегородский кремль стоит на горе, которая гораздо выше, чем холм Московского Кремля. По гребню вьются белые стены (свыше полумили в окружности) над покрытыми зеленью дерев крутыми склонами, а еще выше горят золотые главы, как маяк светящие путнику, тоскующему среди песчаных дюн ярославской дороги. Сильное впечатление, всегда неразлучное с русской национальной архитектурой, еще усугубляется рельефом местности: в некоторых местах стены кремля положительно вырастают из отвесных скал.

Нижегородская ярмарка, ставшая ныне самой значительной на земном шаре, является местом встречи народов, наиболее чуждых друг другу, народов, не имеющих ничего общего между собой по виду, по одежде, по языку, религии и нравам. Жители Тибета и Бухары — стран сопредельных Китаю — сталкиваются здесь с финнами, персами, греками, англичанами и французами. Это настоящий судный день для купцов. Во время ярмарки число приезжих, одновременно живущих на ее территории, равняется двумстам тысячам. Отдельные единицы, составляющие эту массу людей, постоянно сменяют друг друга, но общая сумма остается постоянной, а в дни особенно оживленной торговли доходит даже до трехсот тысяч. По окончании этих коммерческих сатурналий город умирает. В Нижнем насчитывается не более двадцати тысяч постоянных жителей, теряющихся на его голых площадях, а территория ярмарки пустует в течение девяти месяцев в году. Такое огромное скопление людей происходит, однако, без особого беспорядка. Последний в

России вещь неизвестная. Здесь беспорядок был бы прогрессом, потому что он — сын свободы.

В одном только месте в России видел я настоящую толпу — в Нижнем, на мосту через Оку, единственном пути сообщения между городом и ярмаркой. Подъезжая к Нижнему со стороны Ярославля, вы попадаете в город по этому же мосту. При въезде на него пыль слепит глаза, шум оглушает, повозки теснятся со всех сторон, между ними пробираются пешеходы, а самой реки не видно — ее сплошь покрывает огромное множество судов и лодок. Поэтому вы невольно спрашиваете себя, для чего здесь, собственно, мост? Положительно, можно перейти с одного берега на другой, перепрыгивая с джонки на джонку. Я нарочно употребляю китайское название судов, потому что они в значительной степени служат для перевозки на ярмарку китайских товаров, главным образом чая. Все это, конечно, поражает воображение, но не взоры, ибо живописных картин нет на этой ярмарке, где все здания с иголочки новые. Когда мы ехали по мосту, мне казалось, что, прежде чем достигнуть противоположного берега, мы раздавим не меньше двух десятков человек. Слава богу, этого не случилось, но, очутившись на желанном берегу, я увидел, что меня поджидали новые напасти. Предстояло найти пристанище, а все гостиницы были переполнены. Мой фельдъегерь стучался у каждой двери, но возвращался неизменно с одним и тем же ответом: «Комнаты нет!» Он советовал мне воспользоваться гостеприимством губернатора, однако я наотрез отказался.

Наконец, проехав всю длинную улицу до того места, где ее пересекает другая, ведущая круто вверх в старый город через темные, прорубленные в толстой стене ворота, мы заметили какую-то кофейню. Доступ к этому заведению был закрыт небольшим крытым рынком, откуда доносились нимало не похожие на духи ароматы. Я приказал остановить лошадей и прошел в кофейню. Последняя состояла из целой анфилады комнат, переполненных шумной толпой, угощавшейся чаем и спиртными напитками. Хозяин встретил меня с почетом и самолично провел по всем комнатам своего процветающего заведения. Войдя в последнюю «залу», также загроможденную столиками и посетителями, я убедился, что, действительно, у него нет свободного уголка.

— Эта комната — угловая в вашем доме, не так ли? — спросил я.— У нее есть отдельный выход?

— Да.

— В таком случае забейте двери, соединяющие ее с остальными и сдайте ее мне на несколько дней.

Я уже задыхался от ужасающего воздуха, ибо к обычному букету русских запахов присоединялись обильные винные испарения. Но что мне оставалось делать? Другого выхода не было. Кроме того, я надеялся, что если комнату основательно почистить, то атмосфера несколько разрядится. Поэтому фельдъегерь по моему настоянию растолковал хозяину сущность предлагаемой ему сделки.

— Я потеряю на этом деле,— возразил тот.

— Я заплачу вам, сколько захотите.

Сделка состоялась. Итак, я взял приступом зловонный кабак, за который пришлось платить дороже, чем за самую роскошную комнату в самом дорогом отеле Парижа. Но гордость одержанной победы утешила меня за все издержки. Только в России, где прихоти господ, могущих сойти за сильных мира сего, не знают границ, можно превратить в мгновение ока ресторан в спальню.

Мой фельдъегерь попросил посетителей удалиться. Они вышли без малейшего ропота, двери немедленно заперли висячим замком и заколотили, после чего ворвалась целая армия молодых монахов в подрясниках, то есть, я хотел сказать, половых в рубахах, и в одну секунду вынесла всю мебель. Но что я вижу? Из-под каждого столика, из-под каждого табурета выходят полчища еще невиданного зверья — насекомые черные, с полдюйма длиной, мягкие, липкие и бегающие довольно быстро. Эти вонючие существа встречаются на Волыни, в Украине, в России, в Польше, где, если не ошибаюсь, они известны под именем persica, потому что занесены они из Азии. Я не мог уловить названия, которым их обозначали нижегородские половые. Увидя, как пол моего нового обиталища покрылся узором этих копошащихся гадов, которых вольно и невольно давили не сотнями, а тысячами, и заметив, что от этого побоища в комнате появился новый, и пренеприятный, запах, я опрометью бросился вон из комнаты, из трактира и помчался представиться губернатору. Этот последний носил фамилию, издревле знаменитую в истории России, фамилию Бутурлиных, старинного боярского рода (разновидность, ставшая уже редкостью). Он показался мне человеком гостеприимным и для русских довольно общительным и откровенным [119].

Только когда меня уверили, что мое отвратительное логово основательно вымыто и проветрено, рискнул я

переступить его порог. Моя кровать, набитая свежим сеном, красовалась посередине комнаты, ножки ее покоились в четырех полных водою мисках. Но, несмотря на такие предосторожности, утром, после тревожной ночи и тяжелых беспокойных сновидений, я все-таки нашел двух или трех persic'ов на подушке. Насекомые эти безвредные, но не могу вам передать омерзение, которое они мне внушают.

Нижний встретил меня тропической жарой и удушливой пылью. Поэтому, а также по совету опытных людей, я не рискнул отправиться пешком на ярмарку. Однако количество приезжих так велико, что я ни за какие деньги не мог достать наемного экипажа. Пришлось воспользоваться тарантасом, на котором я со столькими приключениями добрался до Нижнего, но ограничиться только парой лошадей, чем я был раздосадован не меньше любого русского барина. В общем, моя колесница и лошади являли собой далеко не блестящее зрелище.

Московский негоциант, владелец одного из наиболее значительных и богатых шелковых магазинов на ярмарке, вызвался быть моим чичероне. Усаживаясь с ним и его братом в мой роскошный экипаж, я предложил моему телохранителю нас сопровождать. И вот сей последний, нимало не задумываясь и не спросив у меня разрешения, вскакивает в коляску и усаживается на переднем сидении рядом с братом господина N, который занял это место вопреки всем моим уговорам.

Боясь, как бы фельдъегерская фамильярность не оказалась неприятной моим любезным проводникам, я попросил курьера занять его обычное место на козлах, рядом с кучером, причем сказал это почти неслышно.

— Я этого не сделаю, — с невозможным хладнокровием ответил мне сей господин.

— Почему вы решили меня ослушаться? — спросил я еще более спокойным голосом. Говорили мы по-немецки.

Ответ фельдъегеря напомнил мне бесконечные местнические споры бояр, наполняющие целые страницы русской истории эпохи Ивана Грозного.

— Что вы хотите этим сказать? Разве вы не занимали этого места на протяжении всего пути от Москвы до Нижнего?

— Вы правы, мосье, это мое место при исполнении служебных обязанностей, во время путешествия. Но на прогулке я должен сидеть в экипаже. Я ношу мундир.

Пресловутый мундир — форма чиновника почтового ведомства.

— Я имею чин. Я не лакей, я служу его величеству.

— Меня очень мало интересует, кто вы и что вы. Кроме того, я и не думал вас называть лакеем.

— Но я буду иметь вид такового, если сяду на облучок в то время, как мосье катается по городу. У меня за плечами не один год службы, и за доброе поведение мне обещано дворянство.

С минуту подумав над таким смешением наших аристократических понятий с новейшего вида тщеславием, внушенным трусливыми деспотами зараженному завистью народу, я ответил моему строптивому фельдъегерю следующими словами:

— Я уважаю вашу гордость, если она на чем-нибудь основана. Но, будучи плохо знаком с обычаями вашей страны, я хочу прежде, чем разрешить вам занять место в экипаже, сообщить о ваших домогательствах господину губернатору. Я не собираюсь требовать с вашей стороны больших услуг, чем те, которые вы обязаны мне оказывать на основании полученных вами инструкций. Так как в данном случае я нахожусь в сомнении, то я освобождаю вас на нынешний день от службы: я поеду без вас.

Я едва не расхохотался над важностью, с которой произнес тираду, но считал такую комедию необходимой, дабы обеспечить себе спокойствие в течение остального путешествия. Этот кандидат на дворянство, так скрупулезно соблюдающий этикет большой дороги, стоит мне, помимо всего прочего, триста франков в месяц, которые я уплачиваю ему в виде жалованья. Выслушав меня, он покраснел до корней волос, ни слова не говоря вышел из коляски и молча возвратился восвояси.

Ярмарка занимает, как я уже сказал, обширнейшую территорию на песчаном и совершенно плоском пространстве земли между Окой и Волгой. Почва, на которую свозится огромное количество товаров со всех концов земли, едва-едва выступает из воды. Поэтому на берегах Волги и Оки видны только бесконечные склады и амбары, тогда как ярмарочный город в собственном смысле слова расположен дальше от берегов, в основании треугольника, образуемого обеими реками. Этот торговый город-поденка состоит из большого числа широких и длинных улиц, прямых, как стрела, и пересекающихся под прямыми углами — план весьма далекий от живописности. Десяток-другой павильонов псевдокитайского стиля

возвышается над магазинами, но их фантастические очертания почти не оживляют печального и унылого общего вида ярмарки. Этот чинный базар кажется пустынным — так он велик. В его черте не видно толпы, тогда как окружающие эти лавочные линии предместья кишат разноплеменным и разноязычным народом. Ярмарочный город, как и все современные русские города, слишком велик для своего населения, хотя последнее и состоит, как я уже говорил, из двухсот тысяч душ в среднем. Правда, в это огромное число входят все приютившиеся во временных лагерях, разбитых вокруг ярмарки, а также избравшие своим жильем реки. Последние на большом расстоянии покрыты сплошным лесом судов всех видов и размеров, где живет сорок тысяч человек. Эти населенные реки поразили меня, пожалуй, больше всего. Они напоминают нам картину китайских городов, где реки превращены в улицы людьми, живущими, за недостатком твердой земли, на воде.

Все ярмарочные здания стоят на подземном городе — великолепной сводчатой канализации, настоящем лабиринте, в котором можно заблудиться, если отважиться на его посещение без опытного проводника. Каждая улица ярмарки дублирована подземной галереей, проложенной на всем протяжении улицы и служащей стоком для нечистот. Галереи эти, выложенные каменными плитами, очищаются по нескольку раз в день множеством помп, накачивающих воду из окрестных рек, и соединены с поверхностью земли широкими лестницами.

Товары всего мира собраны на необъятных улицах ярмарки, но они в них теряются. Покупатели здесь — самый редкий товар. Положительно все, что я вижу в этой стране, заставляет меня восклицать: «Здесь слишком мало людей для столь огромных пространств!» — в противоположность странам древней культуры, где людям не хватает места для развития цивилизации. Английские и французские лавки — самые шикарные и изысканные на ярмарке. Для того чтобы составить себе верное представление о нижегородском торге, нужно покинуть изящные китайские затеи александровской эпохи и прежде всего побродить по окружающим ядро ярмарки базарам. Пробираться по ним дело нелегкое, ибо каждый занимает пространство доброго города, в каждом царит настоящий хаос крупнейшей торговли и, по необходимости, беспорядок оживленного движения.

Начнем с чайного города. Это азиатский стан, раски-

нутый у самого слияния обеих рек, на вершине треугольника. Чай идет в Россию из Китая через Кяхту, отсюда его везут в тюках кубической формы. Эти «цыбики» представляют собой обтянутые кожей рамы, каждое ребро которых длиной около двух футов. Покупатели протыкают кожу особыми щупами, чтобы узнать качество товара. Из Кяхты чай транспортируется сухим путем до Томска. Там он перегружается на баржи и путешествует дальше по разным рекам до Тюмени, откуда снова сухим путем идет до Перми, оттуда он по Каме спускается к Волге и таким образом попадает в Нижний. В Россию ежегодно ввозится от 75 до 80 тысяч ящиков чая, из которых половина остается в Сибири и зимой доставляется санным путем в Москву, а другая половина попадает на нижегородскую ярмарку [120].

Чайный этот маршрут описал мне крупнейший русский торговец чаем, и я не отвечаю ни за географию, ни за орфографию этого богача. Впрочем, у миллионеров могут быть точные сведения, потому что они покупают свои знания у других.

Как видите, хваленый чай, доставляемый будто бы караванами и поэтому так высоко ценимый знатоками, на самом деле почти весь путь проделывает водой. Правда, вода эта не соленая и, говорят, речные туманы не так вредны ему, как морские.

Сорок тысяч ящиков чая! Это легко сказать, но трудно себе представить сплошные стены чайных цыбиков на ярмарке. Я только что прошелся по амбарам, где они сложены. Один только негоциант, мой просвещенный географ, купил четырнадцать тысяч ящиков за десять миллионов рублей серебром (бумажных рублей уже нет). Цена чая определяет цены всех прочих товаров. До тех пор, пока эту цену не опубликуют, все другие сделки имеют условный характер.

Другой «город» так же велик, но менее деликатен и менее благоуханен, чем города чая,— это город тряпья. К счастью, прежде чем свезти лохмотья всей России на ярмарку, их тщательно промывают.

Из прочих ярмарочных предместий заслуживает упоминания город тележного леса, из которого делаются колеса русских телег и дуги, столь живописно украшающие здешнюю упряжку. Запасы очищенного от коры леса, заготовленного здесь для всей европейской России, нагромождены настоящими горами, о которых наши парижские лесные склады не дают даже слабого представления.

Еще один город, самый, пожалуй, большой и интересный из всех,— это город железа. На целый километр тянутся галереи всевозможных железных полос, брусьев и штанг. Потом идут решетки, потом кованое железо, дальше целые пирамиды земледельческих орудий и предметов домашнего обихода, короче говоря, перед вами целое царство металла, составляющего один из главнейших источников богатства империи[121]. Это богатство пугает. Сколько каторжников нужно иметь, чтобы извлечь из недр земли такие сокровища! Если преступников не хватает, их делают, во всяком случае, делают людей страдальцами. Деспотизм торжествует, и государство процветает. Поучительно было бы изучить жизнь уральских рудокопов, но для иностранцев это совершенно немыслимо.

Не хватило бы целого дня даже для беглого обхода всех этих предместий, являющихся лишь, так сказать, спутниками ярмарки в тесном смысле слова. Если бы включить их в общую ограду, протяжение последней не уступало бы обводу крупной европейской столицы. В бездне собранного в них богатства нельзя всего увидеть, и приходится поневоле делать выбор. Кроме того, удушливый зной, пыль, толпы народа — все это действует угнетающе на душу и тело.

Я забыл упомянуть о городе кашемирской шерсти. Глядя на неприятную на вид, связанную в огромные тюки шерсть, я думал о роскошных плечах, которые она в один прекрасный день покроет, когда чудесным образом превратится в платки и шали.

Словом «город» я пользуюсь нарочно, потому что только это слово может дать понятие о колоссальных размерах этих складов, придающих ярмарке положительно грандиозный характер. Конечно, такой любопытный коммерческий феномен возможен лишь в России. Для того чтобы создать нижегородскую ярмарку, понадобилось стечение целого ряда исключительных обстоятельств, которых нет и не может быть в европейских государствах: огромность расстояний, разделяющих наполовину варварские народы, испытывающие уже, однако, непреодолимую тягу к роскоши, и климатические условия, изолирующие отдельные местности в течение многих месяцев в году, отсутствие удобных и скорых средств сообщения и т. д. и т. п. Но, думается мне, можно предвидеть, что не в очень далеком будущем прогресс материальной культуры в России сильно уменьшит значение ярмар-

ки в Нижнем Новгороде. Теперь же, повторяю, это величайшая ярмарка на земном шаре.

В предместье, отделенном рукавом Оки, расположилась целая персидская деревня, лавки которой наполнены исключительно персидскими товарами. С удивлением любовался я там великолепными коврами, суровым шелком и термоламой, родом шелкового кашемира, который, говорят, выделывается только в Персии. Впрочем, я бы не удивился, если бы оказалось, что русские выдают за персидскую мануфактуру подделки своих фабрик. Должен оговориться, это лишь мое предположение, не подтвержденное фактами.

Меня заставили прогуляться по городу, целиком отведенному под склады сушеной и соленой рыбы, привозимой из Каспийского моря для соблюдающих посты набожных русских. Последние поглощают эти морские мумии в огромном количестве: четыре месяца воздержания московитов обогащают магометан Персии и Татарии. Распластанные тела морских чудищ расположены на земле, висят на особых стойках и частью скрываются в трюмах доставивших их сюда судов. Если бы трупы на этом рыбьем кладбище не насчитывались миллионами, можно было бы вообразить, что вы попали в кабинет естественной истории. Даже на открытом воздухе рыбы эти издают пренеприятный запах.

Имеется на ярмарке и кожаный город. Кожи — предмет большого значения в обороте ярмарки, удовлетворяющий спрос всей европейской России по этой части. Потом идет город мехов. Тут пред вами шкуры всех решительно пушных зверей — от соболя, голубой лисицы и некоторых видов медведя (шубы из названных мехов обходятся в двенадцать тысяч франков) до обыкновенной лисицы и волка, цена которым грош. Приставленные к охране этих сокровищ люди устраивают на ночь палатки для своих товаров — варварские юрты, имеющие очень живописный вид. Хотя эти люди и живут в холодных странах, однако они довольствуются малым. Одеты они довольно скудно и спят, когда стоит хорошая погода, под открытым небом. Когда же идет дождь, они скрываются под грудой своих товаров, заползая во все дыры. Настоящие северные лаццарони, они далеко уступают своим неаполитанским собратьям в веселости и беспечности.

Как я уже упоминал, внутренняя часть ярмарки резко отличается от только что описанных ее предместий и менее интересна, чем последние. Там, во внешней части,

грохочут повозки, тачки, телеги, раздаются крики, песни, шум и гам — словом, господствуют свобода и беспорядок. Здесь, внутри, все чинно, спокойно, тихо, здесь царит безлюдье, порядок, полиция — словом, здесь Россия!

Бесконечные ряды лавок отделены один от другого широкими улицами, которых, кажется, всего двенадцать или тринадцать. Они упираются в собор и двенадцать китайских павильонов. Чтобы обойти все улицы и лавки, нужно сделать десять лье — так, по крайней мере, мне говорили. В этот-то тихий оазис, охраняемый казаками, похожими в часы дежурства на немых стражей сераля, мы и спаслись от сутолоки и сумятицы ярмарочных предместий. Несметные суммы поглотила почва, менее всего подходящая для устройства всероссийского торжища, и в царствование Александра, и при его преемнике. Благодаря неслыханным усилиям и ни с чем не сообразным затратам территория ярмарки теперь обитаема в летнее время, а большего для коммерции и не нужно. Но она по-прежнему вредна для здоровья, покрыта в сухую погоду толстым слоем пыли и от нескольких капель дождя превращается в непроходимое болото.

Главные торговые деятели ярмарки — крепостные крестьяне. Однако закон запрещает предоставлять кредит крепостному в сумме свыше пяти рублей. И вот с ними заключаются сделки на слово на огромные суммы. Эти рабы-миллионеры, эти банкиры-крепостные не умеют ни читать, ни писать, но недостаток образования восполняется у них исключительно сметливостью.

В России народ не знает арифметики. Со стародавних времен он считает при помощи костяшек, движущихся по прутьям в деревянных рамах. Каждая линия другого цвета — так различаются единицы, десятки, сотни и т. д.— чрезвычайно простой и быстрый способ подсчета. Не забывайте, что те, кому принадлежат рабы-миллионеры, могут в любой день и час отобрать у последних их состояние. Правда, такие акты произвола редки, но они возможны. В то же время никто не помнит, чтобы крестьянин обманул доверие имеющего с ним торговые дела купца. Так в каждом обществе прогресс народных нравов исправляет недостатки общественных учреждений. Наряду с этим могу привести и такой слышанный мною рассказ: некий граф, ныне благополучно здравствующий (я чуть было не сказал «благополучно царствующий»), обещал как-то одному из своих крепостных вольную за непомерную сумму в шестьдесят тысяч рублей, и что же?

Он взял деньги, но не отпустил на волю ограбленную семью.

Таковы уроки честности и добросовестности, получаемые русскими крестьянами в школе аристократического деспотизма, который их угнетает, и деспотизма автократического, который ими правит. Императорское тщеславие довольствуется словами, внешними формами и цифрами. Аристократическое властолюбие смотрит в корень вещей и дешево ценит слова. Нигде монарху сильней не льстят и нигде его меньше не слушаются, чем в России. Никого так не обманывают, как так называемого самодержца всероссийского. Правда, непослушание — это дело рискованное. Но страна необъятно велика, а пустыня безмолвствует.

Все дорого на нижегородской ярмарке. Время большой разницы в ценах по отдельным районам миновало безвозвратно, и теперь повсюду знают цену деньгам. Татары, приезжающие из центральной Азии в Нижний закупать по баснословной цене предметы роскоши, привозимые из Парижа и Лондона, прекрасно знают в свою очередь, сколько стоят их собственные товары. И купцы не запрашивают, выражаясь языком лавочников, но и не уступают. Они невозмутимо назначают высокую цену, и их профессиональная честность состоит в том, чтобы ни в коем случае не отдать товара дешевле. С финансовой точки зрения значение ярмарки растет из года в год, но если смотреть на нее как на собрание редкостных товаров и странных лиц, то нельзя не сознаться, что она становится под таким углом зрения все менее и менее интересной. В общем, она разочаровывает тех, кто ожидал увидеть живописное зрелище. Все сумрачно и натянуто в России. Даже души здесь вытянуты по ранжиру. Только редко-редко прорываются наружу страсти, и тогда все летит вверх ногами. То барин женится на крепостной, то крепостные, доведенные вечными жестокостями и издевательствами до отчаяния, хватают барина, сажают его на вертел и поджаривают на медленном огне. Но такие пертурбации остаются почти незамеченными — расстояния в России огромны, а полиция неусыпно бдительна. Бессильные вспышки не нарушают обычного порядка, покоящегося на безмолвном синониме тоски и гнета.

В сумерках равнина приобретает более живописный характер. Горизонт заволакивается туманной дымкой, которая позже превращается в росу. Летающая в воздухе песчаная пыль окрашивается розоватым светом.

Постепенно в густеющей тьме возникают фантастические отблески, многое множество фонарей зажигается на торговых бивуаках, окружающих ярмарку. Со всех сторон несется гул голосов. Они долетают даже из окрестных лесов, даже с рек, превращенных в человеческий муравейник. Какое внушительное сборище людей! Какое смешение языков, какие контрасты нравов и обычаев! Но какое вместе с тем единство чувств и стремлений! У всех собравшихся сюда сотен тысяч людей только одна цель - нажива. В других странах жадность народа скрывается под покровом его природной веселости. Здесь надо всем господствует ничем не прикрытая алчность коммерсанта.

Бродя ночью по ярмарке, я видел ярко освещенные трактиры, балаганы, маленькие театры, кофейни, чайные. Но изо всех этих горящих множеством огней мест слышался только заглушенный гул голосов. Контраст между яркостью иллюминации и молчаливостью людей поражает и кажется положительно сверхъестественным. Вас окружает народ, завороженный волшебной палочкой чародея.

Густой лес мачт ограничивает с двух сторон развертывающееся пред глазами зрелище и в некоторых местах даже закрывает небо. С третьей стороны — равнина, искрящаяся в бесконечном сосновом бору. Мало-помалу огни гаснут и наконец вовсе исчезают. Мрак и безмолвие сходят на землю. Все, что еще недавно оживляло движением и красками пустыню, забывается и словно перестает существовать. Неясные воспоминания сменяют пеструю картину, и одинокий путник остается один на один с русской полицией, делающей тьму ночную еще страшнее. Чудится, что все дневные впечатления были лишь сном наяву, и вы добираетесь до ночлега с душой, полной поэзией, то есть смутного страха и тягостных предчувствий.





Глава XXVI

Денежная реформа. — Губернатор «кротко» беседует с купцами. — Деспотическое мошенничество. — Император перестраивает Нижний. — Господа и рабы. — Отсутствие правосудия. — Шпион-телохранитель. — Фальсификация истории. — Нижегородские лагеря.

В этом году в день открытия ярмарки губернатор пригласил к себе крупнейших русских коммерсантов, собравшихся в Нижнем Новгороде, и во всех подробностях изложил им давно признанные и весьма печальные неудобства, проистекающие из существующей в империи денежной системы. Как вы знаете, в России средством обмена служат, с одной стороны, бумажные деньги, и с другой — серебряная монета. Но вы, быть может, не знаете, что ценность последней непрерывно изменяется, тогда как ассигнации сохраняют постоянно одну и ту же стоимость — странность, не имеющая аналогии в финансовой истории. Отсюда вытекает, что в России деньгами являются ассигнации, тогда как они были введены в качестве суррогата серебра и лишь таковым считаются по закону. Изложив все это своим слушателям, губернатор прибавил, что его величество в неусыпных заботах о благе подданных решил положить предел финансовому беспорядку, грозящему подорвать основы торговли и промышленности империи. Единственным средством против такого зла является окончательное и непреложное установление ценности серебряного рубля[122]. Указ императора произвел эту революцию — на бумаге, по крайней мере,— в один день. И губернатор закончил свою речь призывом немедленно осуществить реформу, проведение которой поручено ему, губернатору, и всем должностным лицам империи. Он, губернатор, надеется, что никакие соображения личного характера не возобладают над долгом немедленного и беспрекословного повиновения монаршей воле.

Мудрые эксперты ответствовали, что мера эта, сама по себе превосходная, может, однако, подорвать самых крепких купцов, ежели применить ее к прежде того заключенным сделкам, платежи по которым должны быть произведены на нынешней ярмарке. Благословляя государя и преклоняясь пред его глубокой мудростью, они почтительнейше указали губернатору на то обстоятельство, что те из купцов, которые продали товары на прежние рубли, могут потерпеть огромные убытки, если им уплатят новыми денежными единицами, хотя эти платежи и будут законными по новому указу. Поэтому, говорили купцы, если указ получит обратное действие, то это повлечет за собой множество частичных и полных банкротств.

Выслушав мнение негоциантов, губернатор с чрезвычайной кротостью заявил собравшимся, что он вполне понимает опасения гг. купцов, но что, в конце концов, столь печальные последствия финансовой реформы угрожают только некоторым частным лицам, которых, впрочем, в достаточной степени охраняют существующие законы против банкротов, тогда как отсрочка действия указа походила бы на сопротивление и повлекла бы за собой гораздо более опасные последствия, нежели несостоятельность нескольких отдельных лиц. Такой пример, поданный важнейшим торговым центром империи, нанес бы удар самым жизненным интересам государства. Он означал бы подрыв основ существующего строя. Поэтому, закончил губернатор, он надеется, что господа коммерсанты постараются всеми силами избегнуть чудовищного упрека в том, что они интересы государства приносят в жертву своим личным выгодам.

В результате этого дружественного собеседования ярмарка открылась под знаком обратного действия пресловутого указа, который был торжественно опубликован по получении согласия и соответствующих обещаний первых негоциантов империи.

Все это рассказал мне сам господин губернатор в стремлении доказать, с какой мягкостью работает административная машина деспотического правительства, столь оклеветанного в либеральных странах Европы.

Я спросил у моего обязательного и любезного наставника в делах азиатской политики, каков же был результат правительственного мероприятия и рыцарского способа его проведения в жизнь?

— О, он превзошел все мои ожидания,— ответил губернатор с удовлетворенным видом.— Ни одного бан-

кротства, все новые сделки заключались по новой денежной системе. Но удивительней всего то, что ни один должник не воспользовался предоставленной законом возможностью погасить старые долги со злостным убытком для кредитора. Такой результат, должен сознаться, показался мне сначала поразительным. Но, подумав, я увидел здесь обычное русское лукавство: закон обнародован, и ему повинуются... на бумаге. Этого правительству довольно. Современное политическое положение в России можно определить в нескольких словах: это страна, в которой правительство говорит, что хочет, потому что оно одно имеет право говорить. Так, в данном случае правительство говорит: «Вот вам закон — повинуйтесь», но молчаливое соглашение заинтересованных сторон сводит на нет те его статьи, применение которых к прежним долгам было бы вопиющей несправедливостью. Таким образом, ловкость и смышленость подданных исправляет грубые и жестокие ошибки власти.

Я хранил молчание и видел, что Бутурлин наслаждается моим изумлением.

— Невозможно составить себе представление о величии императора,— продолжал губернатор,— пока не увидишь плодов его усилий, в особенности в Нижнем, где его величество совершает чудеса.

— Я преклоняюсь,— ответил я,— перед прозорливостью монарха.

— Ваше преклонение еще увеличится, когда мы с вами посетим работы, выполняемые по приказу его величества. Вы видите, как урегулирование денежной системы, которое в любой стране потребовало бы массы усилий, у нас благодаря энергии и широте взглядов государя совершается словно по волшебству.

Администратор-царедворец был скромен и не выдвинул своих собственных заслуг в этом деле. Равным образом он не дал мне времени повторить то, что твердят втихомолку злые языки, а именно, что финансовая операция, проведенная теперь русским правительством, дает высшей власти большие выгоды, о которых никто не смеет заикнуться вслух и которые должны возместить частной казне государя суммы, извлеченные оттуда на постройку за его личный счет Зимнего дворца. В свое время с великодушием, приведшим в восторг Европу и Россию, царь отверг предложение целого ряда городов и частных лиц, наперебой домогавшихся чести внести свою лепту в стоимость реконструкции национального

памятника архитектуры — национального потому, что является резиденцией монарха. Теперь царь вознаградил себя сторицей за свой великодушный порыв.

По этому образчику деспотического мошенничества вы можете судить о том, как низко здесь ценят правдивость и как нельзя верить высокопарным фразам о долге и патриотических чувствах. Чтобы жить в России, скрывать свои мысли недостаточно — нужно уметь притворяться. Первое полезно, второе необходимо.

Губернатор сдержал свое слово. Он во всех деталях показал мне работы, производимые в Нижнем по указу императора и имеющие целью исправить ошибки истории этого города. Великолепная улица будет проложена от берега Оки в верхнюю часть города. Для этого предстоит засыпать пропасти, сгладить крутые склоны и взорвать скалы. Огромные подземные сооружения поддержат площади, улицы и здания. Мосты, эспланады и террасы превратят Нижний в один прекрасный день в красивейший город в России. Все это грандиозно! Но вот что, наоборот, производит комическое впечатление: губернатор должен представлять на благовоззрение государя самое ничтожное изменение утвержденных планов, равно как и каждую деталь любой постройки или изменение фасада любого здания. «Что за человек!» — восклицают русские... «Что за страна!» — сказал бы я, если бы осмелился.

Дорогою Бутурлин сообщил мне интереснейшие сведения о русской администрации и о тех улучшениях, которые с каждым днем вносятся в положение крепостных общим прогрессом нравов и обычаев в России. В настоящее время крепостной может даже приобретать землю на имя своего господина, который не станет нарушать моральных обязательств, связывающих его с состоятельным рабом. Лишить этого раба плодов его труда и бережливости было бы злоупотреблением властью, на которое не решится ни один самый деспотический боярин в царствование императора Николая. Но кто мне докажет, что он не решится на это при другом монархе? Кто мне докажет, что даже при самом справедливейшем из справедливых (по словам Бутурлина) царе нет алчных рабовладельцев, открыто не грабящих своих крепостных, но втихомолку и потихоньку присваивающих себе их богатства?

Нужно побывать в России, чтобы оценить значение учреждений, ограждающих свободу граждан вне зависи-

мости от тех или иных душевных свойств монархов. Правда, разоренный помещик может защитить своим именем состояние разбогатевшего крепостного, которому закон не позволяет владеть ни клочком земли, ни даже заработанными им деньгами. Но это двусмысленное покровительство зависит всецело от прихоти покровителя. Своеобразны эти отношения между господином и рабом! С трудом верится в долговечность общественного строя, породившего столь причудливые социальные связи. И тем не менее строй этот прочен.

В России ничто не называется своим именем — слова и названия только вводят в заблуждение. В теории все до такой степени урегулировано, что говоришь себе: «При таком режиме невозможно жить». Но на практике существует столько исключений, что, видя порожденный ими сумбур противоречивейших обычаев и навыков, вы готовы воскликнуть: «При таком положении вещей невозможно управлять!»

По словам же милейшего нижегородского губернатора — нет ничего проще. Все дело в том, что злоупотребления властью стали чрезвычайно редки именно вследствие крайней строгости законов, на которых покоится общественный порядок. Каждый понимает, что, дабы сохранить уважение к этим насущно необходимым для сохранения целости государства законам, их должно применять лишь изредка и осторожно. Потому-то все носители власти очень редко прибегают к крутым мерам. Например, если какой-либо помещик позволяет себе предосудительные действия, начальник губернии не раз и не два сделает ему частным образом внушения, прежде нежели вмешаться официально. Если ни то, ни другое не подействует, дворянский суд пригрозит помещику отдачей под опеку, и, только если и предупреждение не возымеет действия, осуществит свою угрозу.

Весь этот избыток предосторожностей кажется мне не слишком утешительным для крепостного, который успеет сто раз умереть под палкой, прежде чем его господина, должным образом предупрежденного, наставленного на путь истинный, заставят дать отчет за все жестокости и издевательства. Правда, и помещик, и губернатор, и судьи могут быть на следующий же день сосланы в Сибирь. Но такая очень редко реализуемая возможность представляется мне скорее способом утешения несчастного народа, чем действительной гарантией против произвола.

В России низшие классы редко обращаются в суд за разрешением своих тяжб. Это инстинктивное нерасположение к суду кажется мне верным признаком несправедливости судей. Немногочисленность судебных процессов может быть следствием двух причин: либо духа справедливости у подданных, либо духа несправедливости у судей. В России почти все тяжбы прекращаются вмешательством администрации, которая советует сторонам закончить дело мировой сделкой, одинаково невыгодной и тягостной для обеих. Поэтому спорящие стороны стараются не прибегать к суду и предпочитают полюбовное соглашение даже в тех случаях, когда оно связано с необходимостью поступиться самыми законными притязаниями, ибо такой исход лучше, чем судебные мытарства. Отсюда видно, как мало имеют русские оснований гордиться редкостью судебных процессов в стране произвола и насилия.

Губернатор пожелал во что бы то ни стало показать мне всю ярмарку, но на этот раз мы ограничились быстрой прогулкой по ней в экипаже. Впрочем, я успел полюбоваться прекрасным видом на всю территорию средоточия русской торговли: панорама, развернувшаяся перед нами с вышки одного из китайских павильонов, была действительно великолепна.

На следующий день гостеприимный начальник губернии заехал за мной в своем экипаже, чтобы показать мне достопримечательности древнего города. Он был со своими слугами, что избавило меня от новых неприятностей с фельдъегерем, притязания которого губернатор находит заслуживающими уважения. Федьдъегеря моего, обладающего к тому же на редкость неприятной наружностью, я положительно не выношу. Меня преследует мысль, что в его лице я имею шпиона-телохранителя, которого побаивается сам всемогущий губернатор. Если этот высший представитель власти не смеет приказать курьеру занять отведенное ему по роду службы место в экипаже, то, спрашивается, чем можно объяснить подобную странность? Мы увидим сейчас, что даже сама смерть не служит залогом покоя в этой несчастной стране, беспрестанно терзаемой прихотями произвола.

Минин, освободитель России, чья память особенно прославляется после нашествия французов, похоронен в Нижнем Новгороде. Его могила находится в соборе среди могил удельных князей. Знамя Минина и Пожар-

ского — реликвия, высоко почитаемая в России,— хранилось в деревне между Ярославлем и Нижним. В тысяча восемьсот двенадцатом году, когда понадобилось подогреть энтузиазм солдат, эту хоругвь послали в армию, причем торжественно обещали ее хранителям, что по миновании надобности она будет возвращена. Однако после победы знамя это, вопреки всем обещаниям, было помещено в Московский Кремль на хранение, а обманутым крестьянам дали копию чудотворной святыни, причем снисходительно объяснили им, что копия эта в точности соответствует оригиналу. Вот вам недурной образчик честности русского правительства.

Этого мало. К исторической истине в России питают не больше уважения, чем к святости клятвы. Подлинность камня здесь также невозможно установить, как и достоверность устного или письменного слова. При каждом монархе здания переделываются и перестраиваются по прихоти нового властелина. И благодаря дикой мании, величаемой гордым титулом прогресса цивилизации, ни одно сооружение не остается на том месте, где его воздвиг основатель. Буря царских капризов не щадит даже могил. Император Николай, разыгрывающий из себя московского архитектора и перепланировывающий по своему вкусу Кремль, не новичок в этом деле. Нижний уже видел его за работой.

Войдя сегодня утром в собор, я почувствовал волнение от веющей в нем древности. Так как в нем покоится прах Минина, то его, думалось мне, не трогали по крайней мере лет двести. И эта уверенность еще увеличивала мое почтение к старинному зданию. В благоговейном молчании стояли мы перед усыпальницей героя.

— Это, безусловно, одна из самых прекрасных и самых интересных церквей, посещенных мною в вашей стране,— сказал я губернатору.

— Я ее выстроил,— ответил мне Бутурлин.

— Как? Что вы хотите этим сказать? Вы ее, очевидно, реставрировали?

— Ничего подобного. Древняя церковь совсем обветшала, и император признал за благо, вместо того чтобы ремонтировать, отстроить ее заново. Еще года два тому назад она стояла шагов на пятьдесят дальше и, выдаваясь вперед, нарушала правильность распланировки нашего кремля.

— Но прах Минина?! — воскликнул я.

— Его вырыли, так же как и останки князей. Те-

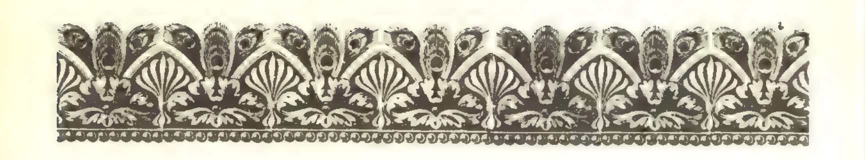
перь они покоятся в новом месте погребения, которое вы в настоящую минуту обозреваете [123].

Я воздержался от реплики, дабы не произвести революции в уме верноподданного слуги императора, и молча последовал за ним, продолжая осмотр Нижегородского кремля.

Вот в каком смысле понимают здесь почитание усопших, уважение к памятникам старины и культ изящных искусств. Но император, зная, что все древнее вызывает к себе особое благоговение, желает, чтобы выстроенная вчера церковь почиталась как старинная. Что же он делает? Очень просто: она — древняя, говорит он, и церковь становится древней. Новый собор в Нижнем Новгороде древний, и если вы сомневаетесь в этой истине, значит, вы бунтовщик.

По выходе из кремля губернатор повез меня в лагеря: мания смотров, парадов и маневров имеет в России характер повальной болезни. Губернаторы, подобно государю, проводят жизнь за игрой в солдатики. Любимейшее их занятие командовать военными экзерцициями, и чем больше у них солдат, тем сильнее они гордятся своим сходством в этом отношении с императором. В лагерях под Нижним стоят полки, состоящие из солдатских детей. Шестьсот человек пело молитву, и в надвигающихся сумерках этот хор рабов хватал за душу. А издалека глухо доносились ружейные залпы, своеобразно вторившие религиозным песнопениям.





Глава XXVII

Язвы, разъедающие империю. — Невольничество. — Кюстин вспоминает анекдоты. — Репетирующий ротмистр. — Плачевный отъезд из Нижнего. — «А почему он болен?» — Город Владимир. — Канцелярские недра. — Опять в Москве. — Встреча государя. — Бородинские торжества.

Крестьянские волнения растут: каждый день слышишь о новых поджогах и убийствах помещиков. На днях мне передавали об убийстве одного немца, недавно приобретшего имение и вздумавшего заниматься агрономическими улучшениями. Но пока до вас успеет дойти известие о каком-либо случае такого рода, проходит столько времени, что вы воспринимаете его как нечто давно прошедшее, и это ослабляет впечатление. И кроме того, сколь ни многочисленны подобные события, они остаются изолированными явлениями. Спокойствие государства, в общем, не нарушается, глубоких потрясений нет и, вероятно, еще долго не будет. Я уже говорил, что необъятность страны и усвоенная правительством политика замалчивания способствует успокоению. Прибавьте к этому слепое повиновение армии: «надежность» солдат основана главным образом на полнейшем невежестве крестьянских масс. Однако это невежество является, в свою очередь, причиной многих язв, разъедающих империю. И неизвестно, как выйдет нация из этого заколдованного круга. Можете себе представить, какая расправа уготована для виновников! Впрочем, всю Россию в Сибирь не сослать! Если ссылают людей деревнями, то нельзя подвергнуть изгнанию целые губернии.

Отмечу мимоходом своеобразное смешение понятий, укоренившихся в умах у русского народа благодаря крепостному праву. При таком порядке вещей (если к невольничеству вообще может быть применено слово

«порядок») человек чувствует себя связанным тесными узами с землей, потому что его продают вместе с ней. И вот, вместо того чтобы признать, что это он к ней прикреплен, что он принадлежит, так сказать, земле, при помощи которой другие люди распоряжаются им, крестьянином, как вещью, вместо этого он воображает, что земля принадлежит ему. Конечно, такая концепция является, в сущности, оптической иллюзией: ибо, хотя он и считает себя земледельцем, он тем не менее не может себе представить, что можно продать землю, не продавая тех, кто на этой земле живет. Поэтому при каждом переходе в руки нового господина он не говорит себе, что землю продали новому хозяину, а воображает, что сначала продали его самого и затем уже, в виде какого-то неизбежного приложения, передали его собственную землю, на которой он родился, которую он возделывает трудами рук своих.

Пропасть между рабом и господином здесь так велика, что у последнего положительно начинает кружиться голова. Он настолько выше простых смертных, что не на шутку считает себя сделанным из иного теста, нежели другие, «простые» люди. Следующий случай служит к этому недурной иллюстрацией.

Один неимоверно богатый русский барон ехал однажды из Италии в Германию. По дороге в каком-то городишке он довольно опасно заболел. Позвали лучшего местного эскулапа. Сначала больной подчинился предписанному лечению, но спустя несколько дней, когда, несмотря на лечение, болезнь усилилась, ему наскучило послушание. Он вскочил с постели и закричал во весь голос: «Не понимаю, как этот шарлатан меня пользует! Вот уже три дня меня пичкают лекарствами, и все без толку! Что это за доктора ко мне послали? Он, очевидно, не знает, кто я такой!»

Раз я уже начал рассказывать анекдоты, позволяю себе привести еще один, совсем в другом духе, но тоже характерный в своем роде. Он показывает, какое ребячество мыслей господствует в высшем кругу русского общества. Дело происходило в подмосковном имении знатного и богатого русского барина, человека пожилого и пользующегося большим уважением всей округи. В имении был расквартирован гусарский эскадрон вместе с офицерами. Приближалась Пасха, празднуемая русскими с большой торжественностью. Все члены семьи, а также их друзья и соседи присутствуют на богослужении, проис-

ходящем ровно в полночь. Магнат, о котором идет речь, ожидал большого съезда гостей в этот день, тем более что он недавно роскошно отделал приходскую церковь.

И вот дня за два или за три до праздника он просыпается среди ночи, разбуженный топотом лошадей и шуршанием колес на плотине. Его дворец, по распространенному в России обычаю, стоит на самом берегу небольшого пруда. Церковь расположена на другой стороне пруда в конце плотины, соединяющей дворец с приходским храмом.

Изумленный необычными ночными звуками, хозяин дома встает с постели, бежит к окну — и что же он видит при свете многочисленных факелов? Великолепную коляску, запряженную четверкой лошадей, в сопровождении верховых. Он узнает с иголочки новый экипаж и его владельца, одного из живущих у него в доме гусарских офицеров, молодого сумасброда, недавно разбогатевшего благодаря полученному наследству. Увидя, как он в полном одиночестве разъезжает глубокой ночью в открытом ландо, старый князь решил, что его гость сошел с ума. Со страхом он провожает глазами элегантный выезд и группу окружающих его всадников и видит, что необычайный кортеж направляется к церкви. Перед папертью все останавливаются, гусар торжественно выходит из коляски, причем слуги бросаются к дверцам и бережно поддерживают барина, хотя последний гораздо моложе и проворнее их. Едва коснувшись ступенек паперти, гусар столь же торжественно вновь входит в экипаж, который объезжает вокруг, вторично останавливается у церкви, и вся церемония начинается сначала. Такое времяпрепровождение продолжалось до рассвета. С первыми лучами зари офицер возвратился до дворец, отпустил лошадей, и все успокоились.

Утром старый князь первым долгом спросил у молодого ротмистра, что означали эти ночные путешествия.

— Ничего особенного, — ответствовал без малейшего смущения бравый гусар.— Видите ли, мои лакеи — новички в своем деле, а я, зная, что к вам на Пасху съедется множество знатных гостей, хотел сделать репетицию моего прибытия в церковь.

Мне остается рассказать о своем отъезде из Нижнего. Он был гораздо менее блестящ, нежели ночная прогулка гусарского ротмистра. Накануне отъезда я был с губерна-

тором в театре, где в почти пустом зале смотрел переведенный с французского водевиль, а после невыносимо скучного спектакля отправился с одним знакомым к цыганам. Там я получил большое эстетическое удовольствие от их песен и плясок и любовался не одним прелестным личиком. Между прочим, говорят, что женщины эти, хотя и полные огня, отнюдь не продажны и часто отвергают с презрением самые выгодные предложения.

Было далеко за полночь, когда мы ушли от цыган. Грозовые тучи неслись по небу, дождь лил как из ведра, и температура резко упала. Я был без пальто и дрожал, как осиновый лист, в открытом экипаже.

— Вот и лету конец,— заметил мой спутник.

— Я это слишком хорошо чувствую,— ответил я.

Днем я задыхался от жары, теперь же холод пронизывал до костей. Когда на следующее утро я хотел встать с кровати, у меня закружилась голова и я без сил упал на подушку. Неожиданное нездоровье было мне тем неприятнее, что я уже нанял судно для поездки в Казань, куда фельдъегерь должен был отправиться в моем тарантасе: обратно я предполагал ехать на лошадях.

Губернатор был так любезен, что навестил меня в моей берлоге. Наконец на четвертый день, видя, что недомогание увеличивается, я решил позвать врача.

— У вас нет лихорадки,— сказал он мне,— вы еще не больны, но наверное серьезно заболеете, если останетесь в Нижнем еще в течение трех-четырех дней. Я знаю влияние местного климата на некоторые организмы. Уезжайте поскорей — стоит вам отъехать на каких-нибудь двадцать—тридцать верст, как вы почувствуете облегчение. А на следующий день вы будете здоровы.

— Но я не могу шевельнуться от страшных головных болей. А что будет со мной, если я принужден буду остановиться в пути?

— Пусть вас отнесут на руках до коляски. Начинаются осенние дожди. Повторяю вам: я за вас не отвечаю, если вы останетесь в Нижнем.

Этот врач был человек опытный и знающий. Я последовал его совету, и на другой же день, под проливным дождем, гонимый ледяным ветром, я выехал из Нижнего. Такая погода могла бы испугать и вполне здорового путешественника. Однако уже на второй станции предсказание доктора оправдалось, мне стало легче ды-

шать, а на следующее утро я встал здоровым человеком.

В то время как я лежал, прикованный к одру болезни в Нижнем, мой телохранитель-шпион томился вынужденным бездействием. Однажды утром он явился с визитом к Антонио, и между ними произошел такой диалог:

— Когда мы выезжаем?

— Не знаю. Мосье болен.

— Он действительно болен?

— А как вы думаете — он ради своего удовольствия лежит в постели и не выходит из комнаты — из той шикарной комнаты, которую вы ему нашли?

— Что с ним такое?

— Понятия не имею.

— А почему он болен?

Это «почему» достойно быть отмеченным. Фельдъегерь не может мне простить сцены в экипаже. С того дня он резко изменил свое поведение, и это доказывает мне, что даже у самых отъявленных лицемеров сохранились в глубине души остатки искренности. Мне даже нравится его злопамятность, ибо прежде я считал его недоступным никаким человеческим чувствам.

Город Владимир часто упоминается в истории, но он как две капли воды похож на другие русские города. И местность, по которой мы едем, все одна и та же: это лес без деревьев, перемежающийся городами без жителей. Когда я говорю русским, что их леса истребляются беспорядочно и что им грозит остаться без топлива, они смеются мне в лицо. Они высчитали, сколько десятков и сотен тысяч лет потребуется для того, чтобы вырубить лес, покрывающий огромную часть страны, и вполне удовлетворены такими статистическими выкладками. В отчетах губернаторов говорится, что в такой-то губернии имеется столько-то десятин леса. Отсюда путем простого сложения получаются головокружительные цифры. Но никому не приходит в голову проверить на месте, что представляют собой зарегистрированные на бумаге леса. В противном случае чаще всего наткнулись бы либо на тощий кустарник, либо на топи, поросшие камышом и папоротником. Между тем уже заметно обмеление рек, причина коего лежит в хищнической рубке деревьев вдоль их течения и в бессистемном сплаве леса. Но русские довольствуются пухлыми папками с оптимистическими отчетами и мало беспокоятся

о постепенном оскудении важнейшего природного богатства страны. Их леса необъятны... в министерских департаментах. Разве этого недостаточно? Можно предвидеть, что настанет день, когда им придется топить печи ворохами бумаги, накопленной в недрах канцелярий. Это богатство, слава богу, растет изо дня в день.

Между Владимиром и Москвой мы повстречали оригинальнейшую процессию: колоссального слона, окруженного кавалькадой всадников, кажущихся рядом с индийским элефантом кузнечиками, в сопровождении целого каравана верблюдов. Это — подарок шаха персидского императору Николаю. Встреча с этим кортежем едва не стоила мне жизни. Лошади, напуганные невиданным чудищем, понесли, и нас спасло только присутствие духа отважного Антонио: когда лошади, свернув с дороги, бросились на крутой скат выемки, в глубине которой лежало шоссе, и гибель казалась неминуемой, Антонио умудрился выскочить из тарантаса и в последний момент остановил лошадей. Я отделался только испугом, а наш экипаж пустячными повреждениями. Спустя четверть часа все было приведено в порядок, и мы могли пуститься дальше. Антонио спал безмятежным сном.

В Москве по-прежнему стояла тропическая жара, лето выдалось совершенно исключительное. Над городом неподвижным облаком повисла красноватая пыль, которая при заходе солнца давала замечательные эффекты освещения, напоминающие бенгальские огни. Особенно великолепен был в эти минуты Кремль, выделявшийся своими фантастическими очертаниями на кровавом фоне вечерней зари.

В Кремле идет лихорадочно спешная работа, да и вся Москва взволнована до последней крайности: ждут приезда государя, присутствующего на торжествах в Бородине. Император неподалеку отсюда и может прибыть с минуты на минуту. Уверяют, что он был вчера в Москве инкогнито. А вдруг он и сегодня здесь? Может быть, он приедет завтра. Эта неизвестность, эта надежда, это ожидание волнуют все сердца, оживляют все вокруг — словом, меняют всех и все. Москва, вчера торговый степенный город, сегодня сходит с ума от волнения, как мещанка, ожидающая большого вельможу. Три недели тому назад на улицах Москвы можно было встретить одних купцов, торопившихся по делу в тряских дрожках; сегодня Москва кишит роскошными каретами, раззолоченными мундирами. В театрах толпится знать и

ее челядь. Дворцы, всегда пустые и заброшенные, чистятся и сияют огнями. Цветники покрываются свежими цветами. Словом, Москвы не узнать. Наваждение так заразительно, что я сам боюсь превратиться в царедворца если не из расчета, то из любви ко всему чудодейственному.

Вчера я любовался иллюминованной Москвой. По мере того как сгущалась тьма, город расцвечивался огнями. Его магазины, театры, улицы выступали вереницами лампад из мрака. Этот день совпал с годовщиной коронации — вторая причина иллюминации (первая — бородинские торжества). Вообще у русских столько поводов чуть не ежедневно радоваться, что на их месте я бы даже не трудился гасить плошки.

Сам маг и волшебник в настоящую минуту творит чудеса в Бородине. Там только что возник целый город, и этот город, едва успевший родиться среди пустыни, исчезнет через неделю. Даже насадили парк вокруг дворца. Деревья, которым суждено умереть спустя несколько дней, были доставлены издалека с немалыми издержками. В уменье подделать работу времени русские не знают себе соперников. Как выскочки, у которых нет прошлого, они эфемерными декорациями заменяют то, что по самой своей природе внушает мысль о длительном существовании: вековые дубы — выкорчеванными деревьями, старинные дворцы — дощатыми сараями, обитыми роскошными тканями, сады — размалеванным холстом. На Бородинском поле было выстроено несколько театров и между воинственными пантомимами разыгрываются комедийные интермедии. Это еще не все: по соседству с городом императорским и военным возник город буржуазии. Но лица, построившие эффектные гостиницы, разорены полицией, с большим трудом выдающей разрешения на приезд в Бородино.

Программа торжества состоит в точном воспроизведении Бородинской битвы, называемой нами сражением под Москвой. Для того чтобы как можно ближе подойти к исторической действительности, со всех концов империи созвали всех ветеранов 1812 года, принимавших участие в знаменитом сражении. Можно себе представить удивление и горе несчастных стариков, отторгнутых вдруг от близких, от лона семьи, где они мирно доживали свой век, вспоминая минувшие славные дни. Они должны разыграть на потеху зрителей страшную трагедию битвы, в которой они проливали

кровь за родину. Если бы кто хотел нарисовать карикатуру на военное дело, он бы не мог выдумать лучшего сюжета. Почти все эти старики, грубо пробужденные на краю могилы, уже много лет не садились на коня. И вот в угоду монарху, которого они в глаза не видели, они принуждены вновь исполнять давно забытые роли, совсем отвыкнув от своего ремесла. Бедняги так боятся не угодить своенравному повелителю, что, говорят, предстоящая имитация сражения пугает их больше, чем в свое время настоящий бой. Это никому не нужное представление, эта комедия войны добьет солдат, пощаженных битвами и годами,— жестокое развлечение, достойное преемника того царя, который впустил живых медведей на маскарадной свадьбе своего шута. Царь этот звался Петром Великим. Подобные развлечения имеют один источник — презрение к человеческой жизни.

Император мне разрешил, то есть, иначе говоря, приказал присутствовать на бородинских торжествах. Но я чувствовал, что недостоин такой милости: во-первых, мне сначала не пришло в голову, как трудна будет роль француза в этой исторической комедии; далее, мне пришлось бы восхищаться варварскими работами — постройкой нового дворца,— грозящими обезобразить чудесный Кремль, и, наконец, я не могу забыть несчастную княгиню Трубецкую. По всем этим причинам я решил остаться забытым, что было не столь трудно. Гораздо труднее, пожалуй, было бы добиться разрешения на проезд в Бородино, судя по хлопотам многих французов и других иностранцев, тщетно добивающихся разрешения.

Дело в том, что полиция бородинского лагеря вдруг стала необычайно строга. Сугубые предосторожности, по слухам, объясняются тревожными известиями. Под пеплом свободы везде тлеет огонь мятежа. При таких обстоятельствах я сильно сомневаюсь, удалось ли бы мне добиться пропуска, несмотря на личное приглашение государя, сказавшего мне на прощальной аудиенции в Петергофе: «Я буду очень рад увидеть вас в Бородине».

Я написал одному приближенному к императору лицу, что, к глубочайшему сожалению, не могу воспользоваться милостью его величества, позволившего мне присутствовать на маневрах, и указал на болезнь глаз как на причину моего вынужденного отказа. И, действительно, глаза мои болят до сих пор, а на Бородинском поле, говорят, стоит такая невероятная пыль, что я, пожалуй, рисковал бы ослепнуть [124].



Глава XXVIII

Приготовления к отъезду. — Злоключения соотечественника. — Тщетные попытки освободить Пернэ. — Участие Баранта. — Рассказ Пернэ. — Московские застенки. — Беседа с Бенкендорфом. — Прощальное слово России.

В ту минуту, когда я собирался покинуть Москву, случилось происшествие, поглотившее все мое внимание и заставившее меня отложить отъезд на некоторое время.

Я заказал почтовых лошадей к семи часам утра. К величайшему моему удивлению, Антонио разбудил меня в четыре часа. На мой вопрос, чем объясняется такая странная спешка, он ответил, что хотел, не откладывая, сообщить мне только что полученное им известие, представлявшееся ему чрезвычайно серьезным. Вот в нескольких словах его рассказ.

Только что был арестован один француз, господин Луи Пернэ, приехавший в Москву несколько дней тому назад. За ним явились среди глубокой ночи, отобрали его корреспонденцию и отвели в городскую тюрьму, где посадили в карцер. Об этом случае рассказал слуга нашей гостиницы моему камердинеру. Антонио узнал также, что Пернэ — молодой человек лет двадцати семи, отличающийся слабым здоровьем, что он жил уже в прошлом году в Москве, даже гостил в имении у одного своего знакомого русского, который в настоящее время куда-то уехал, так что у несчастного арестованного нет никого, кто бы мог о нем позаботиться, кроме некоего господина Р., с которым он, говорят, путешествовал по северу России. Фамилия господина Р. показалась мне знакомой. Я припомнил, что видел его на обеде у нижегородского губернатора, где он поразил меня своим бронзовым, мужественным лицом и чрезвы-

чайной молчаливостью. От всей его фигуры веяло несокрушимой силой и спокойствием. История, рассказанная Антонио, показалась мне довольно фантастической. Однако я поспешил встать и лично расспросил слугу, принесшего эти сведения. Тот мне подтвердил рассказ Антонио слово в слово. Оказывается, он был в гостинице в момент ареста господина Пернэ и собственными глазами видел полицию и арестованного.

Едва успев одеться, я отправился к господину Р., живущему в одной гостинице с попавшим в беду французом. На этот раз бронзовый великан не блистал спокойствием. Я застал его уже одетым. По-видимому, он был сильно взволнован. Узнав о цели моего раннего визита, он заметно смутился.

— Правда,— сказал он,— я путешествовал с господином Пернэ, но это объясняется чистой случайностью. Мы встретились в Архангельске и оттуда выехали вместе. В пути я оказывал ему кое-какие услуги, так как он человек болезненный. Вот и все. Я отнюдь не принадлежу к числу его друзей и почти его не знаю.

— Я знаю его еще меньше, чем вы,— возразил я,— однако мы все трое — французы и должны помогать друг другу в стране, где каждому из нас угрожает подобная участь.

— Может быть, — продолжал Р., — господин Пернэ навлек на себя эту кару каким-нибудь неосторожным поступком. Я здесь человек чужой, иностранец, никто меня не знает, чем я могу ему помочь? Если он невиновен, арест не будет иметь никаких последствий. Если он виновен, он понесет заслуженное наказание. Я ничего не могу для него сделать и вам, мосье, не советую вмешиваться в эту историю.

— Но кто будет судить о его виновности?! — воскликнул я.— Прежде всего его нужно было бы повидать, чтобы лично от него услышать, чем он объясняет свой арест, и узнать, что можно для него сделать.

— Вы забываете, в какой стране мы с вами находимся. Он сидит в карцере. Как до него добраться? Это совершенно невозможно.

— Так же невозможно и то,— сказал я, вставая,— чтобы французы покинули своего соотечественника на произвол судьбы в таком критическом положении, не пытаясь даже узнать о причине случившегося с ним несчастья.

Уйдя от этого осторожного и осмотрительного субъек-

та, я начал думать, что случай с господином Пернэ более серьезен, чем мне показалось с первого взгляда. Поэтому я решил отправиться к французскому консулу, дабы выяснить истинное положение дела. Я приказал отправить обратно почтовых лошадей, нанял карету и около десяти часов утра уже сидел у консула.

Но официальный защитник французских граждан оказался еще благоразумнее и осторожнее Р. Очевидно, за время пребывания в России консул основательно обрусел. Я так и не понял, продиктованы ли его ответы страхом, основанным на знакомстве с нравами и обычаями страны, или на уязвленном самолюбии.

— Господин Пернэ,— сказал мне консул,— прожил пять месяцев в Москве и за все это время не счел нужным даже засвидетельствовать свое почтение французскому консулу. Поэтому теперь он должен рассчитывать только на себя, чтобы выпутаться из положения, в которое он попал благодаря собственной беспечности. Это слово,— прибавил он с ударением,— быть может, недостаточно сильно.— И в заключение повторил, что он не должен, не хочет и не может вмешиваться в это дело.

Все мои доводы и уговоры были тщетны. Господин консул твердо стоял на своем. В общем, мой второй визит оказался еще неудачнее первого.

Однако я не мог на этом успокоиться. Мое живое воображение рисовало всякие ужасы, и хотя я и знал, что русские тюрьмы выстроены в классическом стиле, как и все прочие общественные здания, я почему-то представлял себе темницу бедняги француза в виде подземелья готического замка с соответствующим ассортиментом пыток. Жуткие видения обступали меня со всех сторон, и я чувствовал, что должен во что бы то ни стало помочь несчастному и сделать все, что было в моих силах. Проникнуть к нему в тюрьму было невозможно, попытка была бы и бесполезна, и даже, быть может, опасна. После долгих и мучительных размышлений я остановился на другом плане действий. Будучи знаком с некоторыми влиятельными лицами, я решил переговорить откровенно с одним из них, внушавшим мне наибольшее доверие. Само собой разумеется, я не могу здесь назвать его фамилию.

Увидя меня, господин N сразу понял, что меня к нему привело, и, не давая мне раскрыть рта, он поспешил сообщить, что лично знает господина Пернэ, считает его ни в чем не повинным и не понимает, в чем дело. Но, добавил он, только политическими соображениями

можно объяснить его арест, так как русская полиция лишь в крайних случаях сбрасывает маску. По-видимому, думали, что никто не знает молодого француза. Теперь же, когда гроза уже разразилась, его друзья могут только ему повредить, так как при наличии «покровителей» постараются как можно скорее его удалить. Поэтому в интересах самого «пациента» нужно действовать как можно осторожнее. «А если его сошлют в Сибирь,— воскликнул господин N, — то один бог знает, когда он вернется!» Затем этот господин постарался мне растолковать, что он сам ничего не может предпринять в пользу арестованного, так как его самого подозревают в либеральном образе мыслей, и его заступничества было бы достаточно, чтобы отправить узника на край света. Закончил он так: «Вы ему не друг, не враг, для вас он только попавший в беду единоплеменник. Все, что вы могли, вы уже сделали для него — вы говорили с его знакомым, с консулом, со мной. Теперь, поверьте мне, лучшее, что вы можете сделать, это уехать в Петербург и там ходатайствовать за него перед нашим посланником. Меры, предпринятые через министра таким человеком, как господин Барант, окажутся гораздо действительнее, чем все ваши попытки в Москве. Здесь абсолютно ничего нельзя поделать».

Я попробовал возражать, но скоро понял, что моя настойчивость только раздражает господина N, как он ни старался скрыть свою досаду обычной вежливостью. Пришлось смириться и отложить дальнейшие хлопоты до Петербурга. Поблагодарив господина N, терпение которого, видимо, почти уже истощилось, за добрый совет, я откланялся и поспешил заняться приготовлениями к отъезду. Проволочки моего фельдъегеря, решившего, очевидно, на прощание свести со мной счеты, привели к тому, что выехали мы только около четырех часов дня. Злая воля фельдъегеря порождала всякого рода инциденты, случайные или вызванные этой злой волей; нехватка лошадей, задержанных на всех станциях для свиты государя и курьеров, непрерывно сновавших между Петербургом и Москвой,— все это сделало мое путешествие медленным и тягостным. В своем нетерпении я не хотел останавливаться на ночлег, но выгадывал на этом немного. Только на четвертый день добрались мы до Петербурга.

Прямо с дороги я бросился к господину Баранту. Он ничего не знал об аресте Пернэ и очень удивился,

узнав, что мое путешествие длилось четыре дня. Его удивление усилилось, когда я рассказал ему о поведении французского консула в Москве.

Участие, с которым господин Барант выслушал мой рассказ, его уверения, что он примет все меры к выяснению всего дела несчастного Пернэ и до тех пор не успокоится, пока не распутает всех нитей интриги, его внимательное отношение к участи французских граждан во всех случаях и в особенности тогда, когда дело идет о достоинстве Франции, успокоили мою совесть и рассеяли преследовавшие меня страшные призраки. Судьба господина Пернэ была в надежных руках его естественного покровителя и защитника. Я чувствовал, что я, скромный путешественник, сделал все, что было в моих силах, и что мои хлопоты не пропали даром. В течение нескольких дней моего последнего пребывания в Петербурге я считал своим долгом больше не упоминать имени господина Пернэ в присутствии господина французского посланника и уехал из России, не зная чем закончилась трагическая история, начало которой так сильно заняло мои мысли и чувства.

Но в то время как моя коляска быстро и свободно неслась по направлению к Франции, мысли мои невольно возвращались к темницам Москвы. Если б я знал, что там происходит, волнение мое было бы еще сильнее...

Чтобы не оставить читателя в неизвестности относительно судьбы московского узника, расскажу о том, что я узнал о нем шесть месяцев спустя, уже живя в Париже.

Однажды в конце зимы 1840 года мне доложили, что меня желает видеть какой-то неизвестный. Я просил узнать его фамилию. Мне говорят, что он хочет назвать ее лично мне. Я отказываюсь его принять. Мне приносят записку без подписи. В ней сказано, что я не могу не принять человека, обязанного мне своей жизнью. Я приказываю впустить незнакомца. Войдя, он обращается ко мне со следующими словами:

— Мосье, я только вчера узнал ваш адрес и сегодня поспешил к вам. Моя фамилия Пернэ. Я пришел вас поблагодарить, потому что в Петербурге мне сказали, что своим освобождением и, следовательно, жизнью, я обязан вам.

Вот что он мне рассказал.

Он пробыл в московской тюрьме три недели, из которых четыре дня в карцере. Первые два дня его оставляли без пищи. Представьте же себе его душевное состоя-

ние! Его никто не допрашивал, он сидел в одиночке. В течение сорока восьми часов он думал, что его ожидает смерть. Единственными доносившимися до него звуками были удары розог, которыми с пяти часов утра до позднего вечера секли крепостных, отправляемых в тюрьму их господами для телесного наказания. Прибавьте к этим страшным звукам вопли, плач и крики жертв, ругань и угрозы палачей — и вы получите слабое представление о нравственных пытках несчастного Пернэ. Он был уверен, что ему суждено до конца своих дней сидеть в этой тюрьме, иначе, рассуждал он, его не держали бы в таких условиях, ибо эти люди больше всего на свете боятся разоблачения их зверств. Только тонкая перегородка отделяла его от места, где происходили экзекуции. Розги, заменяющие теперь обычно кнут, при каждом ударе сдирают кожу так, что на пятнадцатом жертва почти всегда теряет силу кричать, и слышатся лишь протяжные и подавленные стоны. Ужасное хрипение истязаемых разрывало сердце нашего узника и предвещало ему участь, о которой он страшился даже думать.

Господин Пернэ знает русский язык, поэтому он понимал, за что наказывают несчастных. Сначали привели двух девушек, работавших у модной в Москве модистки. Их стегали в присутствии хозяйки, понукавшей палачей бить посильнее. Мегера обвиняла их в том, что они имеют любовников и осмеливаются — подумайте, какая дерзость! — приводить их к себе домой, то есть в дом модистки! Одна из девушек попросила пощады; было видно, что она умирает, что она исходит кровью. И тем не менее экзекуция продолжалась. Ведь она имела наглость утверждать, что виновата не больше самой хозяйки!.. Господин Пернэ уверял меня, что каждая из несчастных получила в несколько приемов по сто восьмидесяти розог. «Я слишком мучился, считая, поэтому не мог ошибиться в сумме», – прибавил он. Далее бесконечной вереницей шли крепостные, наказываемые за разные поступки, а чаще всего – из мести какого-нибудь приказчика или барина. Сплошная цепь диких зверств и насилий! Заключенный ждал ночи, как манны небесной, потому что только ночью за перегородкой воцарялась тишина.

Наконец после двух дней таких нравственных и физических мук Пернэ извлекли из карцера и, опять-таки без каких бы то ни было объяснений, переве-

ли в другую часть тюрьмы. Оттуда он написал Баранту письмо через одного генерала, на дружбу которого имел основания рассчитывать.

Это письмо не дошло до адресата, и тогда через несколько дней Пернэ спросил у генерала, почему он не переслал письма по назначению. Тот дал весьма сбивчивые объяснения и в конце концов поклялся на Евангелии, что письмо не попало и никогда не попадет в руки департамента полиции. Такова была небольшая услуга, оказанная Пернэ его другом.

Прошло три недели, мучения заключенного возрастали, ибо он имел все основания думать, что о нем вообще забыли. Три недели показались ему вечностью, и вдруг в один прекрасный день его выпустили без всяких объяснений причин ареста.

Повторные запросы, обращенные к начальнику московской полиции, нимало не осветили дела. Ему сказали только, что французский посланник потребовал его освобождения, и предложили покинуть пределы империи. По его просьбе ему было разрешено ехать через Петербург. Там он явился к посланнику, чтобы принести свою благодарность за избавление от тюрьмы и узнать наконец причину всей этой истории. Господин Барант уговаривал его не ходить к шефу жандармов Бенкендорфу [125], но напрасно: Пернэ испросил аудиенцию и получил таковую. Он сказал графу Бенкендорфу, что, потерпев столь серьезную кару, он хотел бы узнать, за что он был ей подвергнут, прежде чем покинуть Россию. Шеф жандармов коротко ответил, что советует не углубляться в этот предмет, и отпустил его, повторив приказание немедленно выехать из России.

Таковы сведения, сообщенные мне господином Пернэ. Этот молодой человек, как и все, кто жил некоторое время в России, принял чрезвычайно таинственный вид и говорит намеками и недомолвками. В России, можно сказать, таинственность заражает всех и все. Мне только удалось выпытать у него, что еще перед прибытием в Петербург, на пароходе, он откровенно излагал свои либеральные взгляды на русский деспотизм в присутствии неизвестных ему лиц. Он заверил меня, что не может вспомнить никакого другого обстоятельства, могущего объяснить его московские злоключения. Мы распрощались, и больше я его не видел.

Когда солнце гласности взойдет наконец над Россией, оно осветит столько несправедливостей, столько чудо-

вищных жестокостей, что весь мир содрогнется. Впрочем, содрогнется он несильно, ибо таков удел правды на земле. Когда народам необходимо знать истину, они ее не ведают, а когда наконец истина до них доходит, она никого уже не интересует, ибо злоупотребления поверженного режима вызывают к себе равнодушное отношение. Мысль, что я дышу одним воздухом с огромным множеством людей, столь невыносимо угнетенных и отторгнутых от остального мира, не давала мне ни днем, ни ночью покоя. Я уехал из Франции, напуганный излишествами ложно понятой свободы, я возвращаюсь домой, убежденный, что если представительный образ правления и не является наиболее нравственно чистым, то, во всяком случае, он должен быть признан наиболее мудрым и умеренным режимом. Когда видишь, что он ограждает народы от самых вопиющих злоупотреблений других систем управления, поневоле спрашиваешь себя, не должен ли ты подавить свою личную антипатию и без ропота подчиниться политической необходимости, которая в конце концов несет созревшим для нее народам больше блага, нежели зла?

Никогда не забуду я чувства, охватившего меня при переправе через Неман. В эту минуту я вполне оценил слова любекского хозяина гостиницы. Птичка, выпорхнувшая из клетки или ускользнувшая из-под колокола воздушного насоса, испытывает, вероятно, меньшую радость. Я могу говорить, я могу писать, что думаю!.. «Я свободен!» — восклицал я про себя.

Прекрасные дороги, отличные гостиницы, чистые комнаты и постели, образцовый порядок в хозяйстве, которым заведуют женщины, — все казалось мне чудесным и необыкновенным. Особенно меня поразил независимый вид и веселость крестьянского населения. Их хорошее настроение почти пугало меня — оно свидетельствовало о чувстве свободы, и я боялся за них, до такой степени я забыл европейские условия жизни. Безусловно, Пруссию трудно назвать страной вольности и распущенности, но проезжая по улицам Тильзита и Кенигсберга, я думал — уж не попал ли я в Венецию во время карнавала? И я вспомнил одного своего знакомого немца, который, прожив несколько лет в России, покидал ее наконец навсегда. Ехал он вместе со своим другом. И вот, едва взойдя на английский корабль, уже поднимавший паруса, они бросились друг другу в объятия и воскликнули, плача от радости: «Хва-

ла господу, мы можем свободно дышать и думать вслух!»

Не я один, конечно, испытываю такие чувства, вырвавшись из России — у меня было много предшественников. Почему же, спрашивается, ни один из них не поведал нам о своей радости? Я преклоняюсь перед властью русского правительства над умами людей, хотя и не понимаю, на чем эта власть основана. Но факт остается фактом: русское правительство заставляет молчать не только своих подданных — в чем нет ничего удивительного,— но и иностранцев, избежавших влияния его железной дисциплины. Его хвалят или, по крайней мере, молчат о нем — вот тайна, для меня необъяснимая.

Нужно жить в этой пустыне без покоя, в этой тюрьме без отдыха, которая именуется Россией, чтобы почувствовать всю свободу, предоставленную народам в других странах Европы, каков бы ни был принятый там образ правления.

Когда ваши дети вздумают роптать на Францию, прошу вас, воспользуйтесь моим рецептом, скажите им: поезжайте в Россию! Это путешествие полезно для любого европейца. Каждый, близко познакомившийся с царской Россией, будет рад жить в какой угодно другой стране. Всегда полезно знать, что существует на свете государство, в котором немыслимо счастье, ибо по самой своей природе человек не может быть счастлив без свободы.



Примечания

Настоящее издание «La Russie en 1839» является первым переводом мемуаров Кюстина на русский язык. Перевод выполнен с пятого французского издания («La Russie en 1839 par le Marquis de Custine. Cinquème édition, revue, corrégée et augmentée. Bruxelles, 1844. V. 1—4). Перевод подвергся значительным сокращениям. Это вызвано тем, что в книге Кюстина заключено много излишних семейных и автобиографических подробностей, чрезвычайно часты повторения, встречаются обширные и не всегда идущие к делу исторические экскурсы, и, наконец, что самое главное, книга Кюстина перегружена философскими размышлениями, утратившими решительно всякое (даже историческое) значение в настоящее время. Таким образом, в книге сохранено лишь то, что придает ей и сейчас значение историко-бытового документа. Соответственно с произведенными сокращениями произошла и иная разбивка на главы, подзаголовки к которым составлены редакторами.

[1] В середине 1838 года наследник, будущий император Александр II (1818—1881), отправился в длительное путешествие за границу. Знакомство с главными европейскими дворами Николай, подобно своим предшественникам, считал одним из главных предметов образования будущего государя. К тому же наследник страдал лихорадкой и грудной болезнью. Врачи предписали ему лечение в Эмсе, где он и пробыл целый месяц. Отзыв Кюстина о свите Александра не вполне справедлив, ибо в нее входили и такие люди, как Жуковский, выдающийся медик Енохин, молодой граф М. М. Виельгорский, талантливый юноша, о котором восторженно отзывался Гоголь. Но остальные спутники наследника вполне оправдывали впечатление Кюстина. Это были яркие представители николаевской школы, как генерал А. А. Кавелин, известный картежник граф А. В. Адлерберг, тогда адъютант цесаревича, другой его адъютант, В. И. Назимов, впоследствии знаменитый своими бесчинствами и зверствами в западном крае, граф Х. А. Ливен, совоспитанник Александра, А. В. Паткуль, по отзыву П. А. Плетнева, «из числа офицеров тысячами видимых» и т. д.

[2] В 1844 году А. О. Смирнова, известная приятельница Пушкина и Гоголя, из Парижа писала Жуковскому: «Отсюда еду на днях в Брюссель, посмотрю Бельгию и Голландию, а в Роттердаме сяду на пароход до Гамбурга, и так далее до благословенного Петрограда. Меня туда ничто не влечет, напротив, тоска забирает, когда подумаешь, что точно надобно вернуться. Никто более меня в сию минуту не оправдывает слов Кюстина» (Русский архив. 1902. № 5. С. 104).

[3] Пожар, уничтоживший пароход «Николай I», произошел в мае 1838 года. На борту его находился девятнадцатилетний И. С. Тургенев, который через много лет, в 1883 году, описал эту трагедию в очерке «Пожар на море». Из его рассказа следует, что большая часть экипажа и пассажиров спаслась благодаря распорядительности капитана.

[4] П. А. Плетнев в 1845 году вспоминал: «Князь Козловский служил при разных миссиях, знал прекрасно по-латыни, был, кажется, католик, всегда весел и остроумен, толстяк, гастроном, почти все лучшее на разных языках прочитал... О нем упоминает Кюстин в начале своего путешествия; к счастью, Козловский тогда уже был покойник, когда вышла книга, а то она повредила бы ему. Я несколько раз обедывал с ним у Соболевского вместе с Виельгорским, Пушкиным, Жуковским и Вяземским. Все мы очень любили его ум, веселый и практический» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Спб., 1896. Т. 2. С. 525–526). Князь Петр Борисович Козловский (1783—1840), выдающийся представитель своего времени, живший долгое время за границей. Он был посланником в Турине, потом в Штутгарте, после чего несколько лет служил в Англии. По отзывам современников, он «признан был одним из умнейших людей эпохи, в которой ум был не особенная редкость». Восторженные отзывы о нем оставил Вяземский. Наряду с большим умом и разносторонними знаниями Козловский был и остроумнейшим собеседником, так что «на него» созывали гостей. Высокоодаренный человек, настоящий «европеец», Козловский особенно тяготел к римской древности, будучи страстным поклонником Ювенала. Близко сошедшись с Пушкиным, он уговаривал его взяться за перевод Ювенала, и Пушкин в неоконченном наброске обращался к нему со словами:

Ценитель умственных творений исполинских,
Друг бардов Англии, любовник муз латинских...

[5] Барон Карл Карлович Унгерн-Штернберг (1730–1799), генерал-адъютант, крупный эстляндский помещик, часть владений которого была расположена на о. Даго. Будучи сторонником Петра III, он после переворота 1762 года впал в немилость и выехал за границу. Павел I вернул его из изгнания и приблизил к себе. Рассказ, записанный Кюстином со слов князя Козловского, принадлежит к числу исторических легенд.

[6] В это время, как и позднее, вплоть до Севастопольской войны, Балтийский флот действительно был почти вовсе пассивен. Порт, замерзавший в течение, конечно, не девяти, а лишь трех-четырех месяцев, создавал тяжелые, но преодолимые препятствия. Как известно, с самого своего зарождения Балтийский флот принимал деятельное участие в войнах, сперва со Швецией (1741–1743), затем с Пруссией (1756–1762), с Турцией (1768) и т. д. С 1803 года суда ежегодно отправлялись из Балтийского моря на восток с целью поддержки американских колоний. Одновременно начались кругосветные плавания (например, Крузенштерна). Балтийский флот насчитывал около 100 разных судов (кораблей, фрегатов, корветов, бригов и др.) и до 50 различных судов гребного флота.

Пренебрежительный взгляд на русский флот как исключительно на забаву государя, видимо, был широко распространен среди руководителей английской политики. Пушкин в своем дневнике (30 ноября 1833 года) записал разговор с секретарем английского посольства Блайем, называвшим русский флот «игрушкой». Несомненно,

что подобные отзывы о русских морских силах являлись результатом раздражения и тревоги Англии по поводу внешней политики Николая, агрессивное направление которой выступало достаточно ясно. В записи Пушкина его разговора с Блайем последний роняет следующее замечание: «Долго ли вам распространяться? (Мы смотрели карту постепенного распространения России.) Ваше место в Азии, там вы совершите достойный подвиг цивилизации». Лорд Дюргам (1792—1840), известный английский политический деятель, в 1832 году был послан в Россию с целью укрепления связи ее с Англией.

[7] Сфинксы эти в действительности являются не копиями, а подлинниками. Они были вывезены в 1832 году из Фив и установлены на пристани у Академии художеств, сооруженной по проекту архитектора К. Тона.

[8] Граф Петр Петрович Пален (1778—1864) — сын знаменитого графа П. А. Палена, главы заговора против Павла I. Участник всех войн, он сделал блестящую военную карьеру. Будучи генерал-адъютантом, он в 1834 году сменил Поццо ди-Борго на посту русского посланника в Париже. Пален с замечательным тактом умел защищать интересы России в недоброжелательной Франции, где пользовался большим авторитетом. Сын цареубийцы, он умел сохранять свое достоинство и перед лицом государя, с которым ему случалось резко спорить и не соглашаться (см.: Русский архив. 1901. № 12. С. 467—468). Впоследствии Пален был генерал-инспектором всей кавалерии и членом Государственного и военного советов. См. о нем также с. 102.

[9] Памятник Петру I работы известного французского скульптора Этьена Мориса Фальконе (1716—1791) окончен был отливкой в 1775 году. В своей оценке этого замечательного произведения искусства, неоднократно воспетого русскими художниками слова и отмеченного всеми иностранными путешественниками, Кюстин оказался совершенно одинок.

[10] Исаакиевский собор начат еще при Екатерине II. Проект его был задуман настолько широко и помпезно, что, подобно большинству грандиозных замыслов императрицы, остался незавершенным. Павел I весьма спешил с окончанием обстройки города, одним из следствий чего явился скромный кирпичный куполок, неудачно венчавший Исаакий. В царствование Александра I все церковное зодчество сосредоточилось на создании Исаакиевского собора. В результате специального конкурса, в котором участвовали все выдающиеся зодчие, одержал верх проект Монферрана, требовавший огромных затрат, вследствие чего постройка подвигалась крайне медленно и осуществление ее затянулось снова на многие годы. Привычный вид Исаакия в лесах дал повод к сочинению злой эпиграммы, приписывавшейся Пушкину:

Сей храм трех царств изображенье —
Гранит, кирпич и разрушенье.

[11] Зимний дворец впервые был выстроен Петром I в 1711 году. Вслед за тем, в 1721 году, архитектором Маттернови был построен новый дворец. Позднее он постоянно перестраивался и расширялся, и лишь в 1768 году Растрелли закончил всю постройку дворца, ставшего постоянной резиденцией царской семьи. В декабре 1837 года из-за неосторожности возник пожар, уничтоживший весь дворец. Удалось отстоять только Эрмитаж и спасти драгоценности. Тогда-то по приказанию Николая I в год с небольшим по проектам архитекторов Штауберта и Стасова дворец восстановлен в прежнем виде,

еще с большей роскошью. Эта поспешность сопровождалась неизбежными жертвами, о которых рассказывает Кюстин.

[12] Версаль — резиденция французских королей до Великой революции. В царствование Людовика XIV (1643—1715) в нем был построен великолепный дворец, положивший начало славе Версаля. Короли французские не щадили средств на украшение города, не имевшего себе равных по пышности и роскоши. По исчислениям французских историков, Версаль обошелся народу более $4^{1}/_{2}$ миллиардов франков.

[13] Барон Сигизмунд Герберштейн (1486—1566), германский дипломат, дважды побывавший в России, в 1517 и 1526 годах. Его главное сочинение, «Moscoviticarum Commentarii», явилось для Западной Европы первым источником сведений о России. Кюстин не преувеличивал значения «Истории» Карамзина. Смысл восторженных похвал, которыми было встречено ее появление, отчетливее всего сказался в известном афоризме Пушкина: «Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка Колумбом». Действительно, вопреки тому, что Карамзин отнюдь не был оригинален, являясь продолжателем исторической школы XVIII века и находясь в особенно тесной зависимости от «Истории» Щербатова, вопреки всем недостаткам его работы значение ее в развитии исторической науки огромно. Для массы читателей история России в самом деле оказалась новооткрытой Америкой, и через интерес к сочинению Карамзина это прошлое вошло в обиход русской образованности. О степени успеха «Истории» можно судить по одному тому, что первое издание ее, в количестве 3 тысяч экземпляров, разошлось менее нежели в месяц. Выписка из Герберштейна, приводимая Карамзиным и запомнившаяся Кюстину, имеет особый смысл. Она была необходима Карамзину для обоснования исторической давности русского самодержавия, которое, конечно, в XVI веке было далеко не таким, как в XIX веке. Тогда русский царь отнюдь не был абсолютным монархом. Многообразные условия социально-экономической жизни России сделали его таковым лишь к XVIII столетию. Карамзин не сумел отнестись критически к записи Герберштейна, понять ее исторический смысл и аргументировал ею в пользу исконной давности абсолютизма. Кюстин под влиянием Карамзина ссылается на того же Герберштейна для характеристики самодержавия Николая I, не замечая, что впадает в исторический анахронизм.

[14] Автор, конечно, поспешил со своим заключением. Он должен был бы вспомнить о декабристах, об их многочисленных эпигонах, о деле Герцена и Огарева, о беспрерывных крестьянских восстаниях, о частых волнениях рабочих. Все это как будто свидетельствовало о том, что русский народ (если не понимать под ним, подобно Кюстину, лишь придворную клику) весьма далек был от «опьянения своим рабством...».

[15] Кюстин разумеет закон о порядке государственной службы, изданный Петром I в 1722 году под названием «Табель о рангах». Закон состоял из расписания новых чинов по 14 классам, к каждому из которых были приписаны вновь введенные воинские, статские и придворные чины. Автор, несомненно, преувеличивает влияние введения табели о рангах. Чины существовали и прежде, и, по существу, изменилась лишь номенклатура. Эти древние чины — бояре, окольничьи, стольники и пр.— сохранялись и при новом законе, но пожалование их вновь было прекращено.

[16] Русское сценическое искусство к этому времени уже было отмечено именами Семеновых, Истоминой, Мочалова, Каратыгиных, Самойловых, Щепкина и др. Крепостные театры выдвигали выдающихся актеров, хотя обстановка в них была далеко не «тепличной».

[17] Великая княжна Мария Николаевна (1819—1876), дочь Николая I, в 1839 году вступившая в брак с герцогом Максимилианом Лейхтенбергским (1817—1852). Отец его, Евгений Богарнэ, — пасынок Наполеона, сын императрицы Жозефины от первого брака.

[18] Михайловский дворец выстроен в царствование Александра I для великого князя Михаила Павловича знаменитым архитектором Росси. Им же были разработаны проекты постройки площади и прилегающих к ней улиц. Но проекты эти были осуществлены в гораздо более скромных размерах.

[19] Статуя якобы Петра III, о которой говорит автор,— это, конечно, конный монумент Петра I в облачении римского императора, работы Растрелли-старшего. Вероятно, Кюстин знал, что эта статуя долго лежала в сарае, будучи наконец установлена по приказу Павла I. Должен был он знать и о другом поступке Павла, действительно клонившемся к унижению памяти его матери, именно о перенесении праха Петра III в Петропавловский собор и погребении его рядом с покойной императрицей. Эти два разнородных известия, ассоциировавшись в представлении Кюстина, видимо, и явились источником его грубой ошибки.

[20] Михайловский замок, построенный по проектам архитекторов Баженова и Бренна, закончен был всего за несколько месяцев до цареубийства 11 марта 1801 года. Павел хотел создать род крепости, в которой он мог бы укрыться от заговоров, всюду ему мерещившихся. Вскоре же после своего вступления на престол Павел дал почувствовать дворянству, что при нем оно не встретит столь же заботливого покровительства, какое оказывала «благородному» сословию Екатерина. Целый ряд мероприятий Павла (ограничение «Жалованной грамоты», указ о трехдневной барщине, массовые исключения дворян со службы и т. п.) являлся прямым нарушением привилегий, полученных дворянством в прошлое царствование и создавших ему монополистическое положение в государстве. Во внешней политике охлаждение Павла к Англии и сближение с Францией серьезным образом задевали насущные интересы дворянства, так как экономически Англия с Россией были связаны теснейшими узами. Антидворянские тенденции Павла были показателем острого столкновения феодально-крепостнических и буржуазных интересов, столкновения, в котором император не стал всецело на сторону того класса, к которому принадлежал сам. В результате среди дворянства создалось враждебное отношение к Павлу. Оно усиливалось еще благодаря суровому политическому режиму и личным качествам Павла. Таким образом, почва для заговора оказалась хорошо подготовленной. Заговорщики, в состав которых входили исключительно гвардейские офицеры во главе с военным губернатором столицы графом Паленом, предполагали заставить Павла отречься от престола в пользу Александра, косвенно участвовавшего в заговоре. Разбившись на два отряда, заговорщики в ночь с 11 на 12 марта 1801 года проникли в замок. Отряд, возглавляемый Паленом, занял главную лестницу замка и оставался здесь до самого конца. Другой отряд, предводительствуемый генералом Бенигсеном, пройдя потайным ходом, достиг спальни Павла. Кюстин смешал роли Бенигсена и Палена. При

первой же попытке Павла к протесту заговорщики набросились на него, и в происшедшей свалке Павел был задушен. Так велико было озлобление против него, столько накопилось личных обид и оскорблений, что заговорщики еще некоторое время после смерти Павла продолжали избивать его, уже мертвого, настолько изуродовав труп, что его пришлось долго украшать, дабы скрыть следы побоев. Это исступление заговорщиков совсем не вяжется с тем «холодным расчетом», о котором говорит Кюстин.

[21] Марсово поле (ныне площадь Жертв Революции) до конца XVIII века представляло собой луг, служивший иногда даже местом охоты для членов царской семьи. По приказанию Екатерины II луг был очищен и приспособлен для парадов, причем сперва получил название Царицына луга. Монумент Суворову, работы известного скульптора М. А. Козловского, установлен при Павле I.

[22] В Петербурге тогда должна была быть еще свежа память о страшном наводнении, происшедшем 7 ноября 1824 года, увековеченном в пушкинском «Медном всаднике». Другое, менее сильное, наводнение случилось в 1777 году. Возможно, что Кюстин имел в виду наводнение, постигшее город еще в пору его зарождения и едва не уничтожившее Петербург.

[23] Петропавловская крепость уже в XVIII веке исполняла функции каторжной тюрьмы. В 1790 году туда заключен был А. Н. Радищев. Около этого же времени выстроен Алексеевский равелин, создание которого диктовалось необходимостью иметь специальную тюрьму в связи с ростом количества «государственных преступников». В 1825—1826 годах крепость наполнилась декабристами. В бытность Кюстина в Петербурге в Алексеевском равелине еще содержался один из них — Г. С. Батеньков. Только в 1884 году правительство осознало неловкость и двусмысленность ближайшего соседства каторжной тюрьмы с Петропавловским собором, в котором находились царские могилы. Тогда была выстроена тюрьма в Шлиссельбурге. О жестоких условиях заключения в Петропавловской крепости во времена Николая I сохранился богатый материал в мемуарах декабристов и петрашевцев. «Петропавловская крепость, - писал декабрист А. М. Муравьев,— гнусный памятник самодержавия на фоне императорского дворца, как роковое предостережение, что они не могут существовать один без другого. Привычка видеть перед глазами темницу, где стонут жертвы самовластия, в конце концов непременно должна притуплять сочувствие к страданиям ближнего».

[24] Домик Петра Великого представляет собой низкое бревенчатое здание из двух комнат. Одна, где помещался образ Спасителя, позднее обделана мрамором, другая же сохраняла отделку и меблировку петровского времени. Скромность этого здания обусловливалась тревожным положением Петербурга в первое десятилетие XVIII века, находившегося под вечной угрозой шведского вторжения. Вследствие этого все силы были направлены к скорейшему созданию крепости. Петру некогда было думать о своем жилище. Позднее же, после полтавской победы, прославленная «простота» его не помешала царю построить для себя пышный и величественный Зимний дворец.

[25] Срок солдатской службы в это время установлен был в 25 лет Счастливцы, дотянувшие солдатскую лямку в каторжных условиях царской казармы, выходя из нее, оказывались в не менее трагическом положении. Правительство нисколько не заботилось обеспечить старость тех, кто на службе ему убил и лучшие годы, и самое здоровье.

Отставные солдаты, давно отвыкшие от мирного труда, больные и дряхлые, обрекались на полуголодное существование, обращаясь чаще всего в бездомных бродяг, пробавляющихся подаянием. Те, которых видел Кюстин, были еще наиболее удачливы — они имели верный кусок хлеба. Салтыков-Щедрин рассказывал о солдате, который за выслугою лет вернулся в родную деревню и, не найдя там ни кола ни двора, вынужден был ходить по базарам и ярмаркам с ученым зайцем, бившим в барабан и вытягивавшимся во фрунт. Этот отставной солдат, конечно, не выдуман, а списан с натуры.

[26] Николай I усердно старался убедить Европу в своей веротерпимости. Как раз в 1839 году он писал папе Григорию XVI: «Я никогда не перестану считать в числе первых моих обязанностей защищать благосостояние моих католических подданных, уважать их убеждения, обеспечивать их покой». Этот «покой», видимо, понимался государем весьма своеобразно. 1830-е годы отмечены жесточайшими гонениями на католиков и униатов, сопровождавшимися массовыми ссылками, истязаниями и убийствами.

[27] Станислав Понятовский (1732—1798), последний польский король, один из фаворитов Екатерины II, расположение которой он завоевал еще будучи польским посланником в Петербурге. По приказанию императрицы в 1764 году он был «избран» польским королем. При нем произошло три раздела Польши, и после третьего он вынужден был отречься от престола. Последние три года он прожил в Петербурге, всеми покинутый и забытый, не исключая и своей высокой покровительницы.

[28] Жан Виктор Моро (1763—1813), один из наиболее выдающихся генералов первой Французской республики. В 1800 году он был смещен Наполеоном, видевшим в нем опасного соперника. Опальный генерал удалился в Америку, откуда был вызван союзниками для руководства военными операциями против Наполеона. В битве под Дрезденом он был убит французским ядром.

[29] Французским послом при русском дворе состоял барон де Барант, известный историк, публицист и литератор. Это тот Барант, который незадолго перед смертью Пушкина переписывался с ним по вопросу о русском авторском праве. См. о нем с. 311

[30] Популярность Поль де Кока, вполне естественная в условиях николаевского режима, была настолько велика, что Сенковский, не обинуясь, ставил его на одну доску с Гоголем, что само по себе свидетельствует о состоянии литературных вкусов. В 1840 году Белинский со злой иронией советовал В. П. Боткину перевести всего Поль де Кока «и издать великолепно, ибо тут успех несомнителен». Господство на сцене водевиля обусловливалось, конечно, теми же причинами. Назначенный в 1839 году управляющим делами III отделения, а следовательно и драматической цензуры, Л. В. Дубельт подробно изъяснял элементы, присутствие которых на сцене недопустимо: личность монарха, его приближенные, иноземные влияния, преобладание черной краски над белой и т. д. и т. п. У драматургов неизбежно должен был возникнуть вопрос: о чем же, в таком случае, можно писать? Театральный цензор Е. Ольдекоп (некогда обокравший Пушкина на издании «Кавказского пленника») поучал драматурга: «Театр должен быть школой нравов, он должен показать порок наказанным, а добродетель вознагражденной. В этом отношении театр есть учреждение полезное и необходимое, удовольствие благородное и приятное». «Таким образом, — пишет историк театра, — лейтмотив пожеланий цен-

зуры... оптимистический. Жизнь может поражать ужасами, окружающее общество — несправедливостью, администрация — произволом, но драматурги должны давать публике одни лишь образчики благоустройства и нравственной чистоты» (*Дризен Н. В.* Драматическая цензура двух эпох. 1825—1881. Пг., 1916. С. 10). Если к сему добавить, что эти принципы свои цензура весьма ревниво применяла на деле, понятным станет, каков мог быть тогдашний репертуар.

[31] Александра Федоровна с 1826 года состояла шефом этого полка, который с 1831 года именовался «Кавалергардским имени ее императорского величества полком».

[32] Адмиралтейство, одно из красивейших зданий Петербурга, было построено в 1806—1811 годах знаменитым зодчим А. Д. Захаровым.

[33] Вопрос о запрещении продажи крепостных без земли ставился еще прежде. Закон же 1827 года, который, очевидно, имел в виду автор, лишал помещиков права обезземеливать своих крестьян. Закон требовал, чтобы при имениях оставалось земли не менее 4 ½ дес. на душу, нарушение чего должно было караться отобранием имения в казну. Теоретически закон этот был не лишен важности, но слабость его применения и всевозможные обходы лишали его, по существу, всякого значения.

[34] Крестьянские волнения в царствование Николая I были весьма обычным явлением. Происходившие повсеместно, во всех губерниях, где существовало крепостное право, они были вызываемы непомерной экономической эксплуатацией крестьян, жестоким обращением, принудительными переселениями. Иногда они принимали форму открытых восстаний против крепостного права в целом. Некоторые мероприятия Николая I в пользу крестьян были вызваны именно этими волнениями Но уступки, однако, не прекращали народного недовольства, и количество волнений росло с каждым годом.

[35] Иоган-Генрих Шнитцлер (1802—1871), историк и статистик. В 1820-х годах он жил в России и собрал богатый материал, легший в основу двух его первых капитальных трудов, снискавших автору литературную известность: «Essai d'un statistique générale de l'empire de Russie» (1829), «La Russie, la Finlande et la Pologne, tableau statistique, geographique et historique» (1835). В 1847 году он выпустил «Histoire de la Russie».

[36] Случаи, подобные приведенному Кюстином, не были исключением. В истории России есть много имен, начиная с Меншикова и Бирона, беспредельная власть которых внезапно обрывалась опалой и изгнанием. Иногда это являлось следствием государственного переворота, иногда же результатом победы противной партии. Но эпизод с Репниным изложен Кюстином неверно. Князь Николай Григорьевич Репнин-Волконский (1778—1845) не занимал исключительного положения, приписанного ему Кюстином. С 1816 по 1834 год он был малороссийским губернатором, пользовался широкой популярностью и уважением. Около этого времени на него был сделан донос о присвоении каких-то сумм. Оскорбленный клеветой, Репнин подал в отставку и выехал за границу.

[37] Действительно, медицинская наука в России в это время представлена была почти исключительно немецкими врачами, как извест-

ный Гильдебранд, Мойер и др. Блестящий хирург лейб-медик Н. Ф. Аренд был на вершине славы. При дворе состояли бесчисленные немецкие врачи: Стофреген, Шлегель, Раух, Рюль, Мандт и др. Но уже выдвигались и молодые русские врачи, между ними в первую очередь, конечно, Н. И. Пирогов. В 1827 году Николая I в путешествии по России сопровождал молодой русский хирург И. В. Енохин, причисленный в 1837 году к штату цесаревича. Говоря о лейб-медике, единственном порядочном русском враче, Кюстин имел в виду или Енохина, или почетного лейб-медика Д. К. Тарасова, присутствовавшего при смерти Александра I и оставившего интересные воспоминания. Последние были записаны им много позднее, но уверенность, с которой Кюстин говорит о том, что русские придворные врачи — хорошие мемуаристы, дает основание предполагать, что Тарасов в личной беседе с Кюстином делился своими воспоминаниями и тем самым привел собеседника к этой уверенности.

[38] Граф Иван Илларионович Воронцов-Дашков (1790—1854), член Государственного совета, обер-церемониймейстер и камергер.

[39] Бастилия — знаменитая государственная тюрьма в Париже, 14 июля 1789 года разрушенная революционным народом. Это событие знаменовало начало активного участия народных масс в Великой революции.

[40] На следующий день после восстания декабристов в Петербурге Александра Федоровна записала в свой дневник: «Я думала, что мы уже достаточно выстрадали и вынесли (в период междуцарствия.— *Ред.*). Но волею неба нам было суждено иное. Вчерашний день был самый ужасный из всех, когда-либо мною пережитых... Нельзя было скрывать от себя опасности этого момента. О, господи, уж одного того, что я должна была рисковать драгоценнейшей жизнью, было достаточно, чтобы сойти с ума... Боже, что за день! Каким памятником останется он на всю жизнь!..» Как известно, самая коронация долго откладывалась из-за нервной болезни императрицы, от которой она страдала всю жизнь.

[41] В 1722 году в отмену старого порядка наследования престола по семейному старшинству Петр I издал новый указ, согласно которому император должен был сам избирать себе наследника. После сего многие десятилетия престол российский замещался менее всего в зависимости от воли самих самодержцев. Закон этот просуществовал до 1797 года, когда Павел I восстановил право старшинства.

[42] Сикстинская капелла в Риме, построенная в 1473 году при папе Сиксте IV, одна из домовых церквей пап в Ватиканском дворце, знаменитая своей стенной и плафонной живописью. Другую славу капеллы составлял ее хор, долгое время считавшийся лучшим в мире. Для наибольшей свежести и чистоты звучания сопрановые и альтовые партии поручались кастратам. Miserere — церковное католическое песнопение.

[43] В середине XVIII столетия в Петербурге водворилась итальянская опера, пользовавшаяся большим успехом. Приглашенные при Екатерине II руководить ею два известных итальянских композитора — Сарти и Галуппи — сочиняли многочисленные песнопения для православной церкви на славянские тексты в стиле итальянской оперы. Этим они внесли в русскую церковную музыку совершенно новый элемент.

[44] Джиакомо Мейербер (1791—1864), знаменитый оперный композитор, автор «Роберта-Дьявола», «Гугенотов», «Африканки» и т. д. Он являлся создателем стиля «большой оперы», требовавшей значительного числа участников и пышной постановки.

[45] Митрополит Петербургский Серафим, в миру Стефан Васильевич Глаголевский (1763—1843). Это тот самый митрополит, который 14 декабря 1825 года выезжал уговаривать мятежников сложить оружие, на что солдаты советовали ему убраться восвояси, ибо здесь ему нечего делать. Впоследствии ходили слухи, что в суде Серафим особенно настаивал на смертной казни декабристам.

[46] Уверенность, с которой автор говорит о семейных добродетелях Николая I, производит впечатление забавного курьеза, свидетельствующего об артистическом лицемерии государя. Николай был чрезвычайно женолюбив, и фаворитизм процветал при русском царе. Не удовлетворяясь официальной, общепризнанной фавориткой В. А. Нелидовой, даже жившей во дворце, Николай дарил сугубым вниманием не только всех фрейлин и иных придворных дам и девиц, но очень часто оказывался весьма благосклонен и к случайным встречным из среднего сословия. Наблюдательный соотечественник Кюстина, живший в России, рассказывал, что, «если он [царь] отличает женщину на прогулке, в театре, в свете, он говорит одно слово дежурному адъютанту. Особа, привлекшая внимание божества, попадает под наблюдение, под надзор. Предупреждают супруга, если она замужем, родителей, если она девушка, о чести, которая им выпала. Нет примеров, чтобы это отличие было принято иначе как с изъявлением почтительнейшей признательности. Равным образом нет еще примеров, чтобы обесчещенные мужья или отцы не извлекали прибыли из своего бесчестья.

«Неужели же царь никогда не встречает сопротивления со стороны самой жертвы его прихоти?» — спросил я даму, любезную, умную и добродетельную, которая сообщила мне эти подробности. «Никогда! — ответила она с выражением крайнего изумления. — Как это возможно?» — «Но берегитесь, ваш ответ дает мне право обратить вопрос к вам». — «Объяснение затруднит меня гораздо меньше, чем вы думаете: я поступлю, как все. Сверх того, мой муж никогда не простил бы мне, если бы я ответила отказом» (цит. по: *Щеголев П. Е.* Дуэль и смерть Пушкина. М.; Л., 1928. С. 439). Н. А. Добролюбов в недавно опубликованной его статье «Разврат Николая Павловича и его приближенных любимцев» (Голос минувшего. 1922. № 1. С. 65) сообщал, что «нет и не было при дворе ни одной фрейлины, которая была бы взята ко двору без покушений на ее любовь со стороны или самого государя, или кого-нибудь из его августейшего семейства. Едва ли осталась хоть одна из них, которая бы сохранила свою чистоту до замужества. Обыкновенный порядок был такой: брали девушку знатной фамилии во фрейлины, употребляли ее для услуг благочестивейшего, самодержавнейшего государя нашего, и затем императрица Александра начинала сватать обесчещенную девушку за кого-нибудь из придворных женихов». Так складывалась интимная жизнь царской семьи, которой доверчиво восторгался Кюстин. Как известно, эти придворные нравы и обычаи послужили Л. Н. Толстому темой для его «Отца Сергия». В свете этих данных понятным делается и совет Пушкина жене не хлопотать о помещении сестер ко двору: «Коли и возьмут, то подумай, что за скверные толки пойдут по свинскому Петербургу... Мой совет тебе и сестрам — быть подале от двора: в нем толку мало».

[47] Венский конгресс, на который съехались все монархи, свергнутые и несвергнутые владетельные князья, дипломаты и пр., сопровождался беспрерывными дворцовыми выходами, концертами, спектаклями, маскарадами, пирами и пр., вплоть до инсценировок недавних кровавых сражений. Рассказанный Кюстином инцидент, происшедший на балу между царственными супругами и рисующий «рыцарственного» Александра отнюдь не с рыцарской стороны, вполне вероятен. Надо вспомнить постоянное пренебрежительно-холодное отношение Александра к жене, которое в Вене должно было разнообразиться еще и другим чувством. Там после долгой разлуки Елизавета Алексеевна встретилась со своим первым любовником, князем А. Чарторыйским. Дневник последнего свидетельствует, что встреча эта прошла для обоих далеко не бесследно. В дневнике читаем: «Она всегда первый и единственный предмет. Обмен кольцами. Ее доброта, ее чувства иного рода... Я предостерег относительно его [Александра] мысли о примирении... Пишу к ней... Мой разговор с императором. Поднимаю материю о ней...» Отсюда можно судить о характере отношений между супругами в это время.

[48] Уже с начала XIX века во Франции, в Англии, Италии и других европейских государствах стало широко применяться газовое освещение.

[49] Должно быть, супруга владетельного князя Мингрельского Николая Дадиана, в 1803 году принявшего подданство России на правах вассального владетеля. В 1837 году, в бытность свою на Кавказе, Николай I останавливался у князя Дадиана и потом вспоминал: «Нас приняла княгиня, жена владетеля, огромная и дюжая, на которую стоило только посмотреть, чтобы увериться, что распоряжается всем она, а не тщедушный ее супруг» (*Шильдер Н. К.* Николай I. Спб., 1903. Т. 2. С. 749).

[50] Здание Биржи задумано и начато еще в 1784 году знаменитым Кваренги, проектировавшим строго деловую постройку. Осуществление его проекта затянулось надолго. В 1801 году постройка была разрушена и заменена эффектным сооружением архитектора Томона в античном стиле.

[51] Лувр — величайшее парижское общественное здание, в котором собраны художественные ценности французского народа. Огромное по занимаемой площади (до 200 тысяч квадратных метров) и в течение более трех веков подвергавшееся постоянным перестройкам и достройкам, здание это в настоящее время подразделяется на «Новый Лувр» и «Старый Лувр». Последний — квадратный по плану, заключающий в себе такой же квадратный двор,— и имел в виду автор.

[52] Когда осенью 1784 года Екатерина задумала путешествие в Крым, Потемкин срочными приказами спешил инструктировать местных губернаторов о том, как обмануть императрицу и создать у нее выгоднейшее впечатление о состоянии завоеванного края. Выехала Екатерина лишь через три года, так что у администрации оказалось много времени для подготовки. Успех был полный. По возвращении Екатерина писала Потемкину, что не перестанет говорить «о прелестном положении мест вам вверенных губерний и областей, о трудах, успехах, радении, усердии, попечении и порядке, вами устроенном повсюду». А французский путешественник маркиз де Линь, ехавший

по следам Екатерины, тогда же писал: «Теперь я узнал, что значат искусные обманы: императрица, не будучи в состоянии выходить из кареты, должна верить, что некоторые города, коим она давала знатные суммы на построение, уже совсем кончены; между тем как мы часто находили сии же города без улиц, улицы без домов, дома без кровлей, окон и дверей. Императрице показывали одни каменные ряды, красиво выстроенные, одни колоннады губернаторских палат... В тех местах, по которым проезжала императрица, богатые декорации, нарочно для нее выстроенные, валились тотчас же после ее проезда».

[53] Сравнение Николая I с Петром было тогда чрезвычайно модно («Семейным сходством будь же горд») благодаря обманчивому представлению о духовной мощи Николая. Но, спеша поставить его на одну доску с его пращуром, конечно, мало кто мог решиться противопоставить Николая всем остальным монархам, получившим от Кюстина наименование «ненастоящих властелинов».

[54] Великая княгиня Елена Павловна (1806 -1873), урожденная принцесса Вюртембергская. Ученица Жуковского и Плетнева, она была женщиной высокоодаренной, интересной и образованной, выгодно отличаясь от прочих членов царской семьи. Даже Пушкин почитал ее «умной женщиной». После своего несчастного пожалования в камер-юнкеры он представлялся Елене Павловне и потом писал жене: «Я поехал к ее высочеству на Каменный Остров в том приятном расположении духа, в котором ты меня привыкла видеть, когда надеваю свой великолепный мундир. Но она так была мила, что я забыл и свою нещастную роль и досаду». Не в пример своим высоким родственникам, Елена Павловна умела ценить искусство, и в особенности литературу. Она была близка с Жуковским, Тургеневым, Плетневым, Одоевским. Последний рассказывал, что она «вечно училась чему-нибудь» (Русская старина. 1907. № 1. С. 54). Когда Пушкин лежал на смертном одре, Елена Павловна, единственная из членов царской семьи, сумела понять, какая несравненная потеря ждет Россию. Жуковский вспомнил, что «великая княгиня, очень любившая Пушкина, написала ко мне несколько записок, на которые я отдавал подробный отчет ее высочеству, согласно с ходом болезни». Позднее такое же участие Елена Павловна проявила и к делу музыкального образования в России, будучи в теснейшей дружбе с А. Г. Рубинштейном.

[55] София Гэ (1766- 1852), французская писательница, аристократка по происхождению и по вкусам. Она является автором ряда романов, посвященных мастерскому описанию дореволюционного общества и беспечной парижской жизни времен Директории. Ее дочь, Дельфина, в замужестве Жирарден (1805—1855), дебютировала в качестве поэтессы, а в 1830-х годах обратилась к романам, новеллам и трагедиям. Ни та, ни другая, конечно, никак не могли быть отнесены к числу первых величин французской литературы. Но зато о них можно было безбоязненно говорить при дворе русского императора, ненавидевшего современную Францию.

[56] Отношение правительства к современной французской литературе было резко отрицательным и подозрительным. Оно вытекало из общего недоверия к Франции, особенно усилившегося в начале 1830-х годов. Бенкендорф глубокомысленно внушал Николаю I, что вообще «с самой смерти Людовика XIV французская нация, более испорченная, чем образованная, опередила своих королей в намерениях и потребности улучшений и перемен; что не слабые Бурбоны шли во главе народа,

а он сам влачил их за собой». Подобными взглядами и определялось отношение правительства к французской литературе, подвергавшейся жестоким гонениям в России. В 1830 году была закрыта «Литературная газета» Дельвига за помещение незначительных стихов Казимира Делавиня. В дневнике 1830-х годов цензора А. В. Никитенко содержится множество подобных любопытных фактов. Так, в 1831 году цензура затруднялась пропустить перевод «Адольфа» Бенжамена Констана только из-за имени автора. В 1834 году министр лично запретил «Собор Парижской богоматери» Гюго. Через год Никитенко угодил на гауптвахту за то, что в «Библиотеке для чтения» пропустил стихотворение того же Гюго «Красавица», которое «привело в волнение монахов». Тогда же едва не пострадал столь «благонамеренный» писатель, как Греч. Он поместил в «Северной пчеле» либретто оперы «Роберт-Дьявол», не учтя изменений, внесенных по распоряжению государя. Николай велел передать ему, что «еще один такой случай — и Греч будет выслан из столицы». Немудрено, что «верноподданные» авторы спешили засвидетельствовать свою солидарность с правительством. Пресловутый Сенковский, наивно пытаясь сохранить хоть тень независимости, заверял, что «ненависть» его к новой французской школе есть плод свободного убеждения, что он всего больше ненавидит французских современных писателей за их вражду против семейного начала». И несмотря на все это, те, кто хотели, знакомились с новинками французской литературы. Никитенко свидетельствовал, что «нет ни одной запрещенной иностранною цензурою книги, которую нельзя было бы купить даже у букинистов».

[57] Модернизация Кремля началась еще после пожара 1812 года. В данном случае имеется в виду, конечно, Николаевский дворец, переделка которого представляет неудачное смешение старинной и современной архитектуры.

[58] Граф Карл-Людвиг Фикельмон (1777—1857), занимавший пост австрийского посланника с 1829 по 1840 год.

[59] Минеральный кабинет, из которого впоследствии выросли Геологический и Минералогический музеи Академии наук, основан в 1716 году. Он родился из известного «Кунсткамера» Петра I, пополнявшегося коллекциями «редкостей», скупавшимися царем во время заграничных путешествий. Наряду с этим Петр издал указ о доставлении в «Кунсткамер» всяких редкостей, находимых в России. В 1747 году большой пожар, происшедший в Академии, уничтожил значительную часть коллекции Минерального кабинета, который пришлось создавать почти заново. Но он рос чрезвычайно быстро. В нем были представлены далеко не одни богатства уральских рудников, но и экспонаты, вывезенные со всех концов России, из кругосветных путешествий Гофмана, Коцебу и др., из Северной Америки, Новой Земли, Египта и т. д. Незадолго перед приездом Кюстина Минеральный кабинет переехал в помещение, занимавшееся им до последнего времени, но сперва был крайне стеснен соседством других академических учреждений.

[60] Старый Большой театр, выстроенный Томоном, сгорел в 1811 году. Новое здание было закончено в 1818 году по проекту архитектора Модюи. Перед самым приездом Кюстина театр подвергся новым переделкам, произведенным Кавосом. Позднее в этом здании, после капитальной переделки, разместилась Консерватория. В те времена существовал обычай, согласно которому дамы, принадлежавшие к высшему обществу, должны были сидеть в ложах, мужчины же в первых рядах кресел. Демократическая часть публики занимала ряды партера.

[61] Рассказ о восстании декабристов, записанный Кюстином со слов Николая I, чрезвычайно далек от истины, но вместе с тем и весьма характерен. Кюстин не обратил внимания на кажущееся противоречие: тогда как не только император, но и все собеседники Кюстина в разговорах с ним старательно обходили все скользкие места русского прошлого (и не только такие относительно близкие, как польское восстание, но и «дела давно минувших дней» — обстоятельства воцарения Екатерины II, смерть Иоанна VI и пр.), Николай сам заводил с ним пространный разговор о 14-м декабря. И это было, конечно, далеко не случайно. Николай воспользовался случаем напомнить Европе старую официальную легенду о событиях. Она была создана 14 лет назад, в тот самый день, когда, под грохот выстрелов блуждая по Зимнему дворцу, Мария Федоровна восклицала: «Господи, что скажет Европа!» В этом смысле запись Кюстина не прибавляла, по существу, ничего нового. Еще 20 декабря 1825 года на приеме дипломатического корпуса Николай заявил о своем желании, «чтобы Европа узнала всю истину о событиях 14 декабря». «По возвращении из чужих краев, — объяснял он,— несколько офицеров, проникшись революционными учениями и смутным желанием улучшения, начали мечтать о преобразованиях...» Совершенно согласно с позднейшими разъяснениями Кюстину Николай говорил, что «в верности солдата его клятве вожаки и могли только найти единственное средство ввести его в заблуждение на одно мгновение. Ни к какому иному соблазну и не прибегали...» (*Шильдер Н. К.* Николай I. Т. I. С. 340—341). Если это упрощенное толкование роли солдат еще могло кого-нибудь обмануть 20 декабря, то уже через две недели после событий на юге оно, казалось бы, утратило остатки правдоподобия. Во всяком случае, в свое время эта официальная версия сыграла большую роль. И если теперь Николай счел нужным вновь извлечь ее из архива, то потому, конечно, что, как выше упоминалось, он всячески стремился поднять себя в общественном мнении Франции. Восстановлению утраченного авторитета должен был служить и «скромный» рассказ Николая о его личном поведении 14 декабря, находящийся в резком противоречии с действительностью. И в этом направлении Николай еще в 1825 году спешил убедить Европу в своей твердости и уверенности в успехе. Ни того, ни другого не было на самом деле. У Николая, несомненно, имелся определенный план, сводившийся к локализации восстания на площади (во избежание уличной борьбы, которая легко могла перейти в народное движение), к окружению и полной изоляции мятежников. План этот, вполне естественный и отнюдь не требовавший гениальных способностей полководца, был, однако же, весьма разумен. Но в возможности его осуществления при создавшейся ситуации Николай до последней минуты не был уверен. Отсутствием уверенности даже в войсках, внешне оставшихся надежными, диктовалась нерешительность Николая. Не проявил он и личной твердости и храбрости. По свидетельству участников восстания, Николай ни разу не приближался к мятежникам. Поэтому эффектное кюстиновское сравнение императора со знаменитым римским полководцем Марием повисло в воздухе. Потому же Николай не мог ни «вырастать с каждым шагом», ни величественно держаться перед рядами инсургентов. Он предпочитал оставаться поодаль от них. Инцидент с коленопреклонением солдат вовсе не вяжется с действительностью. Еще декабрист Розен А. Е. по этому поводу замечал, что Кюстин «смешал обстоятельства восстания 14 декабря 1825 года с возмущением на Сенной во время холеры...» (Записки декабриста. Спб., 1907. С. 4). Нам кажется, однако, более вероятным, что Николай в разговоре с Кюстином по-своему интерпретировал следующий эпизод. После первых выстрелов

с площади рабочие со стройки Исаакия начали бросать поленья, а толпа, без шапок окружавшая государя, стала накрывать головы. Николай крикнул: «Шапки долой!» Толпа снова обнажила головы, но отшатнулась от государя. Эффект был не в пользу Николая. Наконец, в рассказе Кюстина неверны и мелкие подробности. При первом известии о восстании Николай стал искать защиты не у бога, а у воинских частей Митрополит неудачно уговаривал мятежников уже много позднее. И т. д. и т. п.

[62] Николай I неоднократно высказывал свое отвращение к конституционному образу правления. В разговоре с Кюстином он выразил это с особенной резкостью и прямотой. Говоря о том, что он был конституционным монархом, император имел в виду Польшу, где до восстания 1830 года действовала конституция, введенная Александром I в 1815 году. Революция дала Николаю повод покончить с ненавистным ему строем. В 1832 году был обнародован особый статут, на основании которого должна была управляться Польша. Этот статут, упраздняя существование Царства Польского как особой государственной единицы и низводя его на положение простой провинции, все же оставлял польскому народу некоторое самоуправление. Однако вследствие непрекращавшихся волнений польский статут никогда не был введен в действие, и область управлялась на основании военного положения, отмененного лишь со смертью Николая I. Этот режим являлся причиной величайшей ненависти поляков к русскому правительству, о которой так часто говорит Кюстин.

[63] Принцесса Нассауская (1817—1871), дочь нассауского герцога Вильгельма, с 1837 года была замужем за принцем П. Г. Ольденбургским, племянником по матери Николая I.

[64] Гораций — один из величайших римских поэтов Августова века. Наряду со своими знаменитыми сатирами и патриотическими одами он во второй половине жизни отдавал дань невинным лирическим излияниям, воспевая простоту и умеренность.

[65] «Истинный друг» императрицы, о котором упоминает автор, несомненно, баронесса Цецилия Владиславовна Фредерикс, урожденная графиня Гуровская (1794—1851). Судя по дневнику Николая Павловича, она была неразлучна с Александрой Федоровной в тревожные дни междуцарствия. Даже проект манифеста Николай читал жене в ее присутствии (Междуцарствие 1825 г. и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи. М.; Л., 1926. С. 64—79). В 1840 году П. А. Плетнев в письмах к Я. К. Гроту упоминал о «знаменитой Сесилии, императрицыном друге», отзываясь о ней как о «тонко рассуждающей и очень умной женщине» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. I. С. 61. Т. II. С. 777). Муж ее, барон Петр Андреевич Фредерикс (1786—1855), однако же, не совершал геройских подвигов, приписанных ему Кюстином. В день 14 декабря он находился в лейб-гвардии Московском полку, которым командовал, и во время восстания полка, при попытке удержать солдат, был ранен князем Д. А. Щепиным-Ростовским. Непосредственный участник событий в Московском полку, М. А. Бестужев передает и этот эпизод отнюдь не в геройских тонах: «При нашем выходе из казарм мы увидели брата Александра. Он стоял подле генерала Фридрикса и убеждал его удалиться Видя, что его убеждения тщетны, он распахнул шинель и показал ему пистолет. Фридрикс отскочил влево и наткнулся на Щепина, который так ловко рубнул его своею острою саблею, что он упал на

землю» (Воспоминания Бестужевых. Пг., 1917. С. 107). Сам Щепин-Ростовский в следственном комитете указывал, что, когда Фредерикс пытался говорить, солдаты кричали: «Поди прочь, убьем» (Восстание декабристов. М.; Л., 1925. Т. I. С. 397). Не говорит в пользу Фредерикса и то обстоятельство, что он вовсе устранился от объяснений с солдатами и предоставил офицерам разъяснять им запутанную историю престолонаследия. Наконец, несправедливо и то, будто он остался без награды. Подруга императрицы, конечно, умела напомнить о своем муже. Сабельный удар Щепина сделал Фредерикса генерал-адъютантом.

[66] Зоологический музей вырос, как и большинство музеев Академии наук, из петровского «Кунсткамера». Научная организация его началась, собственно, с 1831 года, и лишь накануне приезда Кюстина, в 1838 году, часть залов музея была открыта для обозрения. Редчайший скелет мамонта, сохранивший на голове и на ногах остатки кожи, вывезен был академиком Адамсом в 1808 году с устьев реки Лены.

[67] Холера, занесенная в 1829 году из Бухары и Хивы в Оренбург, стала быстро распространяться и в 1830 году охватила уже почти всю Европейскую Россию, не исключая Москвы. Зимой эпидемия несколько затихла, но в 1831 году вспыхнула с новой силой, на сей раз проникнув и в Петербург, где число жертв доходило до 600 в день. Всего погибло от холеры около 100 тысяч человек. Страшные размеры эпидемии отчасти объяснялись и нецелесообразностью мер для борьбы с нею. Высшие государственные чиновники больше препирались между собою о средствах пресечения эпидемии, нежели боролись с нею. Жертвами ее пали цесаревич Константин, фельдмаршал Дибич и целый ряд высокопоставленных лиц. Но, конечно, тяжелее всего холера обрушилась на низшие классы. Видя себя беззащитными перед грозным врагом, чувствуя ничтожность принимаемых правительством предохранительных мер, население начало волноваться, сперва глухо, потом открыто. 22 июня 1831 года в Петербурге, на Сенной площади, где собралась 5-тысячная толпа народа, вспыхнул серьезный бунт. Вызванные войска действовали вяло. Николай, находившийся в Петергофе, поспешил в Петербург и содействовал успокоению. Так как в биографии Николая было мало блестящих страниц, событие это было всячески и на все лады расписано и даже явилось темой одного из барельефов на памятнике Николаю в Петербурге работы барона Клодта. Барельеф изображает Николая на Сенной, мановением руки заставляющего бунтующую толпу пасть на колени. Холерные бунты не ограничились одним Петербургом. В следующем месяце они возникли в районе Новгородских и Старорусских военных поселений, перейдя в бунт военных поселян против своего начальства. Бунты эти подавлены были с величайшей жестокостью.

[68] Это утверждение Николая I насквозь проникнуто ложью, которая, конечно, не могла ввести в заблуждение французского путешественника. Завоевательные тенденции в политике Российской империи эпохи Николая I были слишком очевидны. Война с Персией в 1826 году, закончившаяся присоединением Эриванской и Нахичеванской областей, проникновение русских войск на Кавказ, с особенною активностью проявившееся в 1834 году, завоевания в Средней Азии, турецкая кампания 1829 года, присоединившая к России кавказский берег Черного моря, военное вмешательство в дела Турции в 1833 году, закончившееся

подписанием выгоднейшего для России договора,— таковы факты из области внешней политики Николая, свидетельствовавшие отнюдь не об его стремлении только «сплотить вокруг себя все население России».

[69] Автор не раз говорит о своеобразном демократизме в России: самодержавие настолько подавляет всех без исключения, что под этим ярмом русские становятся разными по своему юридическому положению. Это, конечно, вовсе не уничтожало социальных различий. Старой феодальной иерархии, существовавшей во Франции до Великой революции и служившей Кюстину, видимо, критерием для определения самого понятия иерархии, в России уже давно не существовало: абсолютная монархия уничтожила ее. Но социальные различия, при которых население резко делилось на сословные группы (крестьянин, купец, разночинец, дворянин), существовали в полной мере. Политическое бесправие этих групп придавало России видимость демократизма, позволившую Кюстину провести смелую аналогию между Россией и Францией. Слова его об отсутствии независимых характеров в России еще раз убеждают в том, что его наблюдения ограничивались узкой сферой придворного быта.

[70] Кюстин имеет в виду неоднократные случаи свержения с престола русских царей, обычно вызывавшиеся недовольством господствовавшего класса политикой монарха, отклонявшейся от исключительного служения интересам этого класса. Отказ от защиты нужд дворянства обозначал стремление пойти навстречу постепенно возраставшей и качественно и количественно буржуазии, что неизбежно влекло за собой привнесение прогрессивных элементов в политику правительства, а следовательно, и разрыв с «дедовскими обычаями», о которых говорит Кюстин.

[71] Петергофский дворец в первоначальном своем виде был построен французским зодчим Лебланом в 1716—1717 годах. Невысокий кряж, проходящий на расстоянии полукилометра от берега Финского залива, послужил Леблану естественным подножием для дворца. Между этим кряжем и морем зодчий разбил великолепный парк.

[72] Армида — одна из героинь «Освобожденного Иерусалима», произведения знаменитого итальянского поэта XVI века Торквато Тассо.

[73] Смертная казнь в России официально была отменена еще по указу Елизаветы. Однако правительство не раз прибегало к этой мере наказания (Мирович, Пугачев, декабристы). В таких случаях приходилось придумывать массу всякого рода ссылок и справок, чтоб оправдать применение меры, уничтоженной высочайшим повелением. Фактически же смертная казнь применялась постоянно с помощью того способа, о котором говорит Кюстин. Когда однажды Николаю I дали подписать смертный приговор за воинское преступление, он со словами: «В России, слава богу, казнь отменена», - приговорил виновного к 10 тысячам палочных ударов.

[74] Семирамида — жена ассирийского царя Нина (IX в. до начала нашего летосчисления). Она избрала своей столицей Вавилон, который украсила со сказочным великолепием. Между другими замечательными сооружениями Семирамида устроила знаменитые висячие сады, считавшиеся одним из семи чудес света.

[75] Цесаревич Константин Павлович был, как известно, одержим страстью к парадам и фрунту. Тем не менее даже он в 1820-х годах жаловался, что «ныне завелась такая во фронте танцевальная наука, что и толку не дать». Качествами же хорошего полководца он уж никак не отличался. Намек Кюстина на его поведение в Польше относится к польскому восстанию, при подавлении которого Константин проявил необычайную вялость и нерешительность, в значительной мере проистекавшие от отсутствия личной храбрости.

[76] Очевидно, автор имеет в виду гвардейский казачий полк. Наружность и обмундирование казаков могли дать повод плохо разбиравшемуся в военном обмундировании французу смешать их с черкесами, которые никогда не составляли особой воинской единицы при царе.

[77] Английский коттедж в Петергофе сооружен в 1826—1828 годах зодчим Менеласом. Коттедж выстроен в стиле условной готики XIX века. Внутреннее убранство его носит тот же «готический» характер.

[78] Франсуа Буше (1704—1770), придворный французский художник, писавший в изнеженном и манерном стиле многочисленных пастушек.

[79] Оптический телеграф, существовавший до введения электромагнитного. Система его основана на том, что каждая буква имеет свой особый знак, различаемый с помощью телескопа.

[80] Ораниенбаумский Большой дворец был выстроен Шеделем, придворным зодчим знаменитого временщика Меншикова, в 1712—1720 годах. Дворец создан из камня. В XVIII веке он неоднократно подвергался переделкам, одна из которых состояла в деревянной надстройке. Это дало повод Кюстину утверждать, что весь дворец выстроен из дерева. Александр Данилович Меншиков (1673—1729), сын московского мещанина, в детстве разносчик пирогов, при Петре I сделался одним из выдающихся государственных деятелей благодаря своим исключительным военным и административным способностям. Наделенный непомерным честолюбием, Меншиков не хотел ни в чем уступать царю и окружал себя роскошью и пышностью поистине царскими, имея даже свой особый двор. В царствование Екатерины I (1725—1727) был фактическим самодержцем. В 1728 году придворные интриги свалили всесильного временщика: он был сослан в Березов, Тобольской губернии, где в следующем году умер.

[81] Петр III пробыл на русском престоле всего полгода, до 28 июня 1762 года, когда был свергнут гвардией, возведшей на престол его жену — Екатерину II. Причиной переворота послужило недовольство дворянства внешней политикой Петра III, затрагивавшей интересы этого класса. Гвардия во главе с Екатериной выступила в поход против Петра, находившегося в Ораниенбауме. Охранявшие его голштинские войска не оказали никакого сопротивления, и Петр, видя, что его дело проиграно, отрекся от престола. Отречение было подписано в так называемом Петерштадте, небольшой, почти игрушечной крепостце, созданной прихотью увлекавшегося военными занятиями императора. (Крепостца эта была в скором времени разрушена, сохранился лишь небольшой павильон дворец самого Петра III, существующий до настоящего времени.) После отречения Петр был арестован и отвезен в Ропшу (около

30 километров от Ораниенбаума), где жил на положении узника. 6 июля он был убит находившимися в карауле гвардейскими офицерами, причем главная роль в этом событии принадлежала Алексею Орлову. Убийство произошло если не по прямому приказанию Екатерины, то, во всяком случае, с ее молчаливого согласия.

[82] В это время уложение о наказаниях находилось в стадии разработки. Законы уголовные вошли в XV том Свода законов, изданного в 1832 году (это, вероятно, и имел в виду автор). Но, собранные воедино, они особенно наглядно свидетельствовали о полной своей неудовлетворительности. Поэтому в 1836 году Сперанскому и Дашкову поручено было приступить к исправлению уголовных законов, что, однако, затянулось на многие годы.

[83] Александровская колонна (Александрийский столп), воздвигнутая на бывшей Дворцовой площади, выполнена Монферраном, строителем Исаакиевского собора. Для нее Монферран выбрал на берегу Финского залива огромную скалу, а для фундамента извлечены там же громадные камни, весом до 300—400 килограммов каждый. Отсюда уже можно судить, каких колоссальных трудов и средств должна была стоить обработка и перевозка этого материала, из которого возникла величайшая по размерам в мире монолитная колонна. По окончании всех подготовительных работ 30 августа 1832 года произошел торжественный подъем колонны, для чего было использовано около 2 тысяч солдат. Подъем сопровождался огромным стечением любопытных. Открыта была колонна ровно через два года, в присутствии царской семьи, дипломатического корпуса и 100-тысячного войска. В рассказе Кюстина, видимо, объединены оба эти события. Сенатор П. Г. Дивов сообщает любопытную подробность: когда после смерти Александра I, в 1825 году, граф Д. С. Ланской предложил Сенату объявить подписку на памятник покойному государю с надписью: «Благословенному Александру I — народ», сенаторы запротестовали против этого текста, который был изменен следующим образом: «Александру I — Россия» (Русская старина. 1897. № 3. С. 462). Так накануне декабрьских событий Сенат отказал в благословении покойному государю.

[84] Казанский собор построен в 1801—1811 годах знаменитым русским зодчим Воронихиным. Особенностью его архитектурного плана является то, что его передний фасад не расположен, как обычно, против алтаря. Он обращен к проспекту, то есть на север, и композиционно вполне совпадает с линией улицы. Устройство алтаря против переднего фасада, на юг, явилось бы нарушением церковных канонов, согласно которым алтарь должен быть всегда обращен на восток.

[85] Воскресенский Смольный собор, создание знаменитого Растрелли, выстроен в 1744—1757 годах. Он основан не Анной Иоанновной, а императрицей Елизаветой. Сперва в нем помещался женский монастырь, а позднее «институт для воспитания благородных девиц» и собор всех женских учебных заведений. Самый собор не был закончен в том виде, как он был задуман, ибо со смертью Елизаветы постройка его была прервана.

[86] Таврический дворец построен в 1782 году архитектором И. Е. Старовым. 9 мая 1791 года князь Г. А. Потемкин-Таврический, которому дворец был подарен, давал в нем блестящий праздник в честь Екатерины II. Через несколько месяцев он скончался, а дворец был приобретен в казну. Впоследствии, будучи сильно переделан, дворец претерпевал

разные перемены. В 1797 году он был отдан конногвардейскому полку, а вещи и мебель перевезены в Михайловский замок. Через 5 лет дворец восстановлен в прежнем виде и служил обиталищем то вдовствующей императрице, то умиравшему Карамзину, то гостившим иностранным принцам. Затем все художественные предметы были снова, и уже навсегда, вывезены частью в Зимний дворец, частью в Эрмитаж, а самый дворец на долгие годы предан забвению. Таким и застал его Кюстин.

[87] Эрмитаж возник в 1760-х годах. Французский архитектор де Ла Мотт выстроил для него специальное здание рядом с дворцом, выходящее на Неву (впоследствии «Эрмитажный павильон»). Сильный рост коллекций Эрмитажа вскоре побудил к постройке нового, более обширного здания, которое было выполнено в 1773 - 1775 годах Ю. Фельтеном. Вскоре эта постройка еще увеличилась галереею, выстроенною Кваренги, и так называемым «Эрмитажным театром». Это создание Фельтена и Кваренги, ныне именуемое «Старый Эрмитаж» (в отличие от «Нового Эрмитажа», построенного в 1840-х годах немецким архитектором Кленце), и посетил в 1839 году Кюстин. Интересно отметить, что именно тогда Николай обратил внимание на тесноту и невыгодные световые условия Эрмитажа и задумал постройку нового здания. Несомненно, Николай, нисколько не обладавший ни художественным вкусом, ни склонностью к искусству, не сам пришел к этой мысли. Легко допустить, что именно Кюстин натолкнул его на эту мысль, ибо он, вероятно, не ограничился фиксацией своих впечатлений на бумаге, но и изложил их в беседе с государем.

[88] Рассказ Кюстина о дуэли Пушкина и первой ссылке Лермонтова, конечно, во многом грешит против истины. Сводя причины смерти Пушкина исключительно к личной драме поэта, мемуарист повторяет официальную версию, созданную сразу же после гибели Пушкина. Европейская пресса подхватила эту легенду, и Кюстин мог бы еще два года назад познакомиться с ней во французских газетах и журналах. «Талантливый юноша» Лермонтов, обстоятельства ссылки которого на Кавказ переданы совершенно правильно, исключая того, что стихи его на смерть Пушкина, в которых он первый указал на социальные причины трагедии погибшего поэта, конечно, никак не могут быть названы «патриотической одой».

[89] Князь Александр Иванович Чернышев (1786—1857), генерал-адъютант, генерал-лейтенант, игравший виднейшую роль в процессе декабристов, чем заслужил особое доверие и милости Николая. С 1827 года был военным министром. Под конец жизни — председатель Государственного совета.

[90] Годовалый Иоанн VI (Иван Антонович), внучатый племянник императрицы Анны Иоанновны, после ее смерти в 1740 году возведен был на престол. Правили за него номинально мать его, мекленбургская принцесса Анна Леопольдовна, фактически же сперва Бирон, а потом Миних. Свергнутый в следующем году Елизаветой Петровной, Иоанн заключен был в крепости Динамюнде, а потом в Холмогорах, откуда в 1756 году перевезен в Шлиссельбург. В 1764 году Иоанн был убит приставами при попытке к его освобождению, предпринятой гарнизонным офицером В. Я. Мировичем. По-видимому, пристава действовали на основании инструкции Екатерины II. Мирович был казнен в том же году. Кюстин ошибочно отнес развязку этой драмы ко времени Елизаветы.

[91] Конечно, имеется в виду эпизод со М. М. Сперанским, переданный Кюстином не совсем верно. Вечером 12 марта 1812 года Сперанский был вызван на аудиенцию к Александру и действительно в тот же день сослан, но не в Сибирь, а в Нижний Новгород, откуда вскоре переведен в Пермь.

[92] Август Коцебу (1761—1819), популярный в свое время немецкий драматург и писатель. В 1800 году он задумал ехать в Россию, где уже прежде прожил два года и где воспитывались его сыновья. На русской границе Коцебу был арестован и отправлен в Сибирь по подозрению в сочинении какого-то памфлета на Павла I. В ссылке он оставался недолго: одна из его пьес случайно обратила благосклонное внимание Павла, и в следующем году Коцебу возвращен был в Петербург, осыпан всякими милостями и поставлен во главе управления театров. После цареубийства 11 марта Коцебу удалился на родину, где проявил себя ярым реакционером. В 1819 году он пал от руки студента Занда, воспетого Пушкиным.

[93] Шлиссельбург расположен у истока Невы из Ладожского озера при соединении Невы с приладожскими каналами. Крепость (под названием «Орехов» или «Орешек») была заложена в начале XIV века. По своему географическому положению являясь важным торговым и военным пунктом, Орешек служил постоянным поводом борьбы между шведами и русскими, одинаково заинтересованными в обладании им. В 1702 году крепость, принадлежавшая шведам, в последний раз завоевана русскими. По этому поводу Петр I писал: «Правда, что зело жесток сей орех был, однако ж, слава богу, счастливо разгрызен». С течением времени Шлиссельбург терял стратегическое значение, но одновременно росло значение его как государственной тюрьмы. Там томились первая жена Петра I, затем Иван VI, руководители раскола, Новиков, некоторые декабристы, Каразин и др. Количество заключенных в крепости неизменно росло. Недаром декабрист М. С. Лунин говорил, что «язык до Киева доведет, а перо до Шлиссельбурга». В 1827 году туда заключены были руководители Тайного общества братьев Критских, в 1834 году — участники дела Герцена и Огарева — Соколовский, Ибаев и Уткин, остававшиеся там почти до приезда Кюстина.

[94] Государственных преступников, томившихся в различных крепостях, было так много в России, что немудрено, что Кюстину, постоянно слышавшему о них, темницы мерещились и там, где их в действительности не было. Кронштадтская крепость никогда не служила местом заточения.

[95] Мадам де Жанлис (1746—1830), известная французская писательница и общественная деятельница времен революции. В 1825 году она издала свои мемуары под заглавием «Souvenirs de Felicie».

[96] Сравни выше, примечание № 56. Оноре де Бальзак (1799—1850), знаменитый французский романист. Он посетил Россию вскоре после Кюстина. По словам одной великосветской современницы, «ему, конечно, не оказали такого приема, как Кюстину, хотя с ним обошлись чрезвычайно вежливо, так что Бальзак, возвратившись в Париж, говорил, что он получил в Петербурге оплеуху, которую следовало бы дать скорее Кюстину» (Русская старина. 1880. № 11. С. 795).

[97] Русское сектантство, о котором говорит автор, являлось, конечно, скрытой формой политического протеста. Кюстин воспринимал лишь внешнюю оболочку его, не разгадав социальной сущности этого движения. В соответствии с такими взглядами в представлении Кюстина социальная революция должна была бы произойти под лозунгом свободы религии.

[98] Крестьянские волнения, не прекращавшиеся в продолжение всего царствования Николая (см. примечание № 34), с особенной силой разыгрались на Волге в 1830—40-х годах. В Саратовской губернии, например, существовал ряд отрядов, составленных из беглых помещичьих крестьян, имевших подобие старой «понизовой вольницы». Участники их обращали свой гнев прежде всего на тех, кто был виновником их несчастий, на помещика, управляющего, старосту и т. д. В головах бунтовщиков бродили мысли о свержении крепостного ига, выраженные одним из атаманов: «Дураки вы, мужики, гнете спины перед барами напрасно. Если бы все господские крестьяне обзавелись ружьями да сели бы на лошадей, то и господ бы в заводе не было» Усмирение этих крестьянских бунтов вызывало у правительства немало хлопот. Само собой, что во всех этих волнениях поляки были ни при чем, и, говоря об этом, Кюстин лишь повторяет версию, пущенную правительством. В 1830-х годах поволжские крестьяне, прослышав о возможности записываться в казаки на Северном Кавказе, едва начинавшем заселяться русскими, потянулись на юг. Крестьяне Нижегородской и Симбирской губерний вместе с беглецами из Курской и других центральных губерний массами уходили от своих помещиков.

[99] Лафонтен (1621—1695), знаменитый французский баснописец и поэт. Кюстин имеет в виду, конечно, его известную басню «Волк и ягненок», переведенную на русский язык И. А. Крыловым.

[100] История Трубецких, изложенная Кюстином, в основе своей верна, но в подробностях рассказ его отступает от истины. Князь Сергей Петрович Трубецкой (1790—1860), один из основателей Тайного общества, постоянный деятельный член его и «диктатор» 14 декабря, был женат на графине Екатерине Ивановне Лаваль, дочери французского эмигранта, занимавшего видное положение при дворе Александра I. Приговором Верховного уголовного суда Трубецкой был отнесен к I разряду государственных преступников и приговорен к 20 годам каторжных работ и бессрочному поселению в Сибири. Трубецкая первая из жен декабристов решила последовать за мужем в Сибирь. Мужественная и сильная женщина, она во все это время сохраняла полное присутствие духа. Князь А. Н. Голицын в письме к Марии Федоровне, сообщая об отчаянии жены Н. М. Муравьева, добавлял, что «княгиня Трубецкая принимает все с большею покорностью». Трубецкой попал в число 8 человек, которые непосредственно после объявления приговора отправлены в Благодатский рудник, где оставались при крайне тяжелых условиях, пока строился временный острог в Чите, куда свозили остальных декабристов. Обстоятельства, при которых жены декабристов получали разрешение ехать к своим мужьям, и ограничения, на которые им пришлось согласиться, общеизвестны. Одним из самых страшных лишений было запрещение брать с собою детей. Но Трубецкие не имели тогда еще потомства. Трубецкая была первой из числа этих «русских женщин», чем усугублялись трудности, которые ей пришлось преодолеть. Следом за нею поехали Муравьева, Волконская и др. С переводом в Читу и потом в Петровский завод условия жизни

Трубецких, как и прочих декабристов, заметно улучшились. В 1839 году, по отбытии срока каторжных работ, Трубецкие были обращены на поселение в с. Оёк, близ Иркутска. В это время у них было пятеро детей. В 1845 году Трубецкая получила разрешение проживать с детьми в Иркутске, где она и умерла в 1854 году. Таким образом, в то время как Кюстин писал свои записки, Трубецкой только еще оканчивал срок каторжных работ, и описанная история могла относиться к хлопотам о выборе места для поселения. Вопрос о положении детей декабристов встал особенно остро позднее, в 1842 году, когда Николай поставил условием допущения к образованию лишение их фамилии отцов, чем почти никто не воспользовался. Но, неверный в подробностях, рассказ Кюстина верно передает общие краски этой трагедии и различное отношение к декабристам, господствовавшее в высших кругах. Нечего и говорить о том, сколь верно замечено отношение к ним самого Николая, вплоть до смерти не могшего простить своих «друзей 14-го».

[101] Должно отметить, что это утверждение Кюстина находится в резком противоречии с его мыслями о крепостном праве, высказанными им прежде и после. Отсюда следует, что это впечатление было чисто случайным и в конечном итоге отношение Кюстина к крепостному праву остается резко отрицательным.

[102] Тверское княжество в удельный период русской истории находилось в долгой распре с московскими князьями. Князь Михаил (1333—1399) вел с помощью литовских князей в течение пяти лет кровопролитную войну с Дмитрием Донским. За это время Тверь один раз, а Москва дважды были осаждены и выжжены. Последний тверской князь Михаил Борисович начал с помощью Литвы борьбу с Иваном III, за что Иван в 1485 году сжег Тверь. Михаил вынужден был бежать в Литву, а Тверское княжество было присоединено к Московскому, навсегда утратив свою самостоятельность.

[103] Церковь Василия Блаженного (Покровский собор) в Москве выстроена в 1555 году. Она претерпела много превратностей: трижды горела — в 1626, 1668 и 1738 годах, дважды была разграблена, в Смутное время — поляками и в 1812 году — французами, наконец, неоднократно подвергалась коренным переделкам. В конце концов этот древний памятник зодчества вовсе утратил свой первоначальный вид и план.

[104] Москва и Московская губерния были издавна промышленным центром России. Наибольшее число фабрик и самые крупные из них были сосредоточены здесь. Особенную славу и известность приобрели московские фабрики хлопчатобумажных изделий и шелковые мануфактуры, поставлявшие свои товары по всей России. Позднее, с развитием тяжелой индустрии, промышленное значение Москвы упало, но как центр обработки волокнистых веществ она долго еще занимала первое место.

[105] Ко времени приезда Кюстина в России существовала лишь одна железная дорога между Петербургом и Царским Селом (третья в Европе). Николаевская дорога строилась в 1840-х годах. Этим и ограничилось железнодорожное строительство дореформенной России. Причины этого нужно искать, конечно, не в «снежном покрове», а в слабых оборотах внутренней торговли при крепостном праве, не требовавших железнодорожных сообщений. Следует отметить, что вокруг этого вопроса шла жестокая борьба, в которой ярыми противниками новых путей сообщения выступали содержатели дилижансов.

[106] Английский клуб являлся наиболее уважаемым местом, где собиралась московская знать и интеллигенция. Доступ в члены клуба был весьма затруднен, вследствие чего состав его был крайне рафинированным. Самое название его дало повод к следующей злой шутке Пушкина. Как-то И. И. Дмитриев отметил курьезность сочетания слов: *«Московский английский* клуб». Пушкин возразил, что, мол, у нас встречаются сочетания названий еще более неподходящие, например *«Императорское человеколюбивое* общество» (Исторический вестник. 1883. № 12. С. 536). Такой же клуб был и в Петербурге.

[107] Новодевичий женский монастырь в Москве, на Девичьем поле, в Хамовниках, основан в 1525 году. В XVII и XVIII веках он стяжал мрачную славу, служа обычным местом дознаний и пыток. В XIX веке на Девичьем поле стали устраиваться народные гулянья. Если народ вел себя на этих гуляньях сдержанно, то потому, конечно, что чрезмерное веселье пресекалось побоями и другими мерами воздействия. Такой случай был в 1826 году. М. П. Погодин вспоминал: «Завтрак народу нагайками».

[108] Рассказ Кюстина, конечно, является анекдотом, но весьма характерным для взаимоотношений солдат и командного состава

[109] Сухарева башня в Москве выстроена Петром I в 1692 году в честь Сухаревского стрелецкого полка, единственного сохранившего верность Петру во время стрелецкого мятежа 1689 года. Она представляет собой трехъярусное здание в готическом стиле. Использовалась она для разных целей, вмещая в себе то морское училище, то московскую адмиралтейскую контору, то морские склады. В среднем (а не в нижнем, как у Кюстина) ярусе незадолго перед приездом Кюстина был устроен обширный водный резервуар, так называемый «мытищинский водопровод».

[110] Троице-Сергиева лавра, основанная в XIV веке Сергием Радонежским, расположена неподалеку от Москвы, в Дмитровском уезде. Издавна она имела крупное политическое значение, благодаря чему в нее притекали обильные и ценные вклады от русских вельмож. Библиотека лавры, о которой ниже упоминает автор, представляла собой огромную ценность. В середине XVII века она уже насчитывала в себе свыше 623 тысяч книг и, преимущественно, рукописей.

[111] Царь Борис Федорович Годунов, скончавшийся в 1605 году, погребен был в Архангельском соборе, откуда тело его было извлечено и зарыто на родовом погосте в Варсонофьевском монастыре. В следующем году по приказу царя Василия Шуйского тело Годунова вновь вырыто из земли и перевезено в Троице-Сергиеву лавру, где погребено в особой палатке при Успенской церкви. Та же участь постигла тела жены его, Марии Григорьевны, урожденной Скуратовой-Бельской, и сына Федора, задушенных 10 июня 1605 года. Наконец, в 1622 году погребена там же скончавшаяся дочь Бориса, Ксения, последний отпрыск семьи Годуновых.

[112] Ярославль — один из важнейших торговых пунктов на Мариинской системе. Торговля железом, хлебом и колониальными товарами, идущими транзитом с Востока, придавала этому городу выдающееся значение, не совсем утраченное и до сих пор.

[113] Военный губернатор генерал-лейтенант Константин Маркович Полторацкий (1782—1858). Молодость его была чрезвычайно яркой и богатой впечатлениями. В 1801 году он был поручиком лейб-гвардии Семеновского полка и в ночь, когда убит был Павел I, стоял в карауле в Михайловском замке (его рассказ об этом событии см.: *Николай Михайлович.* Александр I. Пг., 1914. С. 8—9). Он проделал все военные кампании начала XIX века. В битве при Шампобере был взят в плен. Император Наполеон долго беседовал с ним о последних военных операциях (см.: «Conservation de l'empereur Napoléon avec le général russe Constantin Poltoratzky». Colmar, 1885). Он принадлежал к большой просвещенной семье Полторацких. Отец, Марк Федорович (1729—1795), был основателем и начальником придворной певческой капеллы, которой восхищался Кюстин. Одна из сестер Константина Марковича, Елизавета Марковна, была замужем за А. Н. Олениным, директором Публичной библиотеки и президентом Академии художеств. Их дочерью увлекался Пушкин, увековечивший ее в своих стихах. Из братьев его известен Дмитрий Маркович, прославившийся как один из пионеров английской системы земледелия, и Петр Маркович, крепостник, вольтерианец и неутомимый предприниматель, отец знаменитой А. П. Керн, друга Пушкина. С ним и с его семьей были близки все Полторацкие. Константин Маркович женат был на княжне Софии Борисовне Голицыной (умерла в 1871 году) и имел от нее сына Бориса (1820—1850), ротмистра лейб-гвардии Гусарского полка, тактом которого восторгался Кюстин. Следует отметить, что известный клеветник и злопыхатель Ф. Ф. Вигель назвал К. М. Полторацкого «неумным, но изворотливым и смелым буффоном» и приписывал ему разные «мерзкие интриги», из которых, «как из грязи, всегда выходил он чист и сух».

[114] Граф Полиньяк, в 1780 году пожалованный Людовиком XVI в герцоги. Высоким положением при дворе он был обязан своей жене, Габриэли де Поластрон, закадычной подруге королевы. Французский народ платил им, как и всему двору, искренней ненавистью, и после революции Полиньяки оказались в числе первых эмигрантов. Герцогиня умерла в 1790-х годах, герцог же получил от Екатерины II имение в Малороссии, где благополучно прожил до смерти в 1817 году. Один из их сыновей — известный неудачливый государственный деятель, стяжавший мрачную славу в истории Франции. Любопытно отметить, что один из членов этой ультрароялистской семьи, граф И. И. Полиньяк, оказался причастен к делу декабристов.

[115] Спасо-Преображенский мужской монастырь в Ярославле основан в начале XIII века. В XVIII веке был упразднен.

[116] Это утверждение Кюстина как нельзя лучше вскрывает его аристократическую природу. С точки зрения французского легитимиста, чиновная знать, конечно, должна была занимать более низкое положение, нежели аристократия по рождению. В России же, особенно при Николае I, сила и влияние чиновной знати чрезвычайно возросли. Самодержавие видело в ней для себя надежную опору.

[117] Кюстин повторяет старое официальное толкование вопроса о причинах зарождения революционного движения в России, согласно которому последнее всецело приписывалось влиянию Западной Европы, и в частности французской просветительной философии (сравни примечание № 61).

[118] Нижегородская ярмарка ведет свое родословие с XIII века. Сперва периодические большие торги на Средней Волге происходили в Казани, затем, с начала XV века, в Васильсурске, пограничном и незамиренном городе, что служило большим неудобством. Поэтому вскоре ярмарка была перенесена в Макарьев. В 1816 году пожар уничтожил ее, и тогда она была переведена в Нижний Новгород. Постройкой ее, на которую из казны отпущено было 6 миллионов рублей, руководил известный генерал Бетанкур. Им же устроены подземные галереи, обратившие внимание Кюстина. В это время ярмарка занимала свыше 720 десятин. Гостиный двор состоял из 60 корпусов, вмещавших до 2500 лавок. Ярмарка продолжалась с 15 июля по 15 августа. Большим препятствием служило то, что весною значительная часть ее заливалась водою.

[119] Михаил Петрович Бутурлин (1786—1860), нижегородский губернатор с 1831 по 1843 год. В 1833 году его посетил Пушкин, вынесший из своего визита столь же благоприятное впечатление.

[120] Чай к этому времени стал основой кяхтинской торговли, оттеснив на задний план ткани, шелк, фарфор, золото и серебро в слитках, бывшие прежде того главными продуктами, вывозимыми из Китая через Кяхту. В 1839 году в Кяхту было привезено около 190 тысяч пудов чая. Одних таможенных сборов с торговли чаем поступало в казну до 19 миллионов.

[121] Кюстин застал производство железа в России и торговлю им уже на ущербе. В конце XVIII века по добыче железа Россия стояла на одном уровне с Англией, но с начала следующего столетия ее производство стало падать. В 1830-х годах Россия по выплавке чугуна была еще впереди Бельгии, Пруссии и США, поставляя около 12 процентов мировой добычи. Железо было одним из главных предметов русского вывоза. В конце XVIII века ежегодный вывоз достигал 3 миллионов пудов. В дальнейшем вывоз начал падать (особенно с 1840-х годов) и к половине XIX века упал до 800 тысяч пудов. Падение русской железной промышленности объяснялось наличием крепостного труда в районе главной добычи железа — на Урале. Малая производительность принудительного труда заставляла Россию быстро терять свое мировое значение в добыче железа.

[122] Автор, конечно, ошибается. Сложность денежной системы заключалась в постоянном падении и колебаниях курса ассигнаций. Бумажный рубль собственно даже не имел единого курса, а котировался весьма различно. Был вексельный курс, был курс податной и, наконец, обывательский курс, произвольно устанавливавшийся при частных сделках. Он-то и был особенно колеблющимся. В общем курс ассигнационного рубля колебался от 350—360 коп. (официальный курс) до 420 коп. Все это давало широкий простор всяческим коммерческим плутням. Денежная реформа, осуществленная законом 1 июля 1839 года, сводилась к тому, что во всех расчетах казны с населением, как и во всех вообще коммерческих сделках, счет должен был вестись на серебро. Для ассигнаций же устанавливался неизменный курс в 350 коп. Реформа эта привела к девальвации ассигнаций, и фиск сильно выиграл на выкупе их по пониженной цене.

[123] Кузьма Минин и князь Д. М. Пожарский — известные деятели Смутного времени. Скончавшийся в 1616 году Минин погребен в Ниже-

городском кремле, в Преображенском соборе, выстроенном в середине XIV века. В 1834 году Преображенский собор был уничтожен и выстроен заново, причем могила Минина украсилась пышным склепом.

[124] В 1839 году на Бородинском поле произошла закладка памятника генералу князю П. И. Багратиону, известному русскому полководцу, смертельно раненному в Бородинской битве. Это событие ознаменовано было пышными празднествами и пантомимой Бородинского боя, в которой Николай командовал одним из «французских» корпусов. Само собой разумеется, что в этом псевдоисторическом представлении русские одержали решительную победу.

[125] Граф Александр Христофорович Бенкендорф (1783–1844), создатель и шеф корпуса жандармов и начальник III отделения с. е. и. в. канцелярии.

Именной указатель

Адамс, академик — 332
Адлерберг А. В., граф — 317
Александр I — 11, 77, 78, 82, 97, 102, 107, 108, 112, 196, 203, 264, 267, 269, 289, 319, 321, 325, 326, 327, 331, 335, 337, 338, 341
Александр II — 8, 9, 48, 81, 171, 317
Александра Федоровна, императрица — 13, 22, 324, 325, 326, 331,
Амийо — 5
Анна Иоанновна, императрица — 191, 260, 335, 336
Анна Леопольдовна, принцесса — 336
Анненков П. В. — 45
Антонио, слуга Кюстина — 257, 258, 304, 305, 308, 309
Аренд Н. Ф.— 324

Багратион П. И.— 342
Баженов В. И.— 321
Балабанов М. С.— 19
Бальзак О.— 206, 337
Барант де, барон — 308, 311, 312, 314, 323
Батеньков Г. С.— 322
Белинский В. Г.— 323
Бениксен Л. Л., граф — 321
Бенкендорф А. Х., граф — 8, 30, 31, 32, 314, 328, 342
Бернадот Ж. Б.— 18
Бестужев А. А.— 331
Бестужев М. А.— 331
Бетанкур, генерал — 342
Бирон Э. И.— 324, 336
Блай — 318, 319
Богарне Е.— 95, 321
Богарне Жозефина, императрица — 321
Бонапарт Л.— 18, 90
Борис Годунов — 260, 340
Боткин В. П.— 323
Брауншвейгский, герцог — 15
Бренн — 321
Булгаков А. Я.— 25
Бутурлин М. Д., граф — 22, 23
Бутурлин М. П.— 282, 295, 298, 342
Буше Ф.— 171, 334

Варнгаген Энзе фон — 18, 26
Варнгаген Р. фон — 18
Василий Иванович (Василий III) — 71
Вигель Ф. Ф.— 341
Виельгорский М. М., граф — 317, 318
Вильгельм, герцог — 331
Волконская М. Н.— 338
Воронихин А. Н.— 335
Воронцов-Дашков И. И., граф — 94, 325, 335
Вяземский П. А., князь — 15, 18, 20, 23, 25, 35, 318

Галуппи Б.— 325
Геккерн Л., барон — 23
Герберштейн С., барон — 3, 65, 71, 72, 320
Герцен А. И.— 5, 19, 23, 24, 26, 28, 43, 44, 45, 48, 320, 337
Гессен С. Я.— 5, 14, 47
Гильдербранд Ф. А.— 324
Гоголь Н. В.— 317, 323
Годуновы — 340
Голицын А. Н. — 338
Голицын Борис — 341
Голицына С. Б.— 341
Головин И. Г.— 21, 41
Гораций — 132, 331
Горсей Д.— 3
Гофман — 329
Грановский Т. Н. — 17
Греч Н. И.— 4, 18, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 44, 329
Григорий XVI — 323
Грот Я. К.— 318, 331
Гуровский А.— 20
Гэ С.— 121, 328
Гюго В.— 329

Дадиан Н., князь — 327
Дантес Ж.— 23, 192
Делавинь К.— 329
Дельвиг А. А., барон — 329
Дибич И. И., барон — 332

Дивов П. Г.— 335
Дмитриев И. И.— 340
Дмитрий Донской — 339
Добролюбов Н. А.— 326
Дризен Н. В.— 324
Дубельт Л. В.— 30, 31, 32, 323
Дургам, лорд — 57
Дюрас, герцогиня — 17
Дюэ — 36, 37, 39

Екатерина I — 334
Екатерина II — 56, 69, 81, 82, 107, 118, 141, 154, 173, 191, 233, 319, 321, 322, 323, 325, 327, 328, 330, 334, 335, 336, 341
Елена Павловна, великая княгиня — 121, 122, 173, 328
Елизавета Алексеевна, императрица — 327
Елизавета Петровна, императрица — 155, 194, 195, 333, 335, 336
Енохин И. В.— 317, 325

Жанлис де — 205, 206, 337
Жирарден Д.— 121, 328
Жофре — 27
Жуковский В. А.— 25, 26, 317, 318, 328

Занд — 337
Захаров А. Д. - 324

Ибаев — 337
Иван III — 339
Иван IV Васильевич (Грозный) — 212, 235, 283
Иван VI Антонович — 194, 199, 201, 202, 330, 336, 337
Истомина А. И. 321
Кавелин А. А.— 317
Кавос А. К. - 329
Каразин В. Н.— 337
Карамзин Н. М.— 27, 320, 336
Каратыгины — 321
Карл V — 71
Кваренги (Гваренги) Д.— 327, 336
Керн А. П.— 341
Киселев П. Д. - 8
Кленце Л. фон — 336
Клодт П. К., барон — 332
Козловский М. А.— 322
Козловский П. Б., князь — 9, 33, 40, 42, 48, 50, 51, 64, 318
Кок П. Ш. де — 84,323
Колумб Х.— 320
Констан Б.— 329
Константин, цесаревич — 126, 129, 159, 332, 334
Константин Николаевич, великий князь 9
Коцебу А.— 31, 329, 337
Крузенштерн И. Ф.— 318
Крылов И. А.— 338
Кузнецов — 30
Кулон — 69
Кюстин Адольф, маркиз — 15,16
Кюстин Д., маркиза — 15, 16
Кюстин А. Ф., маркиз — 15, 16

Лабенский К. К.— 39, 40, 44
Ланской Д. С., граф — 335
Лафонтен Ж. де — 209, 338
Леблон Ж.— 333
Лейхтенбергский М., герцог — 13, 82, 95, 102, 103, 125, 321
Лемке М. К.— 30, 39, 41
Лермонтов М. Ю.— 35, 184, 336
Ливен Х. А., граф — 317
Линь де, маркиз — 327
Лунин М. С.— 337
Людовик XIV — 222, 251, 320, 328
Людовик XVI — 15, 50, 69, 341
Людовик XVIII — 106
Людовик XIX — 166
Людовик-Филипп — 18, 19

Максимилиан I, император — 71, 72
Максимов В.— 4
Мандт — 325
Манштейн К. Г.— 3
Марий Гай — 128, 330
Мария Николаевна, великая княгиня — 13, 75, 82, 95, 125, 132, 172, 321
Мария Федоровна, императрица — 330, 338
Маттернови — 319
Медведев Ф.— 4
Мейербер Д. - 326
Менелас А. А.— 334
Меншиков А. Д., князь — 169, 173, 324, 334
Минин К.— 297, 298, 342
Миних Б. К.— 336
Мирович В. Я.— 333, 336
Мироненко С. В.— 14
Михаил, московский князь — 339
Михаил Борисович, тверской князь — 339
Михаил Павлович, великий князь — 77, 121, 321
Модюи — 329
Мойер И. Ф.— 324
Монморанси М.— 18
Монферран А. А.— 183, 319, 335
Моро Ж. В.— 82, 323
Мотт де Ла — 336
Мочалов П. С.— 321
Муравьев А. М.— 322
Муравьев Н. М.— 338
Муравьева А. Г.— 338

Назимов В. И.— 317
Наполеон I — 18, 51, 234, 269, 321, 323, 341
Нелидова В. А.— 326
Нечаев В.— 46
Никитенко А. В.— 329
Николай I — 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 39, 46, 56, 57, 83, 86, 95, 96, 97, 107, 108, 120, 126, 127, 128, 129, 134, 149, 151, 169, 177, 182, 183, 189, 208, 211, 214, 215, 274, 279, 280, 295, 298, 305, 317, 319, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 336, 338, 339, 341
Новиков Н. И.— 337

Огарев Н. П.— 320, 337
Олеарий А.— 3
Одоевский В. Ф., князь — 15, 328
Оленин А. Н.— 341
Ольга Николаевна, великая княгиня — 103, 172
Ольдекоп Е.— 323
Ольденбургская, принцесса — 132, 133, 331
Ольденбургский П. Г., принц — 331
Орлов А.— 335
Оррер д' — 42, 43

Павел I — 9, 54, 55, 73, 77, 78, 102, 318, 319, 321, 322, 325, 337, 341
Пален П. А., граф — 78, 102, 319, 321
Пален П. П., граф — 68, 319
Паткуль А. В.— 317
Пернэ Л.— 308, 309, 310, 312, 313, 314
Петр I — 41, 57, 58, 69, 70, 73, 74, 79, 80, 81, 85, 87, 101, 102, 106, 108, 119, 120, 124, 141, 146, 152, 166, 183, 185, 186, 189, 190, 201, 202, 212, 236, 307, 319, 320, 322, 325, 328, 329, 334, 337, 340
Петр III — 77, 169, 173, 174, 318, 321, 334
Пирогов Н. И.— 325
Плетнев П. А.— 317, 318, 328, 331
Погодин М. П.— 340
Пожарский Д. М., князь — 297, 342
Покровский М. Н.— 28
Полиньяк, герцогиня — 265, 341
Полиньяк, герцог — 341
Полиньяк И. И., граф — 341
Полониус Жан — см. Лабенский К. К.
Полторацкие — 341
Понятовский С. А.— 82, 323
Потемкин-Таврический Г. А., князь — 191, 260, 327, 335
Поццо ди Борго К. А., граф — 319
Предтеченский А. В.— 5, 14, 47
Пугачев Е.— 333
Пушкин А. С.— 4, 9, 10, 29, 35, 38, 184, 192, 193, 318, 319, 320, 323, 325, 326, 328, 336, 337, 340, 341

Радищев А. Н.— 322
Радонежский Сергий — 340
Растрелли В. В.— 319, 335
Растрелли К. Б.— 321
Раух — 325
Рекамье А.— 17, 20
Рембрандт Х. ван Рейн — 191
Репнин-Волконский Н. Г., князь — 93, 324
Робеспьер — 15
Розен А. Е., барон — 330
Росси К. И.— 321
Рубинштейн А. Г.— 328
Рюль — 325

Сабран Э. де — 265
Салтыков-Щедрин М. Е.— 323
Самойловы — 321
Сарти Д.— 325
Сегюр — 27
Семевский М. И.— 46
Семеновы — 321
Семирамида — 160, 333
Сенковский О. И.— 323
Серафим, митрополит — 326
Сикст IV — 325
Смирнова А. О.— 317
Соболевский С. А.— 318
Соколовский — 337
Сперанский М. М.— 335, 337
Старов И. Е.— 335
Стасов В. П.— 320
Стофреген К.— 325
Суворов А. В.— 322

Тарасов Д. К.— 325
Тарле Е. В.— 19
Тассо Т.— 333
Толстой Л. Н.— 326
Толстой Я. Н.— 4, 20, 37, 38, 39
Томон Тома де — 327, 329
Тон К. А.— 319
Трубецкая Е. И., княгиня — 210, 211, 212, 215, 307, 338, 339
Трубецкой С. П., князь — 210, 211, 338, 339
Тургенев А. И.— 15, 17, 18, 20, 23, 25, 35
Тургенев И. С.— 50, 318, 328
Тютчев Ф. И.— 21, 25, 26

Унгерн-Штернберг К. К., барон — 48, 54, 55, 318
Уткин — 337

Фальконе Э. М. — 319
Фельтен Ю. — 336
Фердинанд VII — 17
Фикельмон К. Л., граф — 329
Фредерикс П. А., барон — 331, 332
Фредерикс Ц. В., баронесса — 331

Хомяков А. С.— 45

Чаадаев П. Я.— 15
Чарторыский А., князь — 327
Чернышев А. И., граф — 336
Чингисхан — 234

Шатобриан Ф. Р. де — 17
Шедель Г. И. — 334
Шекспир У. — 192
Шильдер Н. К. — 27, 46, 327, 330
Шлегель — 325
Шнитцлер И. Г.— 92, 324
Шод-Эг — 41, 42
Штауберт — 320
Шуйский В. И.— 340

Щеголев П. Е.— 326
Щепин-Ростовский Д. А., князь — 331
Щепкин М. С.— 321
Щербатов М. М.— 320

Ювенал Д. Ю. — 318

Яковлев — см. Толстой Я. Н.

Оглавление

ГОЛОС ИЗ ПРОШЛОГО. Предисловие ко второму изданию 3

МАРКИЗ де КЮСТИН И ЕГО МЕМУАРЫ. Вступительная статья 15

ГЛАВА I. Встреча с русским наследником в Эмсе.— Подобострастие его придворных.— Резкий отзыв любекского трактирщика о России.— Пожар на море.— На борту «Николая I».— Князь Козловский.— Разговор с ним о России.— История графа Унгерн-Штернберга.— Мрачное прошлое острова Даго . 48

ГЛАВА II. Приближение к Кронштадту.— «Русский флот — игрушка императора».— Петербургская природа.— Остров Котлин и Кронштадтская крепость.— Современные галеры.— Таможенники и шпионы досаждают путешественникам . . 56

ГЛАВА III. Общий вид Петербурга с Невы.— Последний обыск и допрос.— Ловкость полицейских ищеек.— Путаница с багажом.— Немецкий гид.— Медный всадник.— Постройка Зимнего дворца.— Тысячи жертв высочайшей затеи.— Кюстин вспоминает Герберштейна.— Московское царство и николаевская Россия 65

ГЛАВА IV. Петербург утром.— «Дышать только с царского разрешения».— Чиновная иерархия.— «Комфортабельная» гостиница.— Первая битва с клопами.— Михайловский замок.— Убийство императора Павла.— Нева и ее набережные.— Русская Бастилия.— Царские могилы по соседству с казематами.— Домик Петра Великого.— Заброшенный костел . . . 75

ГЛАВА V. Острова.— Цвет русского общества.— Цена популярности Николая I.— Придворные интриги.— Азиатская роскошь.— Русская красота.— Ужасы крепостного права.— Показная цивилизация.— Судьба императрицы.— Заговор молчания высшего общества.— Страх перед иностранцами.— Россия — страна фасадов 83

ГЛАВА VI. Русский император.— Он внушает страх и сам в вечном страхе.— Внешность царя.— Николай не умеет улыбаться.— Болезнь императрицы.— Катастрофа с каблуком.— Дворцовая церковь.— Великокняжеская свадьба.— Татарский хан.— Строгий блюститель этикета.— Сын цареубийцы в роли шафера.— «Подпоручик Лейхтенбергский».— Воркующие голубки.— Капелла.— Старый митрополит.— Гроза 95

ГЛАВА VII. Представление Николаю. – Маски императора — Умышленное забвение Александра I. — «Цивилизация севера» в исполнении придворных. — Русский немец на престоле. — Бал во дворце. — Знаменательный разговор с императрицей. — Безрадостное веселье. — Ревность Александра I. — Император в кругу семьи. — Грузинская царица. — Женевец в мундире национальной гвардии. — Петербург ночью. — Путешествие Екатерины II в Крым 107

ГЛАВА VIII. Колосс на глиняных ногах. — Императрица заискивает. — Бал в Михайловском дворце. — Французская литература под запретом — «Мы продолжаем дело Петра Великого» — Дитя Азии — Неловкий камер-юнкер — Минеральный кабинет. — Тирания протекции 119

ГЛАВА IX. Торжественный спектакль. — Появление монарха и казенные восторги. — Рассказ Николая о восстании декабристов. — Отречение Константина — «Мужество перед ударами убийц». — Ненависть Николая к конституции. — Кюстин подавлен. — Придворная пастораль. — Друг императрицы. — «Монархам чувство благодарности мало знакомо». — Холерный бунт. — Акции Кюстина поднимаются. — Льстивость, граничащая с героизмом. — Если не раб, то бунтовщик. — Иллюзии порядка и спокойствия 126

ГЛАВА X. Улицы Петербурга. — Невский проспект. — Английский стиль и азиатский беспорядок. — Извозчики. — Символическая тележка фельдъегеря. — Военная архитектура города — Обилие церквей. — Злословие рабов. — «Русский дух». — Замкнутость женщин. — Утрированная вежливость 140

ГЛАВА XI. Общение царя с народом. — Русская «конституция». — Петергофский дворец. — Исключительное значение костюма. — Николай позирует. — Гостеприимство московитов. — Страх, парализующий мысль. — Восточный деспотизм. — Две нации в России. — Русским неведомо истинное счастье. — Лживые отзывы иностранцев. — О лицемерии. — Рабы рабов. — Империя каталогов — Об интеллигенции. — Смертная казнь. — Шестидесятимиллионная тюрьма. — Часы сардинского посла . . . 149

ГЛАВА XII. Петергофский праздник. — Местоположение Петергофа. — Победа человеческой воли. — Праздничная толпа — Сказочный фейерверк. — Ночлег. — Веселье по команде. — Цесаревич Константин о войне. — Выход императора. — Катастрофа на море. — «Трудовой день» императрицы. — Ужин. — Иллюминация парка. — Смотр кадетам. — Восточная джигитовка... 159

ГЛАВА XIII. Английский коттедж. — Кюстин очарован. — Наследник в роли чичероне. — Отзвуки польского восстания. — Осмотр дворца. — Рабочий кабинет Николая. — Поездка в Ораниенбаум. — Резиденция Меншикова. — Судьба Петра III. — Памятники прошлого 169

ГЛАВА XIV. Подробности петергофской катастрофы. — Ложь охраняет престол. — Нация немых — Масляничный эпизод. — Полиция выполняет свой «долг». — Кулачное право. — Правительственный террор. — Зверская расправа на Неве. — Отсутствие протестов — Цивилизация прикрывает варварство. — Александровская колонна 175

ГЛАВА XV. Петербург в отсутствие государя. — Табель о рангах.— Борьба за чин.— Мечты о мировом господстве. — О характере русских. Опасность войны Китайские церемонии. Недоверие к иностранцам. Формальности при отъезде за границу.— Пародия на античность.— Невские набережные.— Петербургские соборы.— Эрмитаж. Дуэль Пушкина. — Лицемерная скорбь Николая. — Ссылка Лермонтова.— Кавказ — школа для русских поэтов 184

ГЛАВА XVI. Поездка в Шлиссельбург. О чем нельзя говорить в России.— Кюстин боится Сибири.— Приключения Коцебу.— Дорога в Шлиссельбург.— Восковая фигурка.— Приходится осматривать шлюзы.— Попытка проникнуть в крепость.— Нетерпение Кюстина.— Жертвы произвола не имеют могил.— Ужасы русских тюрем. — Званый обед у инженера.— Дамы занимают Кюстина. — Словесная перепалка 194

ГЛАВА XVII. Прощание с Петербургом.— Догмат послушания - Крестьянские бунты. Внезапная задержка. История декабриста Трубецкого. — Неугасимая ненависть Николая к декабристам.— Письмо княгини. Мстительное преследование. «Тюремщик одной трети земного шара». — Кюстин обманывает цензуру 208

ГЛАВА XVIII. Путешествие на почтовых. - «Русские горы». - Фельдъегерь Кюстина. - Избиение ямщика. Быстрая езда.— Пророчество опытного путешественника. Деревенское население.— Почтовые станции. Привлекательность русских крестьянок. — Столичные феи превращаются в ведьм. — Челядь.— Высочайшая дорога 217

ГЛАВА XIX. Вынужденные остановки в пути.- Природная грация русского народа.— Унылые песни. Качели.- Крестьянская сметливость.— Богобоязненность и плутовство Люди голубой крови.— Своеобразные понятия о чести. Кюстин слушает панегирики рабству.— Торопливость придает вес.— Несчастный жеребенок. Сны наяву. — Кровавое прошлое Твери.— Предательская роса 223

ГЛАВА XX. Панорама Москвы.— Разочарование при въезде в город. - Кремль.— Жилище призраков. Город палачей и их жертв. Кузнецкий мост. - Уличная толпа. - Цари не жалуют бывшую резиденцию.— О железных дорогах — Английский клуб. - Русский философ о религиозной свободе. Гулянья у Новодевичьего монастыря. — Казаки 232

ГЛАВА XXI. Сухарева башня.— Единообразие и педантичность.— Россия поражена скукой.— Загородная вилла.— Непостоянство русских. «Первые актеры в мире». Московский «свет».— Политический протест выливается в кутежи и дебоши. — «Шалости» москвичей. — Необычайное толкование монастырского устава.— Распущенность нравов.— Еще о крепостном праве.— Грядущая революция 241

ГЛАВА XXII. Отъезд из Москвы.— Троице-Сергиевский монастырь. Разговор о поляках. Любознательность фельдъегеря.— Вторая битва с клопами.— Осмотр лавры. Роскошь церковного убранства.— «Стыдливость» монахов 255

ГЛАВА XXIII. Ярославль. — Патриотическое тщеславие. — Грусть под личиной иронии.— Губернатор и его семья.— Французский салон в Ярославле. — Преображенский монастырь. — Монашеское благочестие адъютанта.— Соседство Камчатки и Версаля. — Деревенские самодержцы.— Господство бюрократии.— О тайных обществах 261

ГЛАВА XXIV. По дороге в Нижний.— Русские ямщики. — Небезопасное путешествие. — Переезд через Волгу. — Самоотречение и покорность.— Сибирь. — Россия в квадрате. — Находчивость русских. — Еще о национальных напевах. — Трехколесный экипаж. — Сибирская дорога. — Унылые пейзажи. — Встреча с колодниками 271

ГЛАВА XXV. Нижний Новгород.— Ярмарка.— Смесь языков и одежд. — Скопление народа. — Поиски пристанища.— Сделка состоялась.— Третья битва с клопами.— Столкновение с фельдъегерем. — Ярмарочные здания. — Чайный город. — Город железа. — Персидская деревня. — Крепостные коммерсанты.— Уроки честности. — Дороговизна. — Вспышки протеста. — Ярмарочные развлечения 279

ГЛАВА XXVI. Денежная реформа.— Губернатор «кротко» беседует с купцами. — Деспотическое мошенничество. — Император перестраивает Нижний. — Господа и рабы. — Отсутствие правосудия. — Шпион-телохранитель. — Фальсификация истории.— Нижегородские лагеря 292

ГЛАВА XXVII. Язвы, разъедающие империю.— Невольничество. — Кюстин вспоминает анекдоты.— Репетирующий ротмистр.— Плачевный отъезд из Нижнего.— «А почему он болен?» — Город Владимир.— Канцелярские недра.— Опять в Москве.— Встреча государя.— Бородинские торжества 300

ГЛАВА XXVIII. Приготовление к отъезду. — Злоключения соотечественника. — Тщетные попытки освободить Пернэ. — Участие Баранта. — Рассказ Пернэ. — Московские застенки.— Беседа с Бенкендорфом.— Прощальное слово России 308

ПРИМЕЧАНИЯ 317

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 344

Иллюстрации и подписи к ним взяты из книги: Gustave Doré. Les russes ou historie dramatique, pittoresque et caricaturale de Saint Russie, commentée et illustrée en bande dessinées. Paris, 1967.

Маркиз Астольф де Кюстин

НИКОЛАЕВСКАЯ РОССИЯ

Заведующая редакцией *Л. С. Макарова*
Редактор *Т. Б. Рябикова*
Младший редактор *Т. А. Ходакова*
Художник *Г. В. Колоскова*
Художественный редактор *О. Н. Зайцева*
Технический редактор *Н. К. Капустина*

ИБ № 9011

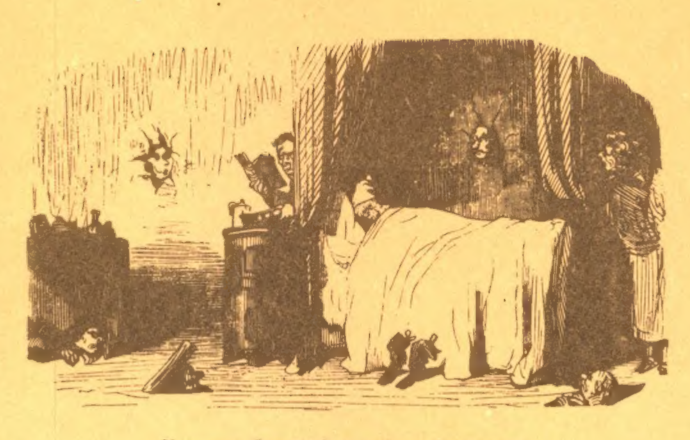
Сдано в набор 27.06.90. Подписано в печать 02.10.90. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Бумага книжно-журнальная офсетная. Гарнитура «Литературная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,59. Усл. кр.-отт. 19,06. Уч.-изд. л. 19,79. Тираж 200 тыс. экз. Заказ № 245. Цена 3 р. 80 к.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская, пл. 7.

Тип. изд-ва «Уральский рабочий». 620151, г. Свердловск, пр. Ленина, 49



Торжественный спектакль
в высочайшем присутствии.
Французские придворные актеры
изумлены и довольны
выпавшей на их долю ролью зрителей.
Рис. Гюстава Доре



Кошмар, близкий к действительности.
Путешествующие по России иностранцы
согласны с маркизом Кюстином в том,
что в этой стране и стены имеют уши.
Рис. Гюстава Доре